



Кеннет Дж. Джерджен

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКЦИОНИЗМ: ЗНАНИЕ И ПРАКТИКА

УДК 159.9:316.6(082)
ББК 88.5я43
Д40

Перевод с английского
А. М. Корбута

Авторы вступительных статей
А. М. Корбут, А. А. Полонников

Рецензенты:

доктор психологических наук, профессор *Г. М. Кучинский*;
доктор психологических наук, профессор *Е. С. Слепович*

Джерджен К. Дж.

Д40 Социальный конструкционизм: знание и практика: Сб. статей / Пер. с англ. А. М. Корбута; Под общ. ред. А. А. Полонникова. - Мн.: БГУ, 2003.-232 с.

ISBN 985-445-876-8.

В книге представлены избранные работы современного американского социального психолога Кеннета Дж. Джерджена, посвященные общим принципам и основным положениям социально-конструкционистского подхода.

Для психологов и специалистов в области гуманитарных и социальных наук.

УДК 159.9:316.6(082)
ББК 88.5я43

ISBN 985-445-876-8

© Джерджен К. Дж., 2003 •
© Корбут А. М., перевод, 2003
© БГУ, 2003

Андрей Корбут

КЕННЕТ ДЖЕРДЖЕН: ЛОГИКА ВООБРАЖАЕМОГО

ВВЕДЕНИЕ

Любая попытка представить социальный конструкционизм¹ (в двух смыслах: 1) вообразить, представить в уме, и 2) представить кому-то, рассказать) сталкивается с рядом трудностей, связанных в первую очередь с тем, что конструкционизм не формулирует строгих правил для своего восприятия, т. е. читатель волен любым доступным или удобным образом осмыслить и понимать его. Однако такая свобода действий производит необычный эффект: выбирая ту или иную схему прочтения, мы вдруг неожиданно начинаем относиться не к самому социальному конструкционизму, а к себе, т. е. вопросы, которые мы первоначально обращали к нему, меняют адресата и возвращаются к нам. Исходный интерес к чужому, иной реальности перетекает в способ самовопрошания и саморефлексии, но такой саморефлексии, которая невозможна без этого чужого. Можно сказать, что не мы понимаем другое, а оно понимает нас², и тем самым опыт представления теории социального конструкционизма невозможен без опыта самопрочтения. Такой опыт позволяет нам осознать, во-первых, что любое наше действие обусловлено некоторой традицией, во-вторых, что эта традиция локальна, и в-третьих, что она не замкнута. Иными словами, если первичный образ, с которого начинается понимание, – образ атомизированного социального пространства, состоящего из отдельных индивидов или групп, вступающих в коммуникацию, исходя из собственных представлений о правильном, истинном, реальном и ценном, тог-

¹ В последующем, говоря о социальном конструкционизме, мы будем подразумевать под ним исключительно подход, развиваемый Кеннетом Джердженом. Понятно, что это значительное сужение, так как сам Джерджен под рубрику социального конструкционизма заносит множество текстов, написанных самыми разными авторами. Но поскольку в фокусе данного сборника находятся именно работы К. Джерджена, мы ставим знак равенства между ними и социальным конструкционизмом. Достаточно полный обзор конструкционизма как движения в социальных и гуманитарных науках дан в статье Джерджена «Место психики в сконструированном мире». Кроме того, мы можем отослать к его работе «Движение социального конструкционизма в современной психологии» [3], а также к книге Е. В. Якимовой «Социальное конструирование реальности...» [6].

² Идея того, что не мы понимаем текст, а текст понимает нас, представлена в работе А. А. Пузыря «Манипулирование и майевтика: две парадигмы психотехники» [5].

да понять социальный конструкционизм невозможно. Но если понимание означает установление таких отношений, которые выявляют уже существующие и порождают новые отношения, тогда социальный конструкционизм можно и нужно понимать, поскольку именно в этом состоит одна из его главных целей – катализация диалогических пространств за рамками существующих границ.

Итак, в центре нашего внимания в данной работе будут отношения, выявляющие и порождающие другие отношения. Три ключевых измерения – выявление (*реконструкция* или *критика*), установление (*конституирование* или *оптика*) и порождение (*генерирование* или *поэтика*) – будут основным предметом исследования. Именно их мы попытаемся локализовать в социальном конструкционизме. Однако необходимо оговориться, что указанные аспекты – не «реальные» составляющие конструкционистского подхода самого по себе. Мы выделяем их потому, что в нашей нынешней ситуации (по преимуществу ситуации университетской и образовательной) разработка данных трех направлений открывает пути изменения понимания этой ситуации и ее определения.

Приняв за отправную точку формулу У. И. Томаса, звучащую как «если люди определяют ситуации как реальные, они реальны по своим последствиям» [11, 572], мы можем подчеркнуть два момента в своих построениях. Первый связан с тем, что изменение ситуации начинается с ее переопределения. Социальный конструкционизм – повод или предлог, но также и подходящий инструмент для такого переопределения. Второй момент вытекает из того факта, что мы можем перевернуть формулу Томаса и сказать, что отказываясь от признания ситуации реальной и признавая иное ее качество, мы тем самым лишаем ее реальных последствий, хотя не лишаем их совсем. Последствия ситуации определяются качеством, которое мы ей приписываем.

В данном случае мы определяем ситуацию нашего понимания социального конструкционизма как ведущую к эффектам воображения. Конструкционизм для нас – не новая концепция окружающего мира, в том числе устройства человека, а иной способ мышления о мире и человеке, основания которого мы и попытаемся выявить. Но поскольку идея оснований прочно связана в наших культурах с идеей реальности, мы будем искать «странные» основания, не «главные» или «центральные», скорее, побочные, обнаруживая некие «маргиналии» на полях социального конструкционизма, позволяющие нам переходить от реального определения ситуации к воображаемому. Можно сказать, что «маргиналии» имеют меньший коэффициент реальности и больший коэффициент воображения, чем комментируемое ими содержание. Кроме того, располагаясь за границами «текста», но на той же «странице», они дают возможность дистанцироваться от связного и последовательного изложения ряда идей, обнаруживая в них разры-

вы, недоговоренности, умолчания и нераскрытые возможности, формы потенциального будущего, присутствующие в тексте и, не взирая на свою фрагментарность, функционирующие согласно определенной логике – логике воображаемого. Эта логика как раз и прослеживается в предлагаемом тексте.

Последнее замечание: направляющий мотив нашего анализа – образовательный. Все те моменты, которые будут попадать в поле внимания, заметны только из образовательной установки. Они осмысляются не столько как актуальные формы знания, сколько как потенциальные формы специфического действия. В этом отношении конструкционистские разработки будут интересовать нас с практической стороны, главным образом в том отношении, в каком они могут привести к появлению новых форм образовательной практики.

КОНСТРУКЦИОНИСТСКАЯ КРИТИКА

Первое измерение социального конструкционизма – критическое. Оно может быть увидено даже как генетически первое, поскольку форма критики является тем важным орудием, при помощи которого недостаточно четкая и первичная интерпретация способна защитить себя и завоевать некоторое концептуальное пространство. Однако в случае конструкционизма мы наблюдаем нечто большее, чем критику традиционных взглядов и подходов, которая часто обнаруживается в научных текстах. Конструкционизм переопределяет сам концепт критики. Посмотрим, как это происходит.

Кеннет Джерджен начинает с утверждения о том, что внутри самих практик производства смысла, внутри различных традиций и сообществ, нет инструментов для саморефлексии, поскольку она требует выявления законченности и относительности своей позиции, ее локальности и заданности определенным социальным контекстом, тогда как производство смысла нуждается в поддержании представления о реальности как онтологической величине, как единой и общей для всех действительности, которую можно по-разному интерпретировать, но она тем не менее от этого не меняется, точнее, меняется по собственным законам. Подавляющее большинство психологических практик исходит из понимания смысла как эффекта соотношения слова и вещи, на которую указывает слово. Такое понимание исключает возможность выявления собственных оснований и допущений, потому что вывести эти допущения из реальности проблематично. Как только мы пытаемся показать, что наши исходные предположения о мире, других людях и самих себе истинны, доказуемы и вытекают из реальности, обнаруживается множество других кандидатов на тот же статус, которые тоже говорят о своей валидности и обоснованности согласно

тем же критериям. Эти альтернативные определения реальности могут даже ставить под вопрос наши собственные послышки и опровергать их как несоответствующие действительности. Фактически попытка выбора среди множества конкурирующих претензий на знание проваливается, какие бы критерии обоснованности мы не использовали, так как поиск оснований заводит в тупик ценностных предпочтений, которые в рамках онтологического понимания знания означают конец познания и власть субъективности, случайности и неопределенности.

Отсутствие инструментов саморефлексии внутри тех или иных устоявшихся подходов не позволяет им вступать в нормальные диалогические отношения с другими традициями. Точнее говоря, эти отношения всегда есть, без них существование в поле знания невозможно, но они не используются в полной мере, их потенциал остается незадействованным, а это значит, что область каталитических взаимобмен между разными практиками производства смысла сужается до минимума, что приводит к постоянным столкновениям между ними и взаимному уничтожению. Следовательно, критика не может быть ни чисто *внутренней*, ведущейся изнутри конкретной традиции, ни чисто *внешней*, т. е. осуществляющейся из чуждой традиции. Критика извне – это попытка применить свои принципы к сфере, функционирующей по другим правилам, что неизбежно вызывает как сопротивление с критикуемой стороны, так и насилие с критикующей стороны. В итоге критика оказывается малопродуктивной и зачастую даже разрушительной.

Отсюда следует сделать вывод о необходимости нахождения иного рода критических инструментов, которые позволят превратить критику, во-первых, в форму продуктивного диалога, в котором потенциал двух или более практик производства значения будет реализован наиболее полно и при этом породит новые практики; и во-вторых, в орудие саморефлексии, критики своих оснований и предпосылок, которые обуславливают присущие мне способы восприятия, мышления и действия. В качестве такого инструмента выступает конструкционистская критика, которая становится не только специфически конструкционистским достижением, но начинает играть более широкую роль, т. е. может быть использована как модель в самых разных областях знания и деятельности, в частности, в образовании. Конструкционизм, не формулируя в явном виде свое понимание критики, тем не менее активно практикует ее, поэтому можно попытаться эксплицировать ее основные особенности и сформулировать направляющие принципы.

В первую очередь необходимо отметить, что конструкционизм, по мнению Джерджена, не поддается критике, как ее обычно понимают. Любая критика исходит из ряда ценностных и идеологических предпочтений, которые сформировались в рамках конкретных отношений.

Поэтому попытка критиковать конструкционизм – это попытка реализации этих предпочтений и навязывания их конструкционизму. Однако сам он строится именно на выявлении этих выборов и демонстрации той относительной истории, которая привела к их осуществлению. Следовательно, конструкционизм лишает оснований любую критику, которая применяет собственные критерии к иной области значений.

С другой стороны, конструкционизм является, с точки зрения Джерджена, той призмой, сквозь которую мы можем рассмотреть любой подход. Несмотря на то, что за ним тоже стоят определенные социокультурные ценности и ожидания, конструкционизм, выявляя относительную обусловленность конкретных форм знания, выходит за рамки собственных предпочтений и устанавливает такие формы взаимодействия, которые позволяют создавать новые отношения, а не продолжать старые. Он тем самым расширяет поле коммунального конструирования значения, рассматривая в качестве мест его производства не только локальные интерпретативные сообщества, но и отношения между ними. Критика становится способом выявления форм отношений внутри конкретной группы, вырабатывающей знание, и между такого рода группами. Иными словами, конструкционистская критика направлена на локализацию тех или иных форм относительности и их размещение в более широком пространстве отношений. Она разрушительна только в том смысле, что стирает границу между замкнутыми анклавами значений.

Однако рассмотрение относительного производства значений невозможно без идеи *историчности*. Конструкционистская критика – это всегда критика историческая, и не только потому, что она указывает на историю данной интерпретации или подхода, но и потому, что показывает трансформации, которые претерпевает с течением времени тот или иной способ конструирования реальности, его появление, рождение. Социальное исторично, а значит, социальная критика отсылает к этой истории и показывает, в какой исторической ситуации возникла данная практика и в каком историческом контексте она была легитимирована. При этом история не соотносится с общими законами развития и с его телеологическим пониманием. Она локальна, в том числе в силу того, что предполагает множество историй, исторических линий, пересечение которых не дает нам общей картины «подлинной» или абсолютной истории, а позволяет ставить вопросы о том, например, какие социальные эффекты вызывает тот или иной способ конструирования реальности или как конструируются субъекты знания в той или иной практике. Но это требует использования не только внешних, но и внутренних для данной практики критериев, внутренних в том смысле, что мы, предпринимая критику определенной традиции, рассматриваем, как она функционирует и поддерживается теми взаимодействиями, которые осуществляются ее носителями. Есть широкая

история отношений некоторой традиции с другими традициями, которая эксплицируется критикой, и есть узкая история отношений внутри традиции, через которую преломляется история внешняя.

Наконец, мы можем обозначить еще один аспект конструкционистской критики, который, быть может, является ее ядром и основной целью, – *самотрансформацию*. Критика в рамках конструкционистского подхода не направлена на «разоблачение» других практик. Главный предмет ее интереса – трансформация себя. Конструкционистский критик не может обойтись без внешней позиции, которая, однако, не становится позицией «абсолютного наблюдателя», некоего трансцендентального субъекта, объективно и систематически раскрывающего собственные основания. Любая попытка взглянуть на себя со стороны – это выход в некую традицию производства смысла, отягощенную собственной историей и требующую принятия серии правил и общего «взгляда» на реальность. Но самотрансформацию, которая является не только ценностью (осознание чего усиливает ее каталитический потенциал), но и концептуальным конструктом, также нельзя осуществить, как было указано, при помощи лишь собственных инструментов. Это вынуждает развивать такие формы трансценденции, которые позволили бы выйти за рамки своей истории, в то же время оставшись в ней, не заменив ее историй другой существующей практики. Такая возможность открывается, к примеру, если мы целенаправленно практикуем рассмотрение своего подхода с позиций других подходов, анализируем свои тексты как реализующие те или иные литературные стратегии или преследующие политические цели. Однако этот ход невозможен без контекстуализации внешней позиции, иначе мы, заняв ее, примем ряд допущений и очевидностей, которые вновь заставят нас реализовывать традиционные формы деструктивной критики. Определив базовые предпосылки иной стратегии, мы можем практиковать ее «дистантно», всегда «держа расстояние» между ней и нами, понимая как ее, так и свою относительность и локальную определенность. Ставя рядом на одну ступень свой и множество других голосов, критик способен не «солидаризироваться» с одним из них ценой других, а формировать новый подход, который будет отчасти продолжать некоторую традицию отношений, а отчасти начинать новую историю и осуществлять производство иного смысла. Для конструкционистской критики представления о целостности и непрерывности исторического движения и о его дискретности, «разрывности», способности вызывать непредсказуемые смещения, не являются альтернативными или взаимоисключающими. Это две стороны одной критической практики.

Итак, мы попытались обозначить основные черты критической конструкционистской установки. Она не универсальна и не является базовым принципом конструкционизма. Кеннет Джерджен сам неоднократно напоминает о том, что критика – «это не все» в конструкционизме, это

лишь один из моментов, один из шагов к более относительному и диалогическому пониманию процессов конструирования реальности и знания. Однако это важный шаг, без которого невозможно формирование конструкционистской установки. Критика показывает, что даже формы разрыва отношений, замкнутые анклавы значений имеют относительную укорененность. Любые границы, которые мы проводим между собой и другими, между истиной и ложью, между важным и несущественным, имеют смысл только в отношениях, которые легитимируют их и делают объективными и самоочевидными. Но сказать о том, что они определяются отношениями, не означает заменить одну мифическую реальность, имеющуюся «на самом деле», другой (не менее мифической). Указание на относительное производство любого знания нужно не для создания новой концепции, а для обозначения тех путей, которыми мы можем развивать это знание. Если любые формы смысла, любые границы и дифференциации рождаются и поддерживаются в отношениях, то именно посредством отношений мы можем изменить их, выйти за рамки своих неявных допущений и установить более богатые, сложные и обещающие отношения с самим собой и с другими. Критика, даже конструкционистская, не может не исходить из определенного идеала, цели, к достижению которой она направлена. Мы можем утверждать, что в случае конструкционизма такой целью является самотрансформация. Надо отметить, что идея самотрансформации обладает огромным образовательным потенциалом, разработка которого может позволить создать такие формы образовательных практик, которые будут строиться вокруг работы с отношениями и уже исходя из этого привлекать знания, способы действия, формы мышления и опыт. Потенциал критического дискурса неисчерпаем.

КОНСТРУКЦИОНИСТСКАЯ ОПТИКА

Социальный конструкционизм, как мы уже отмечали, не делает основного акцента на критике, несмотря на то, что критический язык составляет существенный элемент его дискурсивного «инструментария». Ядро конструкционистского подхода составляет психологическая концепция отношений, которая описывается во многих произведениях К. Джерджена¹. Она позволяет, с одной стороны, понимать устоявшиеся понятия, возникшие в так называемой индивидуалистической традиции, как отражающие не психический мир, но мир микросоциальный, а с другой – создавать новые понятия,

¹ Наиболее репрезентативной в этом плане является книга «Реальности и отношения» [8].

обозначающие различные аспекты микросоциальных процессов, в которые вовлечены индивиды и благодаря которым мы можем использовать психологический словарь в научной и повседневной жизни. Но при всем этом, хотя, как может показаться, на место ментальной онтологии конструкционизм помещает онтологию отношений, мы можем говорить, что реляционная концепция не является способом описания реальности, но представляет собой форму концептуализации наших описаний ее. Джерджен говорит о том, что многие критики конструкционизма, обвиняя его в очернении идентичности и Я, путают *онтологию* и *метатеорию*. То, что принимается ими за онтологию, в частности утверждение примата отношений над индивидуально-личным способом существования, на самом деле — метатеория, согласно которой отношения предшествуют идентичности и определяют ее в каждый момент времени. Метатеоретический статус этого положения говорит о том, что его нельзя отбрасывать или отстаивать на том основании, что оно не соответствует фактам или данным. Необходимо рассматривать, как эта идея употребляется, в каких социальных контекстах, к каким формам отношений она ведет и какие эффекты она производит.

Метатеоретический статус реляционной теории также означает, что мы начинаем рассматривать феномены или данные как продукты того или иного концептуального полагания. Если мы остаемся в рамках индивидуалистической традиции с ее менталистским и психологизированным дискурсом, то уже априори «видим» Я, идентичность группы, взаимодействия между субъектами и сообществами, определенные психические качества и механизмы, присущие субъектам и др. Если же мы принимаем метатеоретическую установку конструкционизма, то вместо индивидуальной и групповой идентичности начинаем «видеть» отношения и относительные процессы. При этом словарь психического внутреннего мира становится именно словарем, т. е. конструкционист рассматривает его как словарь и никак более, но собственный словарь он тоже воспринимает подобным образом, понимая, что тот столь же относителен и столь же метатеоретически оправдан.

Итак, реляционный подход, который реализуется не только на уровне описания индивидов, но и на уровне описания социальных общностей и даже текстов, предполагает своеобразную оптику, располагающуюся, если помещать ее в принятую систему индивидуалистических координат, между индивидуальностью и коллективностью, дихотомия которых (часто принимающая вид противопоставления социального и личного) выступает эффектом реализации традиционных психологических предположений. Джерджен говорит, что мы можем изначально анализировать отношения как первичную реальность, а не как реальность, производную от социальных атомов, которыми явля-

ются индивиды или группы¹. Наоборот, как те, так и другие представляют собой формы, возникающие уже внутри некоторого относительного пространства и детерминированные историей дискурсивных отношений в определенном сообществе. В иных сообществах могут вообще не проводить границу между этими двумя инстанциями и рассматривать свое персональное Я как Я групповое и социальное. Конструкционизм фактически снимает вопрос об отношениях между социальным и индивидуальным, показывая, что мы можем не только понять любой психический процесс как процесс социальный, но и что социальный процесс – продукт текущих отношений, которые несводимы к групповым феноменам. Иными словами, под «социальностью» в конструкционизме подразумеваются «отношения», а не нормы и правила социального взаимодействия или способы их выработки индивидами в актуальной коммуникации. Несовпадение реляционной концепции и привычных менталистских и социологических дискурсов видно на примере самого выражения «вступать в отношения». Говоря о том, что индивиды вступают в отношения, мы утверждаем двоякий смысл. Во-первых, в обыденном языке данное выражение используется в случае, когда два отдельных субъекта начинают взаимодействовать друг с другом. Во-вторых, мы можем обратить внимание на прямое значение слова «вступать», которое означает входить куда-то, включаться во что-то. Поэтому высказывание о том, что кто-то вступает в отношения с кем-то, предполагает, что обе стороны одновременно начинают новую форму коммуникации, не существовавшую до сих пор, и при этом делят установившиеся в прошлом отношения. Эта двусторонность, которую мы отмечали в предыдущем разделе (одновременность дискретного и континуального описаний), позволяет конструкционизму использовать имеющиеся формы психологического исследования, но перепределив их функцию под локальные задачи, которые связаны с метатеоретическими, а не онтологическими проблемами. Она также предполагает отказ рассматривать окружающее общество как некий второстепенный феномен, мешающий выявлять объективные закономерности психологических процессов. Социальные интересы, интересы разных сообществ, если понимать их метатеоретически, а не как реальность, доступную изучению (что делала и делает по большей части современная социальная психология), оказывают самое непосредственное влияние на наши концептуальные и практические конструкции.

¹ «Не Я и не группа приобретут наивысшее значение в наших рассуждениях и практиках. На мой взгляд, открывается возможность творческого конструирования альтернатив этим традиционным, но исчерпавшим себя понятиям. Одна из наиболее обещающих альтернатив, появляющаяся на культурном горизонте, представляет собой обращение к относительному, т. е. переход от концептов Я и группы к таким концептам, как взаимозависимость, совместное конструирование смысла, обоюдно взаимодействующие единицы и системный процесс» [9, 212].

Конструкционизм не выявляет «социальные феномены», но принимает их в качестве вызова для метатеоретических разработок, не онтологизируя и не овеществляя их в виде определенных концептов, таких, например, как аттитюды, сплоченность, подчинение и т. д.

Реляционная метатеория, применяемая для анализа как повседневных, так и научных дискурсов, обладает еще одним интересным свойством, которое практически не эксплицируется в соответствующих текстах. Речь идет об идее *чувствительности*. Часто в своих произведениях Джерджен говорит о формировании некой особой «конструкционистской чувствительности», или «относительной чувствительности», или «культурной чувствительности». И хотя ее содержание достаточно четко прописано, то, что говорится именно о чувствительности, а не о мышлении, например, заставляет обратить на этот факт особое внимание. Далее мы попытаемся более детально рассмотреть, в каком смысле в конструкционизме ведется речь о чувствительности, отсылая за содержательным ее наполнением к работам К. Джерджена.

На наш взгляд, чувствительность в конструкционизме – это такой способ отношений, который сложно рационализировать в виде структурированных высказываний, но который является основой наших практик. В этом же смысле Пьер Бурдьё рассуждает о «практическом чувстве»: «Практическое чувство ориентирует „выбор“, который, хотя и не является намеренным, не становится от этого менее систематическим и который, хотя и не управляется и не подчиняется организующему воздействию со стороны цели, не перестает быть носителем определенного рода ретроспективной целесообразности» [1, 128]. Чувствительность в этом понимании обладает тремя характеристиками, которые будут описаны ниже. Сейчас же надо отметить, что чувствительность возникает в результате применения определенных теоретических правил, это продукт концептуального конструирования, который тем не менее не поддается концептуализации. «*Чувство игры* – это одновременно и реализация *теории игры*, и ее отрицание как теории» [1, 157]. Не имея теории реальности, мы сможем ее почувствовать и тем самым не сможем действовать в ней, более того, она может стать вообще несуществующей для нас. Но в случае наличия этой теории она разделяется на два слоя, один из которых становится способностью «схватывать»¹, а другой – способностью «проблематизировать». Чувствительность можно идентифицировать как способность схватывать реальность, конституировать ее. Это первичный акт конструирования реальности, без которого она не появилась бы, поэтому он реализует основополагающие принципы конкретной концепции реальности. Так как чувствительность позволяет «увидеть» свои концептуа-

¹ Концепт «схватывания» как способа существования и мышления в повседневном мире описывается Г. Гарфинкелем [7].

льные конструкции, она может вызывать к жизни самые разные реальности, многообразие которых отражает многообразие описаний мира. Однако если мы посмотрим, как используется термин «чувствительность» в конструкционизме, то увидим, что помимо непосредственного содержания он предполагает еще и некое представление о чувствительности вообще, которое и будет нас дальше интересовать, поскольку именно идея чувствительности может быть плодотворно использована в различных образовательных практиках.

Первая составляющая чувствительности – способность *дифференциации*. Мы можем отделить один феномен от другого или одну интерпретацию от другой и четко различить их, в том числе на уровне восприятия. Из этого видно, что дифференциация немислима без представления о *множественности*. Мы отделяем одну реальность от другой только тогда, когда понимаем, что их может быть несколько и что их можно развести на основе некоторого критерия, например, в силу разности определений идентичности. Если бы мы формулировали правила дифференцирования реальностей, исходя только из их собственных предпосылок, тогда множественность практик вообще бы не отмечалась, потому что внутренние критерии практик ориентированы не столько на их отграничение от остальных областей, сколько на поддержание внутренней последовательности и целостности, а это чаще всего означает необходимость универсализации собственных оснований. Иными словами, речь не может идти о чувствительности там, где мы придерживаемся только одной точки зрения и не замечаем другие. Чувствительность плюралистична и плюрализирующа.

Второй элемент конструкционистской концепции чувствительности – выделение областей *актуального* и *возможного*. Любая практика в процессе своего функционирования порождает два типа эффектов. Первые связаны с ее актуальным действием и влияют на «рабочие» смыслы и принципы, жизненно необходимые для ее продолжения. Носители практики воспринимают эти смыслы в качестве чего-то «реального», того, что «действительно существует», поэтому их деятельность и коммуникация разворачиваются чаще всего вокруг совокупности актуальных проблем и значений. Но есть еще и другого рода эффекты, которые всегда присутствуют, но очень редко используются, потому что они связаны с уровнем возможности. Как говорит Джерджен, мы постоянно сталкиваемся с бесчисленным количеством возможностей, но выбираем только некоторые из них. Чувствительность охватывает оба эти уровня и показывает, где проходит между ними раздел. Этот раздел нужен для осуществления практической деятельности, но как только мы начинаем отдавать приоритет какой-то одной из сторон, то перестаем быть чувствительными. Если мы видим только возможности, то прекращаем действовать, а если мы видим только актуальные смыслы, то начинаем механически воспроизводить одни и те

же значения, повторять одни и те же формы отношений. Чувствительность требует «схватывания» обоих этих пространств, причем возможности понимаются как продукт актуальной практики, а актуальная практика – как реализация некоторых возможностей.

Последний, третий, элемент чувствительности в конструкционизме – *незавершенность* или *неопределенность*. Чувствительность никогда не дает нам реальность в виде законченного образа или четкого набора правил, она всегда «затемняет» ее, делает незаданной, вводит в нее элемент случайности, или непредсказуемости. Неопределенность не означает вообще отсутствия каких бы то ни было ориентиров. Она предполагает, что конструируемое описание реальности всегда открыто для трансформации и переопределения. С другой стороны, чувствительность выявляет фундаментальную неопределенность единого описания реальности. В дополнение к обозначенной выше идее множественности реальностей мы принимаем идею невозможности упорядочить не только эту множественность, но и сами эти реальности внутри их самих. Ни одно описание не является законченной системой значений, которая больше не развивается и подчиняется одному-единственному стержневому принципу. В основе той или иной интерпретации лежат самые разные конструкты, в том числе противоречащие друг другу, поэтому единство описания реальности не означает его определенности или завершенности. Наконец, неопределенность свидетельствует о взаимозависимости, о том, что любая практика производства смысла зависит от целой серии других практик, которые в свою очередь зависят от нее. Поэтому чувствительность к неопределенности – это чувствительность к взаимозависимости разных анклавов значений и противоречиям внутри этих анклавов.

Итак, мы выделили некоторые составляющие формы конструкционистской чувствительности, не детализируя ее содержание. Такой анализ необходим нам для того, чтобы в дальнейшем можно было более четко представить способы использования идеи чувствительности в образовании. В частности, мы можем утверждать, что отдельная задача университета – формирование у студента особой чувствительности (например, конструкционистской, но не только), и она требует специфического обеспечения. Подчеркнем тот немаловажный момент, что речь идет не о мышлении, поскольку формирование мышления предполагает выделение неких базовых его принципов и обучение им индивида посредством некоторой технологии. Чувствительность же требует создания не технологий, а сред, которые образуют контекст ее возникновения. В случае, если новая чувствительность не формируется, в силу вступают повседневные стратегии, и студент начинает концептуализировать «здоровый смысл». Идея чувствительности, как мы видим, позволяет говорить о возможности некой педагогической или образовательной «чувствительности к чувствительности». Какие фор-

мы она может принимать и какими методами может развиваться – это вопросы, которые требуют дальнейшего обсуждения. Стимулирующая сила конструкционистской идеи чувствительности позволяет нам находить новые образовательные идеи и практики.

КОНСТРУКЦИОНИСТСКАЯ ПОЭТИКА

У конструкционизма, помимо указанных двух измерений, есть еще и третья составляющая, третья область конструкционистских практик, которую можно назвать *поэтикой*. Это «поэтическое измерение» (понятие К. Джерджена) занимает совершенно особое место в конструкционистском подходе, поскольку именно благодаря ему конструкционизм дает тот неисчерпаемый относительный потенциал и диалогические возможности, которые позволяют конструировать новые формы отношений и новые подходы к психологии и образованию.

В своей работе «Место психики в сконструированном мире» Джерджен первично очерчивает то, что он называет *поэтическим активизмом*, понимая под ним описание не того, что «есть», а того, что «вероятно». Названный термин можно использовать более широко и обозначать им вообще поэтическое измерение конструкционизма, поскольку в нем удерживаются два ключевых плана – поэтическое и активное конструирование реальности. Конструкционизм исходит из того, что именно дискурсивная или, шире, относительная активность определяет нашу реальность. Мы осознаем себя и мир только в той мере, в какой участвуем в отношениях, но это участие привносит дестабилизирующий элемент неопределенности в наши способы понимания себя, требуя создания новых языков самопонимания, которые и являются продуктами поэтической деятельности. Рассмотрим более подробно указанные свойства поэтического активизма.

Поэтический активизм представляет собой, по сути, создание новых языков. Важный момент конструкционизма – его некорреспондентный подход к этим языкам. Язык для конструкциониста – не репрезентация реальности, а собственно сама реальность или овеществленные отношения. Он выражает наше относительное положение, нашу позицию в отношениях, и в то же время устанавливает их, помогает им осуществиться в виде смысла, в виде системы значений. Поэтому создание новых диалогических пространств, с которых начинается поэтический активизм, не может заключаться в производстве новых объектов, или новых практик, или новых концептов. Это всегда создание нового языка¹, которого раньше не было, обозначающего ту «ограниченно безграничную» область отношений, в рамках которых конститу-

¹ Идея письма как создания новых языков развивается Ж. Делезом [2].

ируется некоторое описание реальности в совместных действиях нескольких сторон. Без создания нового языка невозможно появление нового отношения, но он не обязательно должен строиться по модели естественных языков. Если мы понимаем язык не репрезентативно, а реляционно, как инструмент осуществления отношений, в рамках которых рождается ощущение реального и правильного, то языком может быть любая взаимосвязанная последовательность знаков (например, движения, звуки, визуальные образы, т. е. все те системы символов, которые позволяют нам вступать в отношения и в них открывать неожиданные и до сих пор не существовавшие интерпретативные перспективы и способы действия).

Поэтический активизм устраняет дистанцию между мной и другим, между «я» и «ты». Обычно «я» противопоставляется «ты», поскольку над нами довлеет индивидуализированное представление о взаимодействии, которое ставит во главу угла личностную идентичность, вступающую в связь с окружающим миром. Эта идентичность понимается как присущая конкретному индивиду и несводимая к другим идентичностям, поскольку человек, кажется, не может не быть собой, т. е. «я». Однако возможны такие языки, которые разными путями разрушают эту стену между мной и другим и устанавливают существование некоторого «мы», единой субъективности, которую мы разделяем и которой не владеем, так как она является продуктом наших отношений. Поэтому невозможно не только присвоить себе то описание реальности, которое формулируется этой субъективностью, но и приписать его другому, потому что он вовлечен наравне со мной в конструирование этой реальности. Она существует только в рамках некоторого «мы» и распадается с его разрушением. Переход от дихотомии я/ты к мы-отношению может осуществляться двумя способами. С одной стороны, можно обнаруживать себя в другом, открывать, что многое из того, что мы считали другим, принадлежит нам. «Я-в-другом» — такова та позиция, которую мы занимаем в рамках нашей совместной коммуникации, понимая, что другой есть пространство нашей локализации, что я не совпадаю с границами своего Я, своей идентичности, что я возможен только тогда, когда вижу себя в другом, когда другой говорит мне, что я существую, что я важен для него, когда он выстраивает свои взаимодействия со мной так, что я в итоге становлюсь Я. Наше Я зеркально¹. С другой стороны, я могу занимать позицию «другой-во-мне», когда осознаю, что многое, если не все, что я полагал принадлежащим исключительно мне и свидетельствующим о моей самобытности и уникальности, оказывается продуктом других. Я усвоил множество взглядов и привычек, весь свой язык, даже свои воспоминания от других и имею все это только потому, что другие продолжают

¹ Понятие «отраженное», или «зеркальное», Я было введено Ч. Х. Кули [4].

жить во мне. В результате выявления этих двух позиций – «я-в-другом» и «другой-во-мне» – в коммуникации я перестаю быть Я для себя и Другим для другого, а другой перестает быть Другим для меня и Я для себя, мы сливаемся, объединяемся, и возникает некое «мы», которое не есть целостное и единое пространство, это не «одно», мы не станем «одним целым». «Мы» указывает на множественность равноправных голосов, часть которых представляю я и другой. Они принадлежат всем и среди них всегда появляются новые голоса, чреватые радикальным изменением нашего диалога.

Поэтический диалог в таком случае стирает еще одну ложную границу – между *воображаемым* и *реальным*. Поэтический активизм исходит из того, что между ними нет существенной разницы. В рамках диалога любой голос становится полноценным, будь он голосом реальным или воображаемым. Более того, воображаемое оказывается в определенных контекстах приоритетом, потому что реальные голоса подчиняются некоторой традиции и тем самым выражают некоторые убеждения относительно мира и людей, тогда как воображаемые голоса способны преодолевать само собой разумеющиеся значения и формулировать новые языки, которых раньше не было, продвигая диалог вперед и не давая ему замкнуться на одной области значений. Благодаря воображаемому те соглашения о реальности, которыми мы оперируем, ставятся под вопрос. Но в силу этого у нас появляется возможность более полноценного и незаданного заранее сотрудничества, кооперации, в результате которой будут появляться новые формы отношений. Как говорит Джерджен, «в диалоге требуется то, что мы могли бы назвать *моментами воображения*, когда его участники совместно разрабатывают новый взгляд на реальность» [10, 697].

Поэтическое измерение конструкционизма предполагает, что мы обращаемся также к будущему, т. е. осуществляем его конструирование, которое носит принципиально совместный характер, потому что будущее не может принадлежать кому-то из нас. Если сегодня возможна концепция, которая определяет наше видение реальности, то завтрашний день не подчиняется этой концепции. Как в актуальном диалоге другой всегда является источником случайности, поскольку взаимодействие с ним порождает неожиданные для нас обеих формы смысла, точно так и будущее становится источником непредсказуемости, если мы начинаем устанавливать с ним отношения. Кроме того, будущее – проекция изменений. Любое изменение в отношениях понимается нами как зарождающееся в будущем, как требующее определенного времени, не совпадающего с временем актуальным. Чтобы изменить, надо выйти в план будущего. Однако благодаря поэтическому мы можем не только конструировать это будущее и тем самым изменять себя и формы отношений, в которых мы участвуем, но и делать будущее актуальным, т. е. привносить его в настоящее. Изменения

происходят прямо в осуществляющихся в данный момент отношениях, и эти отношения во многом возможны именно как способ генерации различий в данный момент времени и в данных социальных условиях. Поэтическое измерение делает трансформативность отношений или диалога одним из его главных характеристик¹.

Важный аспект поэтического активизма, вытекающий из его трансформативного понимания будущего, – возможность работать с тем, чего еще нет и чего, возможно, вообще никогда не будет. Конструкционизм имеет дело как с существующим, так и с несуществующим. И в том и в другом случае мы слышим голоса, которые заставляют нас менять свою позицию и устанавливать с другими мы-отношения, а не я/ты-отношения. Но поэтический активизм может идти дальше, показывая, что даже то, что полагается нами как существующее, по сути своей, не существует. Иными словами, поэтический активизм поэтизирует саму реальность. Отказывая тем или иным формам артикуляции реального в существовании, конструкционист не отрицает их и не вычеркивает, наоборот, он показывает, что они являются продуктом воображения, разворачивающегося в диалоге, и функционируют не как нечто осязаемое или существующее, но как воображаемая конструкция. Благодаря такой поэтизации реальности конструкционизм делает ее более гибкой и разносторонней, не дает ей замкнуться и обрести статическое равновесие. «То, чего нет», – столь же активная сила, как и «то, что есть», а также «то, что может быть». Все три формы появляются в отношениях и внутри их могут иметь статус реальности. Традиционно психология центрировалась только на том, что есть, и на этом основании подавляла голоса тех, кто верил в то, чего нет. Конструкционизм дает возможность говорить этим двум языкам на равных, не исключая друг друга, и производить новые порядки значений в результате совместных действий.

Кроме того, «бесполезные» усилия по осуществлению нереального, воображаемого, каким оно видится с объективистской позиции, несут с собой возможность совершенно иного, нетелеологического понимания деятельности. Если в основных психологических подходах деятельность всегда понимается как целенаправленная, даже если эта цель не определена в явном виде, то социальный конструкционизм показывает, что мы осуществляем действие не для того, чтобы достичь цели, а потому, что оно имеет значение. Если действие не имеет смысла, мы никогда не станем его предпринимать. Но смысл при этом понимается более широко, чем просто осознание места и роли действия в целостном сценарии поведения и жизни. Смысл в первую очередь – это наличие отношений, которые наделяют действие смыслом. Поэто-

¹ Идея трансформативного диалога развивается в тексте К. Джерджена, написанном совместно с Ш. Макнами и Ф. Барретом [10].

му даже бессмысленные с традиционной точки зрения практики, т. е. практики, которые не имеют цели, не вытекают из предыдущих обстоятельств и не ведут ни к чему фактическому, могут иметь смысл, если они реализуют некоторую форму отношений.

Конструкционизм активизирует воображение и этим привносит дисбаланс в наши устоявшиеся и «осевшие» формы дискурса и отношений. По мере того как мы выбираем одни возможности и отбрасываем другие, у нас появляется некий осадок отношений, застывшие формы коммуникации и языка, больше не используемые, но по-прежнему доступные нам. Эти формы могут стать источником новых смыслов и новых языков. Мы начинаем поэтически использовать не только будущее, но и прошлое, когда возвращаемся назад и «встраживаем» свою историю так, что поднявшийся осадок растворяется в наших сегодняшних отношениях и меняет их состав. Прошлое – это всегда доступный ресурс смыслов, который мы способны использовать в наших сегодняшних отношениях. Оно может включать не только наше личное прошлое, но и «архив» нашей культуры. Мы можем извлекать любые языки любой эпохи и любого общества и привносить их в нынешние и будущие формы коммуникации, развивая ее и усложняя диалог, который мы ведем с окружающим и с другими под именем своего Я.

Поэтическое в конструкционизме – экспериментальное пространство, сфера самых разных экспериментов, для которых не существует никаких границ. Они снимают различия и устанавливают их там, где до сих пор виделась гомогенность смыслов. При этом главной «жертвой» экспериментов всегда оказывается сам экспериментатор. В первую очередь это связано с тем, что условием поэтического экспериментирования в конструкционизме становится смешение, переплетение различных культурных языков, в том числе языков воображаемых. Подобное смешение невозможно инициировать индивидуально, оно требует создания отдельной относительной среды, т. е. способа отношения, в рамках которого экспериментальные действия обнаруживают себя и свои эффекты. Это ведет к тому, что я как экспериментатор на каком-то этапе начинаю менять свой язык самопонимания. Если язык определяет, какую реальность мы выделяем и как мы действуем в ней, то смена языка равносильна смене реальности. Приняв другой язык, я тем самым принимаю другой способ самопонимания, например, перестаю рассматривать себя как субъекта, обладающего внутренним миром, и понимаю, что представляю собой лишь непродолжительную дискурсивную форму в рамках продолжительной истории отношений. Одновременно экспериментатор обнаруживает тот язык, который он раньше использовал, и открывает его нерепрезентативность, точнее его дискурсивную референтность. Язык отсылает не к реальности, но к другому языку. Поэтический активизм запускает процесс циркуляции языков, который разрушает установленные границы, очевидно-

сти и соглашения, позволяя находить такие формулировки и такие отношения, которые не могли возникнуть в процессе простого, нетрансформативного взаимодействия различных практик производства смысла или внутри этих практик.

Наконец, следует отметить еще одну сторону конструкционистского поэтического активизма. Огромную продуктивность обнаруживает введенное Джердженем понятие «генеративные отношения», которые можно первично и довольно туманно определить как отношения, производящие отношения. Иными словами, существует специфически конструкционистский тип отношений, которые ведут не к появлению конкретных значений или форм интерпретации, а к установлению других отношений. Генеративные отношения меняют своих участников, начинающих по-новому относиться к самим себе и другим и этим порождать новые изменения отношений, опять меняющих их отношения и т. д. Такие отношения находятся в постоянном развитии и никогда не принимают завершенной и определенной формы. Они требуют постоянной импровизации и постоянной работы воображения, которое «доопределяет» их, пытаясь изобрести новые способы их толкования и утилизации, но опять же эта воображаемая концептуализация не бывает полной, она всегда частична, потому что отношения трансформируются и требуют новых способов осмысления. С другой стороны, генеративные отношения – это отношения к отношениям. Мы начинаем относиться не к неким сформировавшимся знаниям или практикам, а к тем отношениям, которые они реализуют и которые привели к их рождению. Иными словами, генеративные отношения – одно из условий становления конструкционистской чувствительности, которая представляет собой чувствительность к отношениям.

Итак, поэтическое измерение, поэтический активизм социального конструкционизма очерчивает его смысловой горизонт и в этом смысле ограничивает формы конструкционистского мышления и действия, но этот горизонт подвижен и недостижим, мы никогда не можем перейти его. Конструкционизм ограничен, но его ограниченность, в первую очередь благодаря поэтическому активизму, не совпадает с объективными границами реальности, его границы воображаемы и указывают на то, что он сам предлагает определенные способы отношения. Проанализированные нами черты конструкционистской поэтики имеют прямое отношение к образованию. Все, о чем говорилось выше, можно использовать в образовательных практиках. Например, мы можем организовывать такое взаимодействие с тем или иным дискурсом, когда он начинает восприниматься не как законченный носитель знаний, а как локальный момент конкретной конфигурации отношений. В результате студент, выявляя относительную природу, например, авторитетного дискурса, релятивизирует его, но в то же время видит, каким образом он может использовать его в собственных отношениях. Поэтиче-

ский потенциал конструкционизма наиболее интересен и наименее разработан на сегодняшний день как в самом конструкционизме, так и в связи с образовательным аспектом относительного подхода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В предложенной работе мы попытались указать на те моменты социального конструкционизма Кеннета Джерджена, которые в определенном смысле маргинальны по отношению к его главным идеям, хотя и тесно связаны с ними. Маргинальны они потому, что лишь обозначены, но не кристаллизованы, т. е. концентрируют в себе огромный потенциал, который мы и постарались хотя бы в общих чертах раскрыть. Систематическое представление мысли Джерджена не только весьма затруднительно, но и вряд ли возможно, если мы соглашаемся с логикой самого конструкционизма, названной нами логикой воображения. Эта логика характеризуется тем, что она ведет не к репрезентации другого (другого подхода, другого человека, другой культуры), а к совместному воображению с ним посредством диалога. Мы попытались вместе с Джердженом вообразить себе некоторые перспективы, открытые области, движение в направлении которых даст нам шанс сформулировать более обещающую, более творческую и более относительную концепцию знания, психологии и образования.

Необходимо сказать несколько слов об идее книги. Несмотря на некоторую фрагментарность, ее можно рассматривать как достаточно полное изложение ключевых идей и принципов теории социального конструкционизма, занимающей довольно любопытное положение в современной психологии. С одной стороны, эта теория имеет много сторонников, которые могут даже не называть себя конструкционистами, с другой – она до сих пор воспринимается как некое странное образование, что-то среднее между философией, социологией и психологией. Эта способность социального конструкционизма оставаться радикальным и маргинальным, будучи одним из главных направлений современной психологической мысли, позволяет увидеть в нем особую теорию и практику, разработка которой имеет важное значение для современного образования.

Практически все тексты, публикуемые в сборнике, взяты с личной веб-страницы Кеннета Джерджена (<http://www.swarthmore.edu/SocSci/kgergen1/>) [исключение составляют лишь «Социальное конструирование и педагогическая практика» (этот текст был прислан самим К. Джердженом) и «Закат и падение личности» (эта работа переводилась по оригиналу, опубликованному в журнале «Psychology Today»)] и печатаются с разрешения автора. Часть из них была сверена с опубликованными версиями. Отобранные работы – это скорее «заго-

товки», имеющие более-менее строгую форму, но этим они и привлекальны, потому что показывают мысль Джерджена «за работой», как она находит и анализирует те или иные проблемы. Подбор текстов проводился по принципу артикулированности в них главных концептуальных идей конструкционизма и способов их применения в основных областях гуманитарного знания. Целью предлагаемого сборника было расширить поле диалога вокруг теории социального конструкционизма и тем самым способствовать более глубокому обсуждению современных проблем психологии и образования.

Публикуемые тексты не являются неким «запасом знания». Они не выражают авторитетную точку зрения и не предлагают новый целостный взгляд на реальность. Это, скорее, своеобразные собеседники, в диалоге с которыми мы можем начать обозначать новые для себя постановки и темы, новые способы отношения, принципы и возможности. Сами по себе эти тексты не имеют смысла, их нет, если нет взгляда читателя, который пытается вместе с ними создать будущее, способное приносить открытия и понимание. Значит, эти тексты еще надо сконструировать, они еще должны появиться, чтобы дать возможность появиться нам.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бурдые П.* Практический смысл / Пер. с фр. А. Т. Бикбова, К. Д. Вознесенской, С. Н. Зенкина, Н. А. Шматко. СПб., 2001.
2. *Делез Ж.* Критика и клиника / Пер. с фр. О. Е. Волчек и С. Л. Фокина. СПб., 2002.
3. *Джерджен К. Дж.* Движение социального конструкционизма в современной психологии / Пер. с англ. Е. В. Якимовой // Социальная психология: саморефлексия маргинальности: Хрестоматия. М., 1995.
4. *Кули Ч. Х.* Человеческая природа и социальный порядок / Пер. с англ.; Под ред. А. Б. Толстого. М., 2000.
5. *Пузырей А. А.* Манипулирование и майевтика: две парадигмы психотехники // Вопр. методологии. 1997. № 3–4.
6. *Якимова Е. В.* Социальное конструирование реальности: социально-психологические подходы: Научно-аналит. обзор. М., 1999.
7. *Garfinkel H.* Studies in ethnomethodology. Englewood Cliffs, 1967.
8. *Gergen K. J.* Realities and relationships: soundings in social construction. Cambridge, 1994.
9. *Gergen K. J.* The self in the age of information // The Washington Quarterly. 2000. Vol. 23. № 1.
10. *Gergen K. J., McNamee S., Barrett F.* Toward transformative dialogue // International Journal of Public Administration. 2001. Vol. 24. № 7–8.
11. *Thomas W. I.* The child in America: behavior problems and programs. New York, 1928.

Александр Полонников

ТРУДНЫЙ ОПЫТ ЧТЕНИЯ

Сегодня новой книгой или автором никого не удивишь. Информационный бум стал не просто удачной метафорой, а неоспоримым фактом нашей жизни, особенно для тех, кто определил мир текстов в качестве релевантной зоны своего бытия. Фактичность все возрастающей информационной избыточности часто интерпретируется в прагматическом плане как проблема выбора. Возможно, это и так, однако за словом «выбор» скрывается такая большая зона непроясненных значений, контекстов, пространств определений, что простое указание на сложность выбора превращается в трюизм.

На некоторые обстоятельства, обуславливающие психомеханику выбора, и хотелось бы указать в этом небольшом введении. Речь идет о стратегиях отношения человека с культурным предметом, частным случаем которого выступает научный текст. Как представляется, то или иное культурное отношение может быть рассмотрено в статусе целостности, определяющей, согласно системным законам, порядок и динамику включенных в нее элементов. Это значит, что не читатель и не текст являются смыслогенерирующими структурами, а нечто объемлющее, способное тем или иным образом конституировать характер взаимодействия, структуру, правила игры, качество функционирования, горизонты развития, формы самосознания акторов. Словом, все то, что по традиции именуется «внутренней жизнью», и выступает предметом интереса психологии, конституируя, кстати, и саму психологию как научную дисциплину.

Итак, речь идет о стратегиях отношения с культурным предметом. Таковых стратегий может быть великое множество, но мы остановим свое внимание лишь на некоторых, что, возможно, позволит нам разрушить автоматизм зрения и увидеть в устоявшемся порядке разрывы, превратив их, в свою очередь, в новые возможности, в том числе и возможности нашего существования. Добавим, что в качестве культурного предмета в данном изложении будет фигурировать научный текст. В случае необходимости это не должно помешать читателю поместить на его место любые реалии: идеи, ценности, вещи, процессы, самих себя наконец.

Первую из выделенных стратегий отношения с культурным предметом можно назвать «орудийной». Культурный предмет в ней функционирует в модальности средства осуществляемой деятельности.

Смысл данной стратегии в отечественной гуманитарной традиции был достаточно хорошо разработан Л. С. Выготским. Со свойственной любому изложению редукцией он может быть выражен следующим образом.

Испытывая некоторую собственную недостаточность (потребность), мы обращаемся к культурному средству, созданному нашими предшественниками (или создаем сами), которое отвечает на наш запрос, восполняет недостающий элемент, формирует искусственный орган, после чего нам вполне можно рассчитывать на эффективное, опосредованное культурным предметом поведение. Теперь наше действие, будучи культурно обогащенным, лишь отдаленно напоминает исходное докультурное. Оно не только усилено, но и качественно преобразовано, вобрав в себя потенциал тех безымянных и именованных акторов, которые его создавали. Таков один из путей культурного наследования, трансляции, как удачно определил К. Маркс, «неорганического тела человека» [3, 232].

Отметим, что в орудийной стратегии *пред*-полагается знание нами дефицитарности, которая обнаружена в акте рефлексивного самоанализа, и если не параметры, то, по крайней мере, зона нахождения интересующего нас объекта может быть просчитана с высокой степенью вероятности. Культурный предмет помещен в контекст нашего действия, и именно оно формирует критериальную базу выбора. Как полагает Г. П. Щедровицкий, «текст является составляющей, или элементом, деятельностной ситуации» [2, 105]. В данном случае поиск – не проблема, а скорее задача, решить которую можно, если не самостоятельно, то с помощью экспертной системы или эксперта, в роли которого в современном образовании чаще всего выступает компетентный педагог. Однако наш круг чтения, а в значительной степени и развития, заранее задан определенным образом. Обращаясь к книге, поисковой системе, мы уже подразумеваем возможный ответ, он как бы есть в нашем опыте, хотя и не во всей своей структурной оформленности.

Еще раз укажем на тот аспект, который представляется важным. Мы обращаемся к тексту, движимые определенной недостаточностью. Причем ареал определенности распространяется не только на предмет обращения, но и на нас как обращающихся. Текст необходим «для-того-чтобы», он функционален и развернут к нам потребностной стороной. Мы абстрагируемся от ненужных деталей, поскольку к делу они не имеют никакого отношения. Орудийная стратегия позиционирует нас в качестве инстанции, господствующей над культурным предметом, как, впрочем, и над любым другим элементом нашего действия. Мы его рационально объемлем и подчиняем своей воле, наличествующей задаче. В итоге в системной связке человек – культурный предмет фокусом и действительным актором выступает человек. Из этого сле-

дует, что рассматриваемая стратегия чтения может быть вполне названа антропоцентристской (в той мере, в какой человек выступает источником активности). В результате данная стратегия чтения может быть увидена как атрибут более широкой гуманитарной практики присвоения человеком мира.

Другая стратегия отношения с культурным предметом реализуется в модальности постижения. Ее прообразом выступает практика экзегезы, проникновения в религиозные откровения. В данной стратегии максимальный эффект достигается в случае отождествления читателя и стоящей за текстом реальности. Центр восприятия смещается на предмет идентификации. При этом, как отмечают Н. Л. Мухелишвили и Ю. А. Шрейдер, «уже не смысл, не идея схватываются адресатом, но устанавливается нерасторжимая связь общения с тем, кто создал этот смысл» [4, 58]. Здесь не читатель позиционируется в качестве устанавливающего свою власть над культурным предметом, а культурный предмет утверждается как безраздельно господствующий над ним.

Следует отметить важнейший для нас элемент психомеханики данной стратегии – абсолютизацию культурного предмета. Ему приписывается мистическое качество результата прозрения, причем в некоторых случаях эта мистификация вполне сравнима по силе с религиозным экстазом. Вчитаемся в слова А. А. Пузыря: «„Интерпретация“ амплифицирует *само понимаемое*, „доводя его до кондиции“, открывая для него возможность нам сказать, или даже: *ему – нас – понять! Это „Гамлет“ меня понимает!* – так, что позволяет мне *достичь реальности и полноты моей жизни!* Это „Гамлет“ меня понимает, ибо он „лучше“, *полнее* понимает меня, чем я сам – без, *вне его*» [5, 154]. Не я читаю текст, а он читает меня.

Если в первой описанной стратегии наше Я устанавливается как многократно превосходящее, вбирающее культурный предмет в свой внутренний порядок, то при постигающем чтении реализуется практика самоуменьшения. Голос откровения звучит в полную силу, он монологичен, а если и допускает диалог, то только в форме включенных в свою монологическую структуру реплик согласия. Первая стратегия навязывает культурному предмету свою рациональную логику, правила, заставляет его жить в пространстве определенного нами смысла; вторая – утверждает в качестве основания трансцендентный нам смысл, изменяет нас в акте иррационального стремления, делает нашу идентичность изоморфной имманентной смысловой структуре постигаемой Инстанции. При этом не важно, что выступает в качестве культурного предмета (текста): научная монография, библейское предание или медицинский справочник. В любом случае трансформация нашего Я по профессиональной, религиозной или этической программе будет тем необходимым результатом, который предусмотрен созданным в акте чтения отношением. Такого рода практика отношения с куль-

турным предметом обеспечивает культурную континуальность, непосредственную преемственность опыта, его вневременную устойчивость.

Утверждаемые в процессе реализации стратегии постижения реальности, как уже было сказано, содержательно весьма разнообразны, однако производимая работа идентична по своим последствиям. Постигаемая реальность ложится в основание базовой, подчиняющей наш опыт само- и аутиинтерпретации. Феноменологи П. Бергер и Т. Лукман говорят о подобных актах преобразования идентичности в терминах альтернации [1, 254–263]. Историческим прототипом альтернации принято считать религиозное обращение.

Наверное, возможны и иные практики чтения, но их более обстоятельная типология не входит в задачу нашего высказывания, предвещающего работы К. Джерджена. При введении данных различий преследовалась одна достаточно простая цель: показать, что за словом «читать» могут лежать более сложные и качественно разноплановые действия, чем иногда принято считать, и тем более чем те, которые реализуются в современном образовании.

Остановимся на третьей стратегии, возможность которой, как видится, создает К. Джерджен, и попытаемся обосновать эту стратегию чтения в качестве приоритетной в ситуации, которую часто определяют как «постмодернистский вызов», или «вызов многообразия».

Итак, стратегия отношения с культурным предметом, который многопланово демонстрирует К. Джерджен, может быть названа «релятивистской», или «относительной». Здесь у нас возникает смысловая игра: отношение с культурным предметом, которое к тому же еще и относительно. Такого рода формальная тавтология своим появлением обязана множественным наслоениям значений в слове «отношение», создающим коннотативную глубину и неизбежную в этом случае смысловую полифонию. Первый аспект семантики «отношения» контекстуален. В нем отражен тот тип связи, который конституирует процесс взаимодействия в целом, что в особенности заметно, когда мы начинаем сравнивать в нашей типологии последний опыт культурного отношения с предшествующими. Если в первой стратегии, как было отмечено выше, процесс культурного взаимодействия строится функционально-утилитарно, в контексте той реальности, которая задана базовой деятельностью и является по существу усложнением исходной структуры в горизонте предметно преобразующей активности (развитие через снятие), то во второй – наоборот, связь с культурным предметом имеет характер уподобления, позиционируя читателя в качестве подструктуры реальности идентификации.

То отношение, которое не только заявляет, но и действительно реализует К. Джерджен, может быть названо интеллигибельным. Обозначим его как третью стратегию чтения. Под интеллигибельностью понимается такое качество взаимодействия с культурным предметом, в

результате которого рождается возможность беспрецедентных способов понимания, суждения и действия. В этом плане синонимами интеллигентности выступают производительность и результативность. Именно интеллигентность – главный критерий и содержание отношения к культурному предмету. Способно ли отношение с культурным предметом открыть нам иное качество существования – вот основной вопрос интеллигентности. Причем в каждом акте культурного обращения такая возможность возникает снова и снова. Интеллигентность – приключение, из которого мы к себе никогда не возвращаемся, вернее возвращаемся другими.

От второй из описанных выше стратегий, в которой также заметно присутствует момент интеллигентности, данная форма культурного взаимодействия отличается чувствительностью к собственным границам, относительностью позиции, локальностью притязаний. Вторая стратегия открывает в принципе пусть и грандиозную возможность, но одну, третья – бесконечное множество. Здесь обнаруживает себя второй пласт значений понятия «отношение»: любое описание, высказывание, социальное действие, сколь бы широким значением не наделяли его акторы, ограничено и является историческим практическим образованием, возникающим в процессе культурного воспроизводства. Его смысловая определенность имеет место только в этом контексте. Вопрос трансляции смысла в другие контексты и ситуации – открытая для дискуссии тема перманентного культурного диалога. Относительность в данном случае указывает на прерывистость культурной трансмиссии, которая теперь перестает функционировать в форме континуальности, уступая место дискретным социокультурным образованиям (что позволяет нам определять характер культурной трансляции в терминах сложноорганизованной селективной преемственности).

И, наконец, третий аспект «относительности» указывает на критическую рефлексивность, способность рассматривать любую взаимосвязь с культурным предметом как социальную машинерию генерации смысла. Поскольку культурный предмет выступает всегда как носитель определенной традиции уже состоявшихся социальных отношений, а значит, и смысловых структур, то в акте коммуникации эти смыслы подлежат экспликации, объективации и помещению в новые жизненные, прагматические, а главное – перспективные отношения. Новые отношения представляют собой потенциально новые возможности нашего существования, развернутые в будущее способы быть.

По существу, реализация такого типа отношения с культурным предметом означает приобретение индивидом опыта жизни в ситуации все возрастающего культурного многообразия, интенсификации межкультурного взаимодействия, диалога разных порядков и форм жизни. Этот опыт предполагает способность человека к собственной динамичной трансформации, готовность к качественным преобразованиям

себя как локальной организованности в истории отношений (семьи, референтного окружения, латентных программ повседневного мира, образования) и умение вступать в новые локальные отношения, обнаруживать себя в них. Вот почему первые две стратегии отношения с культурным предметом в своей абсолютности проблематичны. Предельным результатом их реализации выступает гомогенный человеческий мир, разрушение несовпадающих с ними культурных порядков, нетерпимое отношение к разного рода инновациям.

Такого рода опыт нам мало знаком. Его выработка и освоение нуждаются в специальных социокультурных устройствах, которые могут быть размещены в самых различных сферах общественной жизни, в том числе и образовании. В этом случае образованию, причем в первую очередь университетскому, отводится особая творческая роль инициатора и распространителя культурных изменений. Для этого образованию самому необходимо освоить язык интеллигибельного отношения с культурным предметом, стать местом реального культуропорождающего диалога.

В таком контексте может быть прочтен сборник статей Кеннета Джерджена. Опыт чтения оказывается не просто выбором тех или иных, показавшихся нам симпатичными (полезными), идей или оборотов речи, а выбором стратегии собственного существования, разным опытом образования себя. С этой точки зрения тексты Джерджена обладают мощным образовательным потенциалом, что позволяет смотреть на конструкционистские предложения с определенным оптимизмом. В предлагаемом читателю сборнике социальный конструкционизм представлен не только как движение в методологии современной науки, но и как некая общая мировоззренческая ориентация, истоки которой можно обнаружить в предшествующих эпохах и которая открывает самые широкие горизонты в гуманитарном мышлении и практике.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания / Пер. с англ. Е. Д. Руткевич. М., 1995.
2. Герменевтика: проблемы исследования понимания // Вопр. методологии. 1992. № 1–2.
3. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К. Социология: Сб. / Пер. с нем. М., 2000.
4. Мухелишвили Н. Л., Шрейдер Ю. А. Метаспсихологические проблемы не прямой коммуникации // Когнитивная эволюция и творчество. М., 1995.
5. Пузырей А. А. Манипулирование и майевтика: две парадигмы психотехники // Вопр. методологии. 1997. № 3–4.

Кеннет Дж. ДЖЕРДЖЕН

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
КАК СОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ:
СТАНОВЛЕНИЕ ВЗГЛЯДА

●
МЕСТО ПСИХИКИ
В СКОНСТРУИРОВАННОМ МИРЕ

●
К КУЛЬТУРНО-КОНСТРУКЦИОНИСТСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ

●
ТЕХНОЛОГИЯ И Я:
ОТ СУЩНОСТНОГО К ВОЗВЫШЕННОМУ

●
УПАДОК И КРУШЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

●
СОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

●
СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ В КОНТЕКСТЕ:
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ГУМАНИЗМ

●
ОБЫДЕННОЕ, ОРИГИНАЛЬНОЕ
И ПРИНИМАЕМОЕ НА ВЕРУ
ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ
В ПСИХОЛОГИИ

●
КТО ГОВОРИТ И КТО ОТВЕЧАЕТ
В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ?

●
ПИСЬМО КАК ОТНОШЕНИЕ

●
ПОЭТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ:
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Вот он я.
Стою перед вами,
Единственный и одинокий.

Но не давайте видимости обмануть вас.

Каждое слово, слетающее с моих губ,
Каждый жест
принадлежит другим.

Вы видите единственность,
но реальность – во множествах.

Когда мы говорим,
Вы вступаете в этот мир.
Я же – в другой.

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ: СТАНОВЛЕНИЕ ВЗГЛЯДА¹

Вот уже более трех десятилетий я занимаюсь социально-психологическими исследованиями, и они неизменно воодушевляют меня. Однако природа этого воодушевления, т. е. смысл исследований и их значение, существенно изменилась за истекший период. «Послание» дисциплины, которое поначалу притягивало меня, сегодня выглядит глубоко ошибочным и в некотором отношении даже губительным для общества. Поскольку те предположения, которые лежат в основе этого «послания», имели (и до сих пор имеют) широкое распространение в психологии, мои последующие работы подверглись жесткой критике. Некоторым они показались антинаучными, антипсихологическими и даже нигилистическими. Но и не находя больше традиционные взгляды на науку и психологию обязательными, я далек от пессимизма в отношении будущего нашей дисциплины. В свете критической рефлексии и разворачивающихся в различных секторах психологии и в социальных науках в целом обсуждений перспективы социальной психологии кажутся мне более привлекательными, чем когда-либо прежде. В настоящем тексте удобнее всего будет действовать автобиографически. Я укажу на некоторые традиционные психологические предположения и на причины, по которым я от них отказался. Но что важнее, я рассмотрю современный подход, возникший на почве этой неудовлетворенности, и опишу некоторые его перспективы, которые можно поместить под более широкую рубрику социального конструкционизма.

БЕСКОНЕЧНЫЙ ПРОГРЕСС: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА

Во время учебы в университете я был удивлен двумя, на мой взгляд, очевидными фактами: во-первых, тем, что наибольший вклад в улучшение условий человеческого существования в XIX в. был сделан естественными науками, и во-вторых, тем, что мы до сих пор еще не определили источники человеческого поведения. Психология, похоже, не только осознала оба этих факта, но и обещала, что благода-

¹Ориг. опубли. в сб.: The message of social psychology: perspectives on mind in society / Ed. by C. McCarty and A. Haslam. Oxford, 1997. – *Примеч. пер.*

ры научным знаниям о человеческом поведении общество сумеет решить многие насущные проблемы – проблемы агрессии, эксплуатации, предрассудков, классовых конфликтов, безнравственности, ненормальности, – и каждый из нас научится справляться с обычными неурядицами повседневной жизни.

Эти заманчивые возможности составили мой личный *raison d'être*¹. Как прошедший подготовку ученый я мог бы создавать экспериментальные ситуации, позволяющие проследить точные каузальные связи: влияние различных (так называемых) стимульных условий на психологические процессы отдельных индивидов и влияние этих психологических процессов на поведение субъектов в отношении друг друга. Полученные в связи с каузальными последовательностями наблюдения можно было бы также выразить статистически, чтобы обеспечить возможность их широкой генерализации. Затем я мог бы сделать найденные данные доступными для своих коллег и при обнаружении слабостей и ограничений – предпринять дальнейшее исследование. Со временем, благодаря моему участию, были бы разработаны очень сложные и хорошо проверенные теоретические описания (принципы и объяснения), имеющие большую степень общности. Эти описания не были бы отягощены никакой идеологией, политической позицией или этическими убеждениями. Они могли бы быть потенциально доступными для всех, а политики, руководители организаций и общественные лидеры – и, конечно же, любые частные лица – использовали бы их для улучшения положения людей.

Это не были исключительно мои личные верования; таковы базовые предположения так называемой эмпирической или экспериментальной социальной психологии. Чтобы показать, как они работают, рассмотрим одно из моих ранних исследований по теме, которая возбуждает мой интерес и сегодня, а именно Я. Вслед за многими своими коллегами я верил, что правильное понимание индивидуальной деятельности обязательно предполагает описание различных психологических процессов, таких, как восприятие, мотивация, эмоции, память и т. д. Но в особенности меня привлекало возможное влияние на поведение человека его представления о себе и других. Любое наше повседневное решение зависит от того, что мы думаем о себе (от нашего концепта Я, самоуважения и т. д.) и о других (их личности, ожиданиях и т. д.). В отличие от многих теоретиков психологии личности я был удивлен тем, что казалось мне глубокой неустойчивостью Я-концепции. У нас нет единого стабильного представления о себе, рассуждал я, мы обладаем способностью к бесконечным флуктуациям. Причем, согласно Джорджу Герберту Миду [35], эти флуктуации непосредственно связаны с тем, как другие ведут себя по отношению к нам. Я полагал, что самоуважение индивида может определяться проявленным к нему со стороны других в тот или иной момент времени уважением.

¹ Разумное основание, смысл (фр.). – *Примеч. пер.*

Эта гипотеза легла в основу экспериментального исследования, в котором я попытался проследить систематические эффекты влияния оценок одного человека на самоуважение другого. В рамках сложно структурированной процедуры, включающей множество переменных и показателей, я создавал ситуации интервью между испытуемыми (студентами колледжа второго года обучения) и выпускниками (стимульными личностями). В ходе интервью испытуемых просили, чтобы они дали себе ряд оценок. В экспериментальной группе интервьюер соглашался с испытуемым всякий раз, когда тот позитивно оценивал себя, и молчал либо не соглашался, когда он оценивал себя негативно. Как я обнаружил, самооценка испытуемых в этом случае устойчиво возрастала по ходу интервью, чего не наблюдалось в контрольной группе, где такой обратной связи не предоставлялось. Последующий тест на самоуважение, организованный частно, обнаружил статистически более высокие показатели у экспериментальных испытуемых по сравнению с испытуемыми из контрольной группы. Позитивная обратная связь продолжала действовать и после интервью. Эти и другие найденные данные были впоследствии опубликованы [18] для того, чтобы коллеги могли с ними ознакомиться, и я даже испытал некоторое удовлетворение от ощущения того, что внес свой вклад в область исследований, которые в конечном счете помогут нам понять природу Я-концепции и результатами которых могли бы воспользоваться терапевты, педагоги, родители и все те, кто заботится о благе других.

Подводя итог, можно сказать, что «послание» социальной психологии, неотделимое от господствующего *Zeitgeist*¹, состояло в том, что эмпирическое исследование способно обеспечить беспристрастное и систематическое описание и объяснение социального поведения, что в ходе исследования точность и обобщенность этих теоретических описаний постоянно совершенствуется и что для общества нет ничего практичнее выверенной, экспериментально обоснованной теории. Иными словами, ученые способны предложить обществу бесценные сокровища в виде принципов человеческого взаимодействия, которые помогут совершенствованию общества. В отношении нашего понимания самих себя прогресс в познании бесконечен.

ПЕРВЫЙ ТУПИК: СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК ИСТОРИЯ

Мне было трудно писать предыдущие страницы; это походило на попытку вновь испытать наивный юношеский идеализм. Нет, я вовсе не хочу отказаться от всех предпосылок и, конечно, от оптимистического взгляда на потенциал нашей дисциплины. Однако, чтобы «спас-

¹ Дух времени (нем.). — *Примеч. пер.*

тись», нужно было открыто посмотреть в лицо собственной глупости. Для меня первым шагом критической саморефлексии было осознание исторической конечности социально-психологического знания. Показанный выше энтузиазм в значительной степени зависит от веры в то, что знание накапливается: каждый эксперимент способен добавить что-то к предыдущему, а прирост данных ведет к более точной фиксации реалий социальной жизни. Но что если социальная жизнь сама по себе нестабильна; что если социальные паттерны находятся в состоянии непрерывной и, возможно, хаотичной трансформации? Если это действительно так, то наука не аккумулирует знание; ее знание говорит лишь о малой и, возможно, не очень важной истории поведения студентов колледжей в искусственных лабораторных условиях.

Подобные сомнения начали возникать у меня еще при разработке описанного выше исследования самооценки. В дополнительном исследовании я показал: чтобы обратная связь оказала воздействие на уровень самоуважения, она должна быть подлинной. Если человек думает, что обратная связь неискренна, не является истинным выражением чувств, она будет иметь минимальный эффект. Я проверил это подозрение, поместив группу испытуемых в те же условия, которые были описаны выше, за исключением того, что им не говорилось, что интервьюер будет применять техники интервью. Результаты подтвердили мою гипотезу. Однако в моменты передышки мне также приходило в голову, что ни в одной ситуации обратная связь не была действительно искренней; она всегда была экспериментально предопределена. Это означало, что важно не то, как в действительности вел себя интервьюер во время взаимодействия, важна интерпретация его действий. Но если интерпретации появляются и исчезают на арене культурной истории и существует фактически неограниченное количество способов толкования событий, то как мы должны поступить с полученными результатами? Когда-то все верили в существование душ и одержимость дьяволом; сегодня эти интерпретации непопулярны. В XVI в. меланхолия была повсеместным явлением; в начале XX в. люди страдали от «расстройства нервов». Эти интерпретации сейчас мало о чем говорят. Значит, мои результаты отражают существующие культурные условия.

Размышления о том, как из поля зрения пропали «расстройства нервов», а также о том, как появились и исчезли такие близкие нам по времени понятия, как «кризис идентичности» и «аномия», усилили накопившиеся сомнения. Психология – творческая дисциплина. Она непрерывно создает новые термины, новые объяснения и новые идеи, касающиеся истоков человеческого поведения. Не попытки ли это интерпретаций? И если да, то не вносят ли они свой вклад в интерпретативную смесь в обществе? Не изменяют ли они направление наших интерпретаций и тем самым наших действий в отношении друг друга? Фактически, проникая в общество, социально-психологические тео-

рии могут преобразовывать социальные паттерны. Психология способствует ускорению процессов социального структурирования, которые лишают оснований ее веру в кумулятивное знание.

Сюжет запутывается. Вернемся опять к моему небольшому исследованию Я-концепции. Его теоретическое обоснование выглядит достаточно очевидным; можно даже сказать, что оно отражает здравый смысл. Но давайте посмотрим, в чем мои предположения о Я отличны от здравого смысла. Западной культуре по большей части свойственно представление о том, что все люди наделены способностью автономного выбора. Мы, по сути, свободны выбирать тот или иной способ действия. Именно ценность индивидуального выбора лежит у истоков нашей веры в демократию, закон и ту разновидность повседневной ответственности, исходя из которой мы считаем друг друга ответственными за свои действия. Однако Я, образ которого рисует мой эксперимент, не является произвольным источником. То, как человек переживает свое Я, здесь определяется обратной социальной связью; я представляю собой не более, чем хранилище установок других людей в отношении меня. В этом смысле мой эксперимент вытесняет или отрицает обыденную культурную мудрость, незаметно подрывая основания культурных институтов демократии, ответственности перед законом и т. д. Дальнейшее развитие моих теоретических предположений привело бы даже к отказу от допущения возможности подлинной или искренней обратной связи, поскольку любая обратная связь от других в равной степени была бы продуктом социального программирования.

Из этих рассуждений следует, что психология как дисциплина не только «варится в котле» социальных значений, но и ценностно насыщена. То есть, несмотря на стремление к ценностной нейтральности, дисциплинарные интерпретации подспудно побуждают к признанию одних типов деятельности и дискредитации других. Например, в ряде известных психологических исследований дискредитируются конформность, подчинение и уступчивость к давлению, направленному на смену установки. Тем самым психология скрыто отдает предпочтение независимости, автономии и самодостаточности; кооперация, сотрудничество и эмпатичное слияние с другим вытесняются. Поэтому дисциплина не только меняет (или поддерживает) интерпретации, но и невольно отстаивает моральные и политические ценности. Надежда на ценностно нейтральную науку – глубокое заблуждение.

Большая часть высказанных аргументов была высказана в моей ранней статье «Социальная психология как история» [2]¹. Эффект был потрясающим. Мнения разделились: одними мои аргументы были отвергнуты как непродуктивная философия, другими – как смешные, и лишь у немногих возникло ощущение «подтверждения долго скры-

¹ Ориг. опубл. в 1973 г. — *Примеч. пер.*

ваемых сомнений». Эта статья, в сочетании с серией других критических работ [4¹; 28; 42], вызвала то, что затем назвали «кризисом социальной психологии» [54]. Однако спустя несколько лет кризис пошел на убыль; эксперименталисты вернулись к своим обычным занятиям; саморефлексия по большей части исчезла со страниц крупных журналов. Но все же, благодаря небольшому числу гонимых, но неустрашенных душ, начало вырисовываться, пока туманно, представление о реконструированной социальной психологии.

ПОЯВЛЕНИЕ ИДЕИ СОЦИАЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ

Я обратился к этой идее отчасти в попытке защитить свою первоначальную критику. Но дело не только в том, что в целях защиты я расширил свое знакомство с содержательно близкими работами по философии, социологии, истории и другим дисциплинам. На возможность позитивной альтернативы традиционным психологическим взглядам также указывало то, что казалось мне наиболее сильным аргументом против моего тезиса о социальной психологии как истории. Перефразируя этот интересный довод, его можно представить в следующем виде: мой тезис излишне замкнут на публичной активности. То есть из моего текста явствовало, что социальные паттерны находятся в постоянном движении; стили, идеологии, общественное мнение и традиции подвергаются историческим преобразованиям, а психологи (в той мере, в какой они читают или понимают их) могут влиять на эти тенденции. Однако социальная психология не интересуется эфемерным внешним миром. Ее задача – выявлять психологические основания этих паттернов, т. е. то, каким образом в человеческих организмах протекают базовые процессы познания, мотивации, предубеждения и т. п. Эти процессы не нестабильны, они присущи человеческой природе. Непостоянно только их выражение.

Такое возражение выглядело несколько неуклюже, поскольку социальная психология явно ориентировалась на предсказание и понимание социального поведения, т. е. паттернов, которые по природе своей нестабильны. Но в то время у меня было мало средств для обоснования того, что исходные процессы не являются ни стабильными, ни универсальными. Почему здесь имеется неопределенность и откуда критик может знать о существовании устойчивых феноменов? На каком основании мы можем судить о том, что внутренние процессы в самом деле эфемерны или универсальны? Эти вопросы продолжали преследовать меня до тех пор, пока не было найдено окончательное контрдоказательство. Именно оно стало точкой поворота к новой, конструкционистской социальной

¹ Ориг. опубли. в 1973 г. — *Примеч. пер.*

психологии. Особенно важным для меня оказалось чтение классической работы Гадамера «Истина и метод» [1]. Гадамер попытался ответить на вопрос, беспокоивший герменевтов в течение нескольких столетий: как мы понимаем значение текста, то, что пытается сказать автор? Этот вопрос не получил удовлетворительного ответа в рамках герменевтической традиции, что действительно заинтересовало меня, поскольку проблема того, как читатели понимают значение текста, по своей сути эквивалентна проблеме того, как психологи постигают психологические процессы, лежащие в основе внешней деятельности. Для меня ключевым понятием в гадамеровской работе является понятие «горизонт понимания». Как он показал, читатель взаимодействует с текстом, исходя из имеющейся предструктуры понимания, т. е., по сути дела, ряда интерпретативных склонностей, обычно задающих способ понимания текста. Сам Гадамер искал средства, с помощью которых читатель может преодолеть «горизонт понимания», но это впечатлило меня гораздо меньше, чем широкий резонанс этого понятия с идеями других интеллектуальных традиций. В своей работе «Структура научных революций» Томас Кун [3] показал, что интерпретация научных данных управляется парадигмой понимания (или теоретической предструктурой), ключевой для профессионального поля в данный момент. По его мнению, ученый осуществляет исследование и интерпретирует данные в рамках теоретической (и метатеоретической) структуры (или сети априорных допущений), разделяемой определенным сообществом. К сходным выводам, хотя и в иной области, пришел теоретик литературы Стэнли Фиш [16]. Он убедительно доказывает, что читатели, понимая текст, делают это как члены интерпретативного сообщества. Их интерпретации неизбежно строятся на конвенционально принятых в сообществе способах понимания.

Когда все эти аргументы сошлись вместе, стало очевидно, что чтение «внутреннего психологического мира» осуществляется, исходя из ряда предположений. Действия людей не указывают совершенно прозрачно на характер их субъективных миров или психических процессов; психологи, используя некоторую теорию, описывают «внутренние события» в ее терминах. У этой теории нет эмпирических оснований; любые факты сознания, привлекаемые в ее поддержку, вынуждают применять именно ее. Фактически тот психологический мир, который столь дорог сердцу многих социальных психологов, является социальной конструкцией, а данные, используемые для оправдания суждений об этом мире, валидны только в границах теоретических (и метатеоретических) парадигм поля. Исследовательские данные не имеют никакого смысла, пока они не проинтерпретированы, но интерпретации не вытекают из самих данных. Они появляются в процессе согласования значений внутри сообщества.

Конечно, можно было бы прочитать в подобных заключениях приговор социальной психологии (да и самой науке как институту, выска-

зывающему истину). Но такой печальный вывод вряд ли обоснован. В конце концов социально-конструкционистская критика сама базируется на серии предпосылок, предположений и соглашений, ключевым из которых является понятие «социальный процесс». Можем ли мы вообразить такую социальную психологию, которая рассматривает себя в виде социального процесса, а свой вклад в культуру – в категориях социального конструирования? Начало такого подхода было положено в 1982 г. моей книгой «К трансформации социального знания» [21]. Раскрытие его потенциала продолжается до сих пор.

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В КОНСТРУКЦИОНИСТСКОМ КЛЮЧЕ

Как мне сегодня кажется, социальная психология, принявшая конструкционистский взгляд на знание, реально расширяет и обогащает поле. Отдельные позитивные идеи, высказанные в прошлом, остаются, а бесплодные традиционные поиски прекращаются. Но что важнее – открывается возможность для новых значимых разработок. Я не имею здесь в виду некий «пирог на том свете», мечту на бумаге. Наоборот, как я попытался показать в своей книге «Реальности и отношения» [19], движение в сторону реконструированной психологии заявляет о себе по всему пространству психологии¹, во всем мире², и соотносится со сходными тенденциями в гуманитарных науках и науках о человеке³. Ниже я очерчу три, на мой взгляд, главных вызова социальной психологии в ее конструкционистской форме и опишу ключевые предложения для каждого из них.

Эмпирический вызов

Ничто в социально-конструкционистской психологии не исключает эмпирического исследования. Однако место этого исследования и его специфические возможности существенно переопределяются. В

¹ См., например, работы Кессена [31] по психологии развития, Херманса и Кемпена [29] по исследованиям личности, Спенса [52] и Пенна и Франкфурта [38] по индивидуальной и семейной терапии, Харе-Мастин и Маречека [27] и Мэри Джерджен [24] по феминистской психологии и Данцигера [13] по историческому анализу психологии.

² Среди прочих мы можем указать на Ибаньеса [30] в Испании, Бредли [9] в Австралии, Уайта и Эпстона [60] в Новой Зеландии, Мишу [37] в Индии, Шнитмана и Фукса [49] в Аргентине, Херманса и Кемпена [29] в Нидерландах, Энгестрома [15] в Финляндии, Мидлтона и Эдвардса [11] в Великобритании, Стема [53] в Канаде и Петрильо [39] в Италии.

³ См., например, работы Коултера [12] по социологии, Лутц [33] по антропологии, Уайта [59] по истории, Макнами [34] по коммуникации, Фиске [17] по культуре, Рорти [44] по философии и Грегори [25] по географии.

конструкционистской перспективе традиционное стремление к проверке гипотез об универсальных процессах сознания (познания, мотивации, восприятия, аттитюдов, предубеждений, Я-концепции) кажется, по меньшей мере, заблуждением или, еще хуже, бесполезной тратой ресурсов (интеллектуальных, денежных, временных, материальных). Дело не только в том, что предмет изучения представляет собой социальную конструкцию, а значит, не существует предмета эмпирической оценки вне определенной традиции интерпретации, но и в том, что такое исследование подкрепляет необоснованную претензию чисто западной онтологии на статус универсальной.

Что касается более позитивной стороны, то с конструкционистской точки зрения традиционное эмпирическое исследование наиболее эффективно, если оно проводится для 1) иллюстрации интересных или необычных идей и 2) отслеживания паттернов поведения, значимых для общества. Хорошим примером претворения неординарных идей в жизнь являются классические работы Аша [5] по социальной конформности и Милграма [36] по подчинению. Ни та, ни другая ничего не доказывают в отношении социальной жизни; они не демонстрируют ни конформности, ни подчинения (которые сами по себе – интерпретации, подлежащие оспариванию и согласованию). Однако в руках этих ученых данные начинают драматическим образом толкать к провокационным мыслям о человеческом взаимодействии в жизни, тем самым вызывая дискуссию и обсуждение. Оба исследователя затрагивают фундаментальные вопросы силы социального влияния, а также потребностей и проблем, свойственных социальным группам, но не зависящих от них. При этом существует множество иных ресурсов для постановки подобных вопросов, например, в истории, литературе и исследованиях случаев. Однако если некоторая эмпирическая и идеологическая обремененность допустима, то преимущество исследователя состоит в том, что он способен подобрать нужную иллюстрацию в конкретных терминах и показать ее потенциальную значимость для всех людей.

Многие социальные психологи, движимые конструкционистским интересом, выражают недовольство политическими последствиями экспериментирования на людях и вместо этого изучают способы конструирования реальности в обществе. Подобные исследования, фокусирующиеся на дискурсивных средствах определения истинного и правильного, преследуют эмансипирующие цели. Вместо того чтобы стараться продемонстрировать универсальные принципы, они применяют дискурсивный анализ для актуализации наших привычных путей конструирования мира и себя. Главная цель здесь – показать, какие проблемы создают соответствующие дискурсивные конвенции, и начать обсуждение альтернативных подходов. Так, например, различные исследователи использовали методы дискурсивного анализа для подрыва традиционных представлений о гендерных различиях [32],

индивидуальной памяти [11], причинах социальных беспорядков [40], принятых истинах об алкоголе [56] и атрибуциях намерения [14], а также идеи фактуальных или объективных отчетов [61]. Другие ученые занимались тем, каким образом формы риторических или речевых конвенций непреднамеренно управляют нашими предположениями о реальном. В случае исследований идентичности, к примеру, мы с Мэри Джерджен [22] попытались показать, как нарративные конвенции – или традиционные способы рассказывания историй – образуют предструктуру, посредством которой мы делаем себя понятными для других. В отличие от традиционной экспериментальной работы, описанной мною ранее, Я рассматривается здесь как продукт диалогических процессов, находящихся в непрерывном движении.

Наконец, следует добавить, что еще одно преимущество традиционных эмпирических методов – использование статистического аппарата, т. е. предоставление информации о повторяющихся паттернах социального поведения. Иллюстрацией этой возможности является способность исследователей общественного мнения предсказывать результаты выборов, умение страховых компаний прогнозировать автомобильные аварии и способность специалистов по народонаселению предвидеть показатели рождаемости. Лабораторное социально-психологическое исследование, как правило, не справляется с этой задачей, поскольку исследовательский контекст обычно нестандартен, а найденные данные обладают малой этологической валидностью. Однако попытки социальных психологов предсказать показатели нездоровья (например, сердечной недостаточности, рака) были очень обещающими. Выходя за стены своей лаборатории, исследователи прослеживают корреляции между рядом социальных переменных (например, социальной поддержкой, травматическими случаями, личностными диспозициями) и рядом переменных здоровья. Результаты такого исследования часто оказывают серьезное влияние на возможную политику и практику в области здоровья. При этом мы понимаем, что изучаемые феномены социально конструируются, а такие ярлыки, как сердечная недостаточность и социальная поддержка, культурно и исторически случайны. Но поскольку эти конструкты разделяются в культуре и близки доминирующей идеологии здоровья, психология делает свой вклад в общество, адаптируя свои категории и собирая информацию о поведенческих паттернах, сконструированных подобным образом.

Рефлексивный вызов

Как мы видим, социально-конструкционистская перспектива не отрицает эмпирическое исследование; просто его цели пересматриваются в такой форме, что его результаты оказываются более прямо связанными

с социальными интересами, провоцируя культурные диалоги, ставя под вопрос традиционные способы понимания и предоставляя информацию, непосредственно касающуюся их реализации. В то же самое время социальный конструкционизм побуждает к дополнительным поискам. Одним из наиболее важных направлений становится рефлексивное обсуждение. То, что люди, вступая в отношения, стремятся к выработке коллективных соглашений по поводу того, что является реальным, рациональным и правильным, и артикулируют эти соглашения в языковых формах, достаточно очевидно. Как в примитивной, так и в научной субкультуре мы создаем рабочие языки, чтобы осуществлять нашу совместную жизнь. Конструкционист, однако, видит серьезную опасность в окостенении («объективации») любого конкретного способа конструирования мира. Единогласные соглашения препятствуют саморефлексивному оцениванию. Критически рефлексировать свою практику, используя для этого ту же рациональность, что легитимирует ее, – значит рационализировать *status quo*¹. И что хуже всего, те, кто не разделяет определенных посылок, становятся «другими», зачастую отвергаемыми, пренебрегаемыми и очерняемыми.

В этой перспективе представляется особенно важным запуск процессов рефлексивного обсуждения, процессов, которые демонстрируют исторически и культурно заданный характер само собой разумеющегося мира, указывают на его репрессивный потенциал и дают право другим голосам принимать участие в культурных диалогах. Это действительно достойные цели, и именно к их достижению побуждает конструкционистская ориентация в социальной психологии. Конструкционистская социальная психология, чувствительная к сконструированному характеру наших реальностей, процессам производства и распада реальностей и прагматическим эффектам языковых формаций, оптимально подходит на роль инициатора рефлексивного диалога как внутри психологической науки, так и в культуре в целом. Повторяю, это не пустые спекуляции. Рефлексивное обсуждение было и остается важной формой отношений в рамках конструкционизма. Психологи, разоблачавшие потенциал ущемления и притеснения в само собой разумеющихся психологических предположениях, исследовали, например, ограниченность традиционных концепций индивидуальных психологических процессов [46; 47], развития ребенка [9], психической болезни [48] и гнева [55]. Конструкционистские психологи, обратившись к культуре в целом, исследовали проблемы и перспективы романтических и модернистских концепций личности [20], проблематичные допущения, лежащие в основе конструирования учеников в образовательной сфере [58], а также скрытое распространение националистической идеологии [8].

¹ Существующее положение (лат.). — Примеч. пер.

Творческий вызов

Традиционная социальная психология ориентировалась по преимуществу на выявление имеющихся паттернов поведения. Задача ученого в этом случае состояла в точном описании существующей реальности. Но поскольку существующая реальность считалась продуктом действия универсальных и трансгисторических процессов, профессиональная психология мало интересовалась участием в формировании общественного будущего. Так как вклад в новые культурные формы потребовал бы ценностного самоопределения, а социальная психология стремится быть ценностно нейтральной, в профессиональные поиски, непосредственно связанные с социальными преобразованиями, вносились очень скудные ресурсы. Такая установка на социальную невовлеченность резко противоречит конструкционистской социальной психологии. Мы уже знаем о конструкционистском интересе к этическим и политическим вопросам, выражающемся в рефлексивных практиках. Любая критика предполагает критерий «блага», к которому внутренне устремлен эффективный критический анализ. Однако конструкционистское пристрастие к социальным трансформациям носит более глубокий характер. Для конструкциониста профессиональные дискурсы являются составной частью культурной жизни. Определяя способы культурного понимания (устанавливая различия, предоставляя основания для деятельности и имплицитно оценивая формы поведения), они одновременно готовят наше будущее. Это будущее может оказаться простым повторением прошлого, воспроизведением само собой разумеющихся культурных допущений. Обычно такие эффекты порождает социальная психология, основанная на реалистическом (или объективирующем) понимании науки. С точки же зрения конструкциониста социально-психологическое исследование способно участвовать в сотворении новых форм культурной жизни. Разрабатывая новые теоретические языки, исследовательские практики, формы выражения и методы вмешательства, психология создает благоприятные условия для культурной трансформации.

Конструкционизм не налагает на ученого никаких ограничений или требований, диктуемых предпочтительным образом будущего. Но среди конструкционистов сформировалась, вероятно, неизбежная тенденция создавать теории и практики, поддерживающие коммунизм, а не индивидуализм, взаимозависимость, а не независимость, включенное, а не иерархическое принятие решений, и социальную интеграцию, а не традиционалистскую сегментацию. Подобного рода симпатии производны от конструкционистского представления о социально сконструированной природе знания. Чтобы показать на примере, как теоретическая работа используется для достижения этих целей, вернемся к теме идентичности. Как мы видели, в эксперименталистской

традиции Я-концепция обычно рассматривается как нечто более-менее самостоятельное, как характеристика универсальных и биологически детерминированных процессов психического функционирования. Такой взгляд увековечивает устоявшиеся индивидуалистские практики в культуре, подчеркивающие независимое функционирование индивида. Социальные институты в этом описании становятся побочными продуктами индивидуального взаимодействия, а значит, дружба, брак, семья и сообщество – искусственные изобретения, возникающие, видимо, в силу нашей индивидуальной недостаточности. Достаточный человек – это независимое существо.

Чтобы преодолеть индивидуалистскую традицию и подчеркнуть ценность отношений, а не изоляции, необходимо найти альтернативу традиционной концепции Я, т. е. нужна творческая теоретическая работа. Поэтому такие теоретики, как Джон Шоттер [50; 51], Эдвард Сэмпсон [45], Херманс и Кемпен [29] начали развивать глубоко социализированное представление о Я. Под влиянием ранних работ Выготского [57] и Бахтина [6] индивидуальное функционирование начинает рассматриваться как неотделимое от отношений. Значительная доля человеческой деятельности вырастает из взаимодействия и направлена на дальнейший обмен. Когда я пишу эти строки, в них отражаются, например, мои бесчисленные диалоги с коллегами и студентами, посредством которых я устанавливаю отношения с читателями. Это не «мои» слова, их авторство мнимое. Я, скорее, носитель определенных отношений, которые превращаю в новые отношения. Указанная работа дополняется серией творческих теоретических разработок, ориентированных на реконституирование традиционных психологических категорий. Например, для Поттера и Уэверел [41] аттитюды не заключены в головах отдельных индивидов; иметь аттитюд – значит занимать позицию в разговоре. Согласно Биллигу [7], нет никакого смысла изучать рациональные процессы, лежащие в основе языка и протекающие где-то в мозгу; скорее, говорить рационально – значит использовать принятые риторические формы.

В качестве примера можно сравнить мою работу по Я-концепции, выполненную в старой парадигме (механистической, индивидуалистской, экспериментальной), и мои нынешние, относительно ориентированные исследования эмоций [19]. Сначала надо деконструировать традиционные эмоциональные категории, такие, как гнев, любовь, страх, радость и т. д., т. е. рассмотреть их как социальные конструкции, а не как указатели дифференцированных свойств разума или мозга. При помощи такой деконструкции мы избавляемся от необходимости бесконечного и обременительного поиска означаемого, т. е. ускользающей сущности гнева, любви и т. п. Кроме того, мы можем взять в скобки индивидуалистское толкование этих терминов. Эта критика также позволяет нам рассмотреть язык эмоций не как набор

категорий, отсылающих к невидимым свойствам сознания, а как набор перформативов. То есть, говоря «я раздражен», «я люблю тебя» и т. п., мы не пытаемся описать некоторую скрытую область сознания или состояние нейронов. Скорее, мы осуществляем отношение, причем сами эти фразы являются лишь одним их элементов более широких действий, включающих движения конечностей, голосовые интонации, выражения глаз и т. д.

В то же время не будем рассматривать эти исполнительские действия как исключительно индивидуальные. Адекватнее представлять их как составляющие более сложных паттернов отношений. Они не могут осуществляться случайным образом, поскольку требуют побуждающих действий других людей; но однажды исполненные, они допускают только ограниченный набор действий со стороны других. Рассмотрим эмоциональные сценарии как расширенные паттерны взаимодействия. Анализируя эмоциональный сценарий, например гнева, мы обнаруживаем, что гнев понятен лишь как реакция на определенные действия (например, оскорбление, выражение враждебности). Но после того, как гнев был разыгран, другой не может поступать, как ему заблагорассудится; конвенция обязывает его, например, принести извинения, начать оправдываться или тоже разозлиться. Мы видим, что эмоциональные выражения – составные части протяженных форм взаимодействия, в чем-то сходных с культурными ритуалами; они становятся понятными и важными только в силу своего местоположения внутри этих ритуалов. Эмоциональные исполнительские формы являются собственностью отдельного индивида не больше, чем слова, которые мы произносим.

Хотя подобные инновационные теоретические постановки вносят свой вклад в процесс социальной трансформации, мы можем обнаружить дополнительные профессиональные средства достижения этой цели. Например, конструкционистские психологи разработали альтернативные формы методологии, обосновывая это тем, что исследовательские методы тоже нагружены ценностями и идеологиями. Чувствуя, что экспериментальные технологии проводят границу между ученым и испытуемым, отдавая приоритет голосу ученого и толкая к манипуляции, они ищут возможности расширения набора исследовательских методов. Качественные методы [26], наравне с процедурами дискурсивного анализа, представляют собой один из важных шагов к обогащению социальной психологии. Кроме того, мы получаем возможность экспериментировать с самими нашими формами научного выражения. Профессиональные социально-психологические работы наследуют исчерпавшие себя риторические традиции; они понятны только узкому сообществу ученых, но даже в этом сообществе они избыточно формальны, монологичны, оборонительны и сухи. Природа социального мира вряд ли требует такой архаической формы выраже-

ния. Конструкционизм призывает ученого расширять репертуар выражения, открывать способы говорения и письма для более широкой аудитории, возможно, при помощи множества голосов и более богатой риторики. В качестве иллюстрации можно указать на феминистские работы Мэри Джерджен [23; 24] и первый студенческий текст по конструкционистской социальной психологии, написанный Роджерсом и др. [43]¹.

В заключение скажу, что по моему мнению потенциал конструкционистской социальной психологии безграничен: у нее нет ни дисциплинарных границ, ни фиксированных заранее параметров исследования. Такая психология тесно связана с культурной жизнью; она увлекательна; она привлекает интеллектуальную деятельность к ориентированным на изменения практикам; она приветствует провокационные постановки как внутри психологии, так и вне ее; она рисует яркие образы будущего; и при этом она сохраняет умеренность в допущениях и с уважением относится к допущениям других. Послание конструкционистской социальной психологии глубоко оптимистично.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Гадамер Х.-Г.* Истина и метод: основы философской герменевтики / Пер. с нем. Б. Н. Бессонова. М., 1988.
2. *Джерджен К. Дж.* Социальная психология как история / Пер. с англ. Е. В. Якимовой // Социальная психология: саморефлексия маргинальности: Хрестоматия. М., 1995.
3. *Кун Т.* Структура научных революций / Пер. с англ. И. З. Налетова. М., 1975.
4. *Мак-Гайр У. Дж.* Ин и Янь прогресса в социальной психологии: семь принципов // Современная зарубежная социальная психология: Тексты / Под ред. Г. М. Андреевой, Н. Н. Богомоловой, Л. А. Петровской. М., 1984.
5. *Asch S.* Social psychology. Englewood Cliffs, 1952.
6. *Bakhtin M.* The dialogic imagination. Austin, 1981.
7. *Billig M.* Arguing and thinking. London, 1987.
8. *Billig M.* Banal nationalism. London, 1995.
9. *Bradley B. S.* A serpent's guide to children's «theories of mind» // Theory and psychology. 1993. Vol. 3. № 4.
10. *Burr V.* An introduction to social constructionism. London, 1995.
11. Collective remembering / Ed. by D. Middleton and D. Edwards. London, 1990.
12. *Coulter J.* Mind in action. Oxford, 1989.
13. *Danziger K.* Constructing the subject: historical origins of psychological research. Cambridge, 1990.
14. *Edwards D., Potter J.* Discursive psychology. London, 1992.
15. *Engstrom Y., Middleton D.* Communal cognition in the workplace // Collective remembering / Ed. by D. Middleton and D. Edwards. London, 1990.

¹ Еще одна работа по социальному конструированию, написанная Вивьен Бурр [10], — тоже важный новый текст университетского уровня, но письмо в этом случае более традиционно.

16. *Fish S.* Is there a text in this class? The authority of interpretive communities. Cambridge, 1980.
17. *Fiske S.* Television culture. London, 1987.
18. *Gergen K. J.* Effects of interaction goals and personality feedback on the presentation of self // *Journal of personality and social psychology*. 1965. Vol. 1. № 5.
19. *Gergen K. J.* Realities and relationships: soundings in social construction. Cambridge, 1994.
20. *Gergen K. J.* The saturated self. New York, 1991.
21. *Gergen K. J.* Toward transformation in social knowledge. New York, 1982.
22. *Gergen K. J., Gergen M. M.* Narrative and the self as relationship // *Advances in experimental social psychology* / Ed. by L. Berkowitz. New York, 1988.
23. *Gergen M. M.* From mod masculinility to post-mod macho: a feminist re-play // *Psychology and postmodernism* / Ed. by S. Kvale. London, 1992.
24. *Gergen M. M.* Toward a feminist metatheory and methodology in the social sciences // *Feminist thought and the structure of knowledge* / Ed. by M. Gergen. New York, 1988.
25. *Gregory D.* Geographical imaginations. Cambridge, 1994.
26. *Handbook of qualitative research* / Ed. by N. K. Denzin and Y. S. Lincoln. Thousand Oaks, 1994.
27. *Hare-Mustin R., Marecek J.* The meaning of difference: gender theory, postmodernism and psychology // *American psychologist*. 1988. Vol. 43. № 6.
28. *Harre R., Secord P.* The explanation of social behavior. Oxford, 1972.
29. *Hermans J. J. M., Kempen H. J. G.* The dialogical self: meaning as movement. San Diego, 1993.
30. *Ibanez T.* Social psychology and the rhetoric of truth // *Theory and psychology*. 1991. Vol. 1. № 2.
31. *Kessen W.* The rise and fall of development. Worcester, 1990.
32. *Kitzinger C.* The social construction of lesbianism. London, 1987.
33. *Lutz C. A.* Unnatural emotions: everyday sentiments on a micronesia atoll and their challenge to western theory. Chicago, 1988.
34. *McNamee S.* Creating new narratives in family therapy: an application of social constructionism // *Journal of applied communication research*. 1989. Vol. 17. № 1-2.
35. *Mead G. H.* Mind, self and society from the standpoint of a social behaviorist. Chicago, 1934.
36. *Milgram S.* Obedience to authority. New York, 1974.
37. *Misra G.* Psychology of control: cross-cultural considerations // *Journal of indian psychology*. 1994. Vol. 12. № 1-2.
38. *Penn P., Frankfurt M.* Creating a participant text: writing, multiple voices, narrative multiplicity // *Family process*. 1994. Vol. 33. № 3.
39. *Petrillo G.* Pragmatics of communication and psychosocial theories from a constructionist interactionist view // *Trends and issues in theoretical psychology* / Ed. by I. Lubek et al. New York, 1995.
40. *Potter J., Reicher S.* Discourses of community and conflict: the organization of social categories in accounts of a riot // *British journal of social psychology*. 1987. Vol. 26.
41. *Potter J., Wetherell M.* Discourse and social psychology: beyond attitudes and behavior. London, 1987.
42. *Ring K.* Experimental social psychology: some sober questions about some frivolous values // *Journal of experimental social psychology*. 1967. Vol. 3. № 2.
43. *Rogers R. S. et al.* Social psychology: a critical agenda. London, 1995.
44. *Rorty R.* Objectivity, relativism, and truth. New York, 1991.
45. *Sampson E. E.* Celebrating the other: a dialogic account of human nature. Boulder, 1993.

46. *Sampson E. E.* Psychology and the American ideal // Journal of personality and social psychology. 1975. Vol. 35. № 11.
47. *Sampson E. E.* Scientific paradigms and social values: wanted – a scientific revolution // Journal of personality and social psychology. 1978. Vol. 36. № 11.
48. *Sarbin T., Mancuso J.* Schizophrenia: medical diagnosis or verdict? Elmsford, 1980.
49. *Schnitman D., Fuks S.* Paradigma y crisis: entre el riesgo y la posibilidad // Psyckhe. 1993. Vol. 2. № 1.
50. *Shotter J.* Conversational realities. London, 1993.
51. *Shotter J.* Cultural politics of everyday life. Toronto, 1993.
52. *Spence D.* Narrative truth and historical truth. New York, 1982.
53. *Stam H.* Rebuilding the ship at sea: the historical and theoretical problems of constructionist epistemologies in psychology // Canadian psychology. 1990. Vol. 31. № 3.
54. *Strickland L.* Priorities and paradigms // Social psychology in transition / Ed. by L. Strickland, F. Aboud, K. Gergen. New York, 1976.
55. *Tavris C.* Anger: the misunderstood emotion. New York, 1989.
56. *Taylor C.* The ethics of authenticity. Cambridge, 1990.
57. *Vygotsky L.* Mind in society: the development of higher psychological processes. Cambridge, 1978.
58. *Walkerdine V.* The mastery of reason. London, 1988.
59. *White H.* Tropics of discourse. Baltimore, 1978.
60. *White M., Epston D.* Narrative means to therapeutic ends. New York, 1990.
61. *Woofitt D.* Telling tales of the unexpected: the organization of factual accounts. London, 1992.

МЕСТО ПСИХИКИ В СКОНСТРУИРОВАННОМ МИРЕ¹

В последние годы интерес к семейству идей, которые расплывчато носят ярлык «социально-конструкционистских», заметно вырос и теперь охватывает всю область социальных и гуманитарных наук. Конструкционистские исследования были обращены к пониманию способов производства, трансформации и вытеснения того, что мы считаем объективным знанием; изучению литературных и риторических приемов, посредством которых значение обретается и делается обязательным; освещению идеологической и ценностной нагруженности того, что не замечается или считается само собой разумеющимся; фиксации влияния практик конструирования мира на распределение власти; выявлению отношений, в которых рождается ощущение реального и правильного; определению исторических корней и чередований различных форм понимания; исследованию диапазона изменчивости человеческих смыслов в разных культурах. Систематизации данных направлений активности я посвятил значительную часть своей книги «Реальности и отношения» [35]. Однако на фоне живого интереса в академической сфере в целом психологи остаются относительно нечувствительными к конструкционистским постановкам. Социальный конструкционизм фактически не играет никакой роли в обсуждении психического функционирования и дисфункций внутри психологии.

Существует много причин общей изолированности психологической науки от этого интеллектуального течения. Определенно, одна из наиболее важных, по мнению многих, – фундаментальный антагонизм между психологическим и конструкционистским проектами. Для традиционной психологии психические процессы – не только главный предмет исследования, но и основная точка опоры при объяснении человеческих действий. В социальном конструкционизме, напротив, фокус понимания совпадает не с «психикой», а с социальными отношениями. Все, что психология сводит к ментальным началам, конструкционисты объясняют микросоциальными процессами. Если бы психологический проект был целиком доказан, в мире человеческой деятельности не осталось бы ничего, к чему можно было бы применить социальный конструкционизм. Но равносильно и обратное: подтверждение конструкционизма означало бы конец психологии.

¹ Ориг. опубли. в журн.: *Theory and psychology*. 1997. Vol. 7. № 6. – *Примеч. пер.*

Однако столь неутешительный вывод не целиком неизбежен. Он следует в первую очередь из реалистической метафизики и корреспондентного взгляда на язык, разделяющих единое представление о науке, в которой имеется только одна познаваемая реальность и в которой теории соревнуются друг с другом ради достижения преимущества в объяснении и предсказании. Именно такое представление о науке исторически способствовало появлению периодически возобновляющейся вражды между бихевиоризмом, искоренявшим всякий ментализм, и когнитивизмом, репрессировавшим бихевиористские голоса. Но конструкционистские исследователи, как правило, не придерживаются ни реалистической метафизики, ни корреспондентной теории языка. С конструкционистской точки зрения ничто не может оправдать основополагающих утверждений о реальном; что бы мы ни считали сущностным, оно является результатом социального взаимодействия. Теории фальсифицируемы не в силу их несоответствия чему-то, что называется «реальным», а в пределах конвенций, существующих внутри определенных анклавов значений. Таким образом, конструкционисты не имеют трансцендентальных оснований для исключения какой-либо теоретической формулировки. Более того, уничтожение той или иной теоретической перспективы было бы равносильно не только утрате одной из форм человеческого смысла (и связанных с ней социальных практик), но и лишению голоса производящего эти значения сообщества. Конструкционистская метафизика делает практически невозможным установление оснований для подобного рода подавления. Многие сказали бы, что имплицитная этика конструкционизма глубоко плюралистична [74].

Как тогда в свете конструкционистской метатеории следует нам рассматривать профессиональные инвестиции в психологические исследования, поддержание психического здоровья, политическое консультирование и другие практики, основанные на онтологиях ментальных процессов? Если онтология сознания перестает служить искоренению чего бы то ни было, то какую роль она должна играть в конструкционистском подходе к человеческой деятельности? И наоборот, каково место социального конструкционизма в психологии? Здесь на первый план выходит конструкционистский интерес к прагматике употребления языка. Для конструкциониста язык не является ни картиной, ни картой происходящего; скорее, согласно Витгенштейну [41], он приобретает значение при употреблении в человеческом взаимодействии (его использование может также включать «игру в установление реальности»). С этой точки зрения любой анализ научных или исследовательских описаний мира должен быть направлен в первую очередь (хотя и не исключительно) на определение того, как употребляются данные языки. В каких типах отношений они играют важную роль, и как влияют конкретные формы использования языка на тех,

кто прямо или косвенно вовлечен в эти отношения? При такой оценке не может быть канонического списка критериев, поскольку разные сообщества будут разделять различные интересы, которые могут самостоятельно изменяться с течением времени и в зависимости от обстоятельств. Кроме того, способ постановки подобных вопросов и ответа на них тоже должен быть рассмотрен как продукт сообщества, потому что и вопросы, и ответы не вытекают из «реальности», а отражают предпочтения и конвенции, разделяемые сообществом в данный момент. Это не дискредитирует никакие исследования; мы просто поднимаем вопросы о реальном и правильном в определенных традициях. При этом исследовательский и научный дискурсы открываются всем заинтересованным сообществам [3], но ни одному из них не гарантируется исключительное «право на оценку», из-за которого могут подавляться другие голоса.

В этом контексте я бы хотел обсудить три главные ориентации в отношении психологического исследования, поддерживаемые конструкционистской метатеорией. Эти ориентации можно различить согласно их оценочной установке. В частности, мы попытаемся сначала разделить логики этих признанных и только становящихся ориентаций, а затем изучить их потенциал. Поэтому мы используем двусторонний анализ, во-первых, рассматривая различные стратегии психологических исследований, исходя из противоположной – конструкционистской – точки зрения, и во-вторых, рефлексировав саму эту точку зрения. Первая из ориентаций, делающая акцент на денатурализации, рефлексии и демократизации, наиболее полно представлена в конструкционизме и наиболее критична в отношении существующей психологической науки. В то же самое время ее позитивная роль в психологии еще не нашла должного отражения. Вторая ориентация – ориентация на ревитализацию и обогащение – гораздо позитивнее воспринимает психологическое исследование. Хотя развита она слабее всего, ее разработка имеет ключевое значение для будущего дисциплины. Наконец, я хотел бы рассмотреть, какие усилия предпринимают конструкционисты, чтобы избавить компендиум ментальных предикатов от некоторых его проблематичных особенностей и реконструировать соответствующий дискурс в более обещающем ключе. Попытки социальной реконструкции все чаще предпринимаются в последние годы, но их внутренние тенденции и широкие следствия до сих пор не обсуждались. С помощью такого анализа мы можем прийти к более разнообразному пониманию отношений между психологическими и конструкционистскими практиками, оценить близость и взаимосвязь традиционного и конструкционистского подходов в психологии и показать необходимость большей скромности в отношении любых форм производства смысла.

ДЕНАТУРАЛИЗАЦИЯ, РЕФЛЕКСИЯ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ

Помимо угрозы уничтожения существует множество других причин отказа большинства психологов от участия в обсуждении социального устройства знания. Несомненно, одна из них – критическая позиция многих сегодняшних конструкционистов, стремящихся к ниспровержению авторитета психологической науки. Кроме того, в силу ограниченности форм аргументации, используемых, за редким исключением [49], эмпирическим крылом психологии, его представители не смогли ничего противопоставить обвинениям в свой адрес. Ни указания на открытия в методологии и статистике, ни обращение к «установленным фактам» – предпочитаемые в традиционной эмпиристской аргументации ходы – не признаются в качестве обоснованных возражений на конструкционистскую критику. Однако критика – это не «все», что есть в конструкционизме; выдвигаются самые разные аргументы. Для того чтобы оценить масштаб этих критических усилий, а также их возможности и недостатки, надо разделить их на несколько направлений, в основе которых лежат три отдельные, хотя и пересекающиеся, линии рассуждений: идеологическое разоблачение, риторическая деконструкция и социальный анализ.

В случае идеологического разоблачения конструкционистские критики указывают на социальные последствия психологических способов описания и объяснения человеческой деятельности. Профессиональные интерпретации, несущие на себе печать научного авторитета, рассеиваются в культуре, тем самым определяя поступки людей и влияя на социальную политику. Говоря словами Фуко [29], существует тесная связь между притязаниями на знание и культурной властью. Учитывая, что психологическая наука способна порождать многочисленные и противоречивые описания человеческой личности, выбор того или иного описания и объяснения ведет к определенным моральным и политическим последствиям. Именно в этом контексте профессиональная психология становится главной мишенью критики, усиливающейся вследствие ее обманчивых заявлений о своей ценностной нейтральности. Так, различные ученые-конструкционисты показали, что существующие психологические описания (и практики, которые они поддерживают) ведут к усилению правительственного контроля [71], разрушению демократических структур [24], поощрению нарциссизма [90], распространению индивидуалистской идеологии [30; 74], распаду сообществ [11; 74], разрастанию расизма [53], сохранению патриархального порядка [40; 46; 62], распространению западного колониализма [39] и т. д.

От этой формы критики заметно отличается литературная и риторическая деконструкция. Представляя собой смесь течений в континентальной семиотике, постструктуралистской литературной теории и риторических исследованиях, она в данном случае утверждает, что любые осмысленные пропозиции, касающиеся людей, включены в более широкую систему значений. Понятность пропозиции зависит от ее положения в этой системе, а не от ее референциальных отношений с нелингвистическими событиями (например, моя способность конструировать осмысленные высказывания о природе «любви» зависит в первую очередь от текстуальной истории, а не от наблюдений за «самим феноменом»). Исследователи риторики также вносят важный вклад в изучение текстуально заданного характера психологического дискурса, демонстрируя, как этот дискурс ограничивается или оформляется в соответствии со своей функцией в социальном взаимодействии. При этом утверждается, что описания и объяснения психической жизни зависят главным образом от требований, которым должен следовать оратор, чтобы быть понятным («убедительным») для определенной аудитории (например, язык, нужный для того, чтобы сделать «любовь» понятной ребенку, романтическому партнеру, священнику или аборигену из Новой Гвинеи, будет в каждом из этих случаев совершенно разным). Поэтому осмысленность часто выводится из различных риторических тропов, таких, как нарратив или метафора. Например, не взирая на «данные», при описании человеческого развития исследователь не может не подчиняться требованиям «правильного рассказывания истории».

В этом аргументативном контексте проблема профессиональной психологии видится не в ее дискурсивных предпочтениях *per se*¹, а в ее убеждении в объективной обоснованности этих предпочтений. Притязания на истинность, доказывают конструктористы, исключают конкурирующие голоса; дискурс объективности и политический тоталитаризм тесно связаны. Конструктористская критика тем самым разоблачает литературные и риторические стратегии, отвечающие за осязаемость (объективность, понятность, удачность) пропозиций, касающихся ментального мира. Одним из первых образцов такого разоблачения является работа Смедслунда [79], в которой он попытался показать, что большинство экспериментальных гипотез в психологии не фальсифицируемы, если фальсификации лингвистически не соответствуют им. Я также доказал, что любые пропозиции, связывающие психические предикаты с внешним миром (будь то стимул или реакция), цикличны; их осмысленность строится на имплицитных тавтологиях [36; 89]. Кроме того, некоторые исследователи обнаружили, что теории сознания не опираются на наблюдение (индуктивно), а

¹ Сами по себе, в чистом виде (лат.). — *Примеч. пер.*

диктуются господствующими метафорами [41; 80] и нарративными или повествовательными культурными конвенциями [38; 63]. Они изучили, как «факты» когнитивной дисфункции («иррациональности») создаются при помощи риторических тропов [58], как «Руководство по публикациям АПА» реализует имплицитные предположения относительно человеческой деятельности [9] и как подобные руководства ограничивают формы коммуникации и отношений как внутри психологии, так и между психологией и культурой [16].

Третья логика конструкционистской критики – социально-аналитическая – стимулируется существенными достижениями в социологии знания и истории науки. Разрабатывавших эти направления ученых, в частности, интересовало, как социальные процессы навязывают форму профессиональным предположениям о предмете изучения и методологии, особенно заключениям относительно природы мира [2; 56]. Для психологии наиболее важен тот аргумент, что исследователи определяют обосновывающие допущения, в рамках которых будет проводиться исследование, в ходе социальных переговоров. После того как в отношении обосновывающих допущений («парадигм») достигнут консенсус, любые интерпретации данных будут неизбежно подтверждать его; парадигмы не «проверяются» фактами, они определяют, что будет считаться фактом. Критический анализ, развивающий такой подход, разделяет обозначенную выше озабоченность необоснованными и тоталитарными претензиями научной психологии на окончательное и объективное толкование сознания. Разоблачение социальных процессов, ведущих к производству «научной истины», служит дополнительным средством проблематизации устоявшихся внутридисциплинарных границ. Традиционная вера в возможность получения истины посредством метода толкает субдисциплины к изоляции и замыканию на себе, т. е. к исключению себя из более широко-диалогического поля как в академической сфере, так и в обществе. Поэтому социальная критика служит катализатором взаимобмена.

Социальная критика в психологии на первых порах нашла поддержку в этнометодологических исследованиях социальных соглашений о фактичности (например, о суициде [32] и гендере [54]), а также в теории ярлыков девиации [82]. Позже исследователи начали изучение способов социального конструирования многих «психических процессов», включая когнитивные функции [19], гнев [5], эмоции [85], шизофрению [75], развитие ребенка [14], сексуальность [87], анорексию и булимию [43] и депрессию [93]. Эта линия критики была продолжена в исследованиях, попытавшихся обнаружить исторические и культурные контексты возникновения предположений о психологических явлениях. Ученых-историков начали интересовать социальные контексты появления, например, человеческих конструкций вони и аромата [18], психического развития [55], расстройства множественной

личности [45], скуки [81] и испытуемого в психологических экспериментах [22]. Культурные антропологи выявили культурную обусловленность различных концепций сознания [15; 52; 59]. Фактически с обнаружением связи между само собой разумеющимися представлениями о сознании и локальными обстоятельствами под вопросом оказываются также и связанные с ними допущения о существовании в науке «общего предмета», единой методологии и возможности универсальной генерализации.

Три рассмотренные линии критического исследования (часто совмещаемые) неизбежно ставят под угрозу традиционную эмпирическую психологию. Они подрывают как идею эмпирической обоснованности профессиональных заявлений об истине, так и мотивы традиционных исследований, а также притязания профессии на авторитет в культуре. Более того, критики часто сами давали повод для возникновения ощущения неотвратимости отказа от психологического исследования. Это хорошо видно по заголовкам книг, опубликованных под редакцией Паркера и его коллег – «Деконструируя социальную психологию» [23] и «Деконструируя психопатологию» [67]. Однако такое похоронное настроение безосновательно. Как говорилось выше, среди конструкционистских предпосылок нет ни одной, которая бы требовала исключения какой-либо формы дискурса. Несмотря на то, что конструкционистская критика часто кажется нигилистической, саму ее невозможно ни обосновать, ни легитимировать. Она тоже жертва своих критических аргументов; ее описания неизбежно выражают этические и идеологические предпочтения, заданные конвенциями письма и нацеленные на достижение риторического превосходства, а ее «объекты критики» сконструированы внутри и для определенного сообщества. Эти объекты такие же конструкции, как и традиционные объекты исследования, поэтому у ее моральных претензий нет трансцендентальных оснований.

Более того, даже в соответствии с конструкционистскими стандартами у эмпирического исследования могут быть мотивы. Одним из центральных тезисов конструкционистской метатеории является тезис о немиметичности языка, т. е. о том, что язык функционирует не как картина или карта независимого мира, скорее, он перформативен и конститутивен, и сообщества собеседников используют его в целях осуществления отношений, в том числе для локального утверждения реального и правильного. Как я показал в другой работе [35], такой подход не исключает эмпирическую науку; он просто отказывает ей в праве говорить об истине вне сообщества. Конструкционистские аргументы, например, не призывают к прекращению медицинских исследований. Конструкционист лишь фиксирует, что соответствующие онтологические категории, включая определения «болезни» и «лечения», надо рассматривать не как трансцендентально точные отраже-

ния действительности, а как продукты исторически и культурно ограниченного, идеологически обремененного обсуждения, исполняющего определенные социальные функции. Психологи также могут правильно применять категории психических процессов в эмпирическом исследовании, и это исследование может быть использовано для предсказаний, осуществляемых в других секторах культуры (например, предсказаний итогов голосования, приговоров присяжных или показателей самоубийств). Конструкционизм утверждает главным образом то, что не существует оснований для приложения эпитета «истинный» к языку, используемому в подобных практиках. С другой стороны, конструкционизм побуждает к обсуждению политических/этических посланий, которые передаются методами исследования [84].

Как мы видим, критический голос конструкциониста не должен рассматриваться как стремящийся к ликвидации чего-либо. Наоборот, обозначенные линии критических исследований служат полезным целям денатурализации и демократизации. Денатунализируя «объекты исследования», а также методологии, исследовательские отчеты, статистику и результирующие практики, конструкционистская критика в первую очередь призывает к подобающей скромности. Она умеряет самонадеянные претензии на безграничную всеобщность, истину вне культуры и истории и факт без интерпретации, породившие широкий культурный скепсис и вызвавшие пренебрежение у тех, кто не разделяет эти послышки. В то же время подобная критика постоянно приглашает психолога отбросить шоры одного-единственного объяснения и расширить диапазон интерпретативных возможностей, доступных в рамках профессии и культуры. Все, что кажется «просто очевидным», могло не стать таковым. Мы вскоре вернемся к этому вопросу.

В дополнение к преимуществам денатурализации эти формы критики поддерживают плюралистическую политику как внутри профессии, так и в отношениях между профессией и ее многочисленной аудиторией. Они «выравнивают игровое поле» психологии, например, давая гуманистам, феноменологам, феминисткам и спиритуалистам равное с бихевиористами и когнитивистами право на свои мотивы и результаты. Они также открывают психологию навстречу множеству иных культурных голосов. Если раньше психология была по большей части глуха к этическим и идеологическим опасениям в отношении своих концепций, методов и их социальных эффектов, то критическое исследование делает эти опасения составляющей профессионального форума. Такая плюрализация голосов особенно важна, поскольку допущения эмпирической психологии не позволяют ей выявлять собственные предпосылки. Наконец, попытки денатурализации и демократизации способствуют налаживанию диалогических отношений между профессией и ее аудиторией, а также форм взаимобмена, которые призваны сделать профессиональную работу не только более понятной, но и бо-

лее удобной для применения на благо общества. Фактически, если отбросить угрожающую риторику, мы обнаружим, что конструкционистская критика значительно усиливает позиции психологического исследования.

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ И ОБОГАЩЕНИЕ

Как я показал, в конструкционистской метатеории нет ничего, что неизбежно говорило бы против эмпирической работы в психологии. По этой же причине конструкционизм не запрещает использования терминов из лексикона психической жизни. В этом смысле те критики конструкционизма, которые обвиняют его в очернении и отрицании Я [48; 65] или независимости и уникальности [28] либо в предпочтении социального над материальным [60], ошибочно принимают метатеоретическую ориентацию за фундаментальную онтологию. Конструкционистская метатеория не отрицает и не признает существование подобных «сущностей» или «процессов». Вопрос состоит не в существовании предполагаемых референтов различных объяснительных или описательных категорий; конструкционизму чужды проблемы фундаментальной онтологии, он предпочитает им проблемы интерпретативного функционирования сообществ. Поэтому традиционные для психологии дискурсы познания, эмоций, мотивации, психического расстройства и т. п. не антагонистичны конструкционистской метатеории. Для конструкциониста это просто репрезентативные формы конструирования личности в рамках эволюционирующего профессионального сообщества, формы, которые имеют близкие и взаимозависимые отношения с общими модальностями дискурса в современной культуре [21].

Профессиональному психологу ментальные дискурсы приносят огромную коммуникативную пользу. Без общепринятых дискурсов такого рода не существовало бы ничего, чтобы можно было обоснованно назвать «профессией». Однако, легитимируя традицию, ценную своими составляющими, конструкционистская метатеория побуждает к ряду провокационных рассуждений, в том числе следующих: какие формы психологического дискурса следует предпочесть и для какой цели? Для кого и какого типа культурных проектов эти языки полезны? Становятся ли текущие идеи частью профессионального сообщества; могут ли подобные обозначения быть оскорбительными для своих реципиентов? Если профессиональный дискурс осваивается культурой, то какие политики, институты или индивидуальные действия при этом поддерживаются? Какие формы культурной жизни не замечаются или подавляются? И если учесть способность этих дискурсов участвовать в социальных трансформациях, то какие новые или возобновленные формы дискурса используются при этом?

В пространстве этих вопросов мы локализуем вторую ориентацию в отношении психологического исследования, строящуюся на конструкционистской точке зрения. Хотя обсуждение полезности сегодняшних практик имеет важное значение для конструкционизма, он также дает исследователю возможность дистанцироваться от само собой разумеющихся профессиональных онтологий. Стремление к единоклассию («унифицированной психологии») модулируется. В границах расширенной таким образом интерпретации ученый получает возможность изучать полутона становящегося понимания, формы потенциальной, но нереализованной артикуляции. Я здесь имею в виду не близорукую аккумуляцию «психотрепа», а скорее усердную и внимательную разработку психологического дискурса, связанную со специфическими культурными (моральными/политическими) последствиями. Если психологический язык используется людьми для осуществления культурной жизни, то новые формы языка ведут к альтернативному будущему. При этом альтернативные концепции психического могут поддерживать формы жизни, которые многим людям кажутся более обещающими, чем те, которые считаются сегодня очевидными и несомненными. В этом случае ученый отказывается от проблематичной функции описания «того, что есть», и начинает изобретать языки, говорящие о том, что может быть. Беспристрастное наблюдение открывает возможность того, что мы можем назвать поэтическим активизмом.

Хотя конструкционизм и освобождает от бремени существующих онтологий, путь к значению не может пролегать за пределами традиций некоторого сообщества. Дискурс, созданный вне текстуальных историй конкретной культуры, не только выпадал бы из коммуникации, но и не соответствовал бы ни одной практике. В такой ситуации культурная деятельность прекратилась бы. Поэтому многие дискурсы, выработанные в изолированных академических анклавах, в других областях дискредитируются как «жаргон». Отсюда следует, что конструирование новых значений должно опираться на существующие традиции, но не копировать их полностью. Здесь неплохо было бы обратиться к потенциалу дискурсивного обогащения, осуществляющегося за счет привлечения, во-первых, традиций родной культуры (историческая археология), и во-вторых, чужих традиций (культурный экзегезис).

Сначала отметим, что задача дискурсивного обогащения в качестве приоритета устанавливает сохранение различных психологических традиций, которые иначе были бы уничтожены доминирующими дискурсами. Например, гуманистическая традиция по большей части игнорировалась в базовых профессиональных текстах. Но при всей проблематичности ее дуализма и индивидуализма отказ от гуманистического языка намерений ставит под угрозу культурные институты, кото-

рыми мы дорожим (например, демократию, этику). Это же касается и феноменологической теории: несмотря на то, что она была фактически изгнана с появлением бихевиоризма, забвение языка субъективного опыта лишает культуру важного основания для оценки человеческой жизни. Реанимация этих языков – с одной стороны, гуманистического [72], и с другой стороны, феноменологического [68] – при обсуждении современных теоретических и культурных проблем представляет собой очень важное начинание. К значительному расширению ресурсов ведут также попытки психологов оживить герменевтическую традицию [27; 51], играющую центральную роль в понимании психологии как *Geisteswissenschaft*¹. Герменевтические размышления ценны тем, что противодействуют деперсонализации, обычной для традиционного эмпирического исследования.

Я считаю, что мы можем также привлекать наши традиции для того, чтобы расширять диапазон «оценочного дискурса». Профессиональная психология была настолько пленена инструменталистским этосом и его идеей решения проблем, что главным ее вкладом в культуру стал дискурс дефицита [35]. Массивный и постоянно увеличивающийся запас терминов, касающихся психических болезней, например, угрожает социальной идентичности. При использовании этого дискурса он начинает дискредитировать, разделять и дистанцировать. Вот почему необходимы дискурсы, предлагающие людям более ценные способы существования, способы конструирования себя и других, которые поддерживают ощущение здоровья и благополучия. Среди важных вкладов в этой области я бы выделил первые попытки реконструировать женскую психологию в более перспективном регистре [10; 42], предложенную Лифтоном концепцию многоликого Я как источника жизненной гибкости [57], конструкцию «потока» опыта, созданную Чиксентмихаем [20], и интерес к мудрости [94]. Несмотря на свои реалистические склонности, каждый из этих теоретиков основывается на немеханистических традициях, тем самым поддерживая и обогащая языки, которые наделяют людей особыми дарованиями, возможностями и силами.

Есть и другие работы, настроенные на позитивный регистр, которые более прямо опираются на конструкционистскую метатеорию. В них ученые не столько очерчивают специфическую модальность психологического существования, сколько расширяют возможности конструирования себя и других. Например, Эверил и Нанли [6] в своей обращенной к неакадемической читательской аудитории книге обсуждают возможность «эмоционально творческой» жизни, которая принимает во внимание социально обусловленный характер эмоциональных выражений. В своей работе «Конструируя жизненный путь» Губриум, Гольштейн и Бакхольдт [44] отказываются от традиционного представления об эпигенетических траекториях развития и исследуют

¹ Наука о духе (нем.). — Примеч. пер.

возможности совместного конструирования индивидуального будущего. Эта же ориентация на творческое использование конструирования сегодня характеризует большую область терапевтической теории и практики [4; 86; 91; 92].

Все это не более чем иллюстрации того, каким образом ученые могут использовать существующие культурные традиции для кристаллизации онтологий личности и способов понимания, которые более «действиеобразны», чем академические формализмы, и которые открыто указывают на возможности культурных трансформаций. Потенциал такого поэтического активизма еще не изучен. Духовные традиции, например, занимают очень важное место в культуре, но они были практически исключены из словаря психолога. Кроме того, диапазон «действиеобразного» словаря и нарратива может быть обогащен чужими традициями, имеющими незападную текстуальную историю. Мы начинаем постепенно осознавать потенциал индийских текстов о сознании [66], конфуцианской концепции Я [88] и метисских представлений о личности и психическом здоровье [70]. Процесс взаимоплодотворного сотрудничества находится еще в зачаточном состоянии, и конструкционистская перспектива может сыграть здесь важную роль.

Как мы видим, вторая поддерживаемая конструкционизмом ориентация в отношении психологического исследования делает акцент на воскрешении и обновлении психологических идей в целях расширения дискурсивных ресурсов культуры. Это означает такое обогащение психологии, которое может привести к позитивным преобразованиям в обществе. Однако здесь необходим рефлексивный поворот наподобие того, который мы предприняли, обнаружив границы конструкционистской критики. Три вопроса требуют особого внимания. Во-первых, настоящие предложения могут вызвать ощущение неискренности. Если конструкционизм отменяет любые основания или конечные гарантии в отношении пропозиций, касающихся личности, может заявить критик, то не окажутся ли все последующие попытки «описания и объяснения» — вроде тех, что представлены выше, — бессодержательными («пустыми словами») или, еще хуже, формами пропаганды? Почему психолог должен принимать их? И какая тогда разница между высказываниями психолога о «поток», «потенциале многоликости», «мудрости» и т. п. и утверждениями священника о Боге или духовной жизни? В ответ можно сказать, что у конструкционистского ученого нет никаких фундаментальных оснований, чтобы выступать «за» указанные способы понимания. Те или иные описания личности принимаются не потому, что они «истинны», а скорее потому, что как осмысленные интерпретации они предлагают значимые варианты деятельности. Теоретик, говоря о «психологических процессах», должен болезненно переживать потерю доверия или отвращение к себе, которыми сопровождается двуличность, не больше, чем если бы он выкрикнул «фол» во время бейсбольного матча или

обвинил своих соседей в насилии над детьми. Доверие и ощущение искренности рождаются в результате коммунального участия и не связаны ни с чем «истинным» или «реальным». В этом смысле психологическая теория не более и не менее истинна, чем спиритизм или физика. Культурные модели понимания пускают ростки в самой разной почве. Однако традиция психического описания ценна и значима, и во многом приоритетна для основных институтов Запада. Поэтому важность взвешенного, творческого и коммунального подхода к ее дальнейшей разработке сложно переоценить.

Вторая проблема связана с неясностью прагматических следствий из предлагаемых аргументов, точнее, с инструменталистской интерпретацией прагматизма. Как я показал, конструкционизм предлагает ученому рассматривать социальную полезность психологической теории и создавать концепции, преследующие конкретные социальные цели. Это может выглядеть как наделение теоретика ролью великого стратега, пытающегося дать обществу орудия конструирования себя в предпочитаемом теоретиком образе. Теоретик действует инструментально, добиваясь желаемых эффектов в социальном мире. Но хотя конструкционизм и связывает себя с прагматической традицией, ему не подходит инструменталистская концепция прагматики. Инструменталистский подход является во многом плодом индивидуализма, и в частности, допущения о том, что индивиды принимают решения рационально и автономно и стремятся к достижению личных целей. Однако конструкционизм не только отказывается от объективации личности как рационального агента, но и на основе своих концептуальных выводов строит такой взгляд на человеческое поведение, который прямо противоположен традиционному. Хотя мы вскоре рассмотрим этот взгляд, в данном контексте важно провести различие между конструкционистским и инструменталистским пониманием прагматики. Конструкционизм делает акцент на осмысленной деятельности, укорененной не в индивидуальных сознаниях, а в более обширных паттернах взаимодействия. Поэтому осмысленные действия всегда последовательны, т. е. устанавливают взаимозависимость между тем, что было, и тем, что будет. Благодаря конвенции действия поддерживают и/или подавляют то, что было, и одновременно способствуют появлению настоящего и росткам будущего. Именно потому, что эти «ростки» доступны для постоянного обсуждения, такое обсуждение является прагматическим в этом более относительном смысле [13].

Наконец, критик может констатировать наличие «трансформационистского предубеждения», лежащего в основе всех описанных выше предложений, т. е. извечного стремления к новому, расширенному и революционному, которое противопоставляется принятому, традиционному и спокойному. Безусловно, основной подтекст всего вышеизложенного именно таков. Однако это предубеждение следует рассмат-

ривать на фоне современного интеллектуального и культурного контекста. В той степени, в которой западная психология является потомком культурного модернизма [37], занявшего господствующее положение в культуре, – его посылки теперь лежат в основе большинства культурных институтов – психологии, которая просто поддерживает существующее положение дел, практически нечего предложить культуре. Она подобна голосу карлика в хоре гигантов. Конструкционизм не противопоставляется традиции; традиция важна для конструирования значения. Но если мы действительно хотим иметь профессию, которая играет заметную роль в прибавлении или расширении ресурсов культуры, то конструкционистские аргументы получают серьезную поддержку. В современную эпоху необходимо не копирование устоявшихся моделей понимания, а каталитическая концептуализация.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СОЗНАНИЯ

Мы переходим к третьей ориентации в психологическом теоретизировании, развиваемой в конструкционистских текстах, ориентации, которая опирается на изложенные выше аргументы. Как мы видели, традиционная психология подверглась критике во многом из-за своей имплицитной поддержки индивидуалистской идеологии и институтов. Критики доказывают, что, сводя человеческую деятельность к психологическим источникам, мы поддерживаем представление о людях как изначально изолированных, стремящихся к личной выгоде и самодостаточных. С традиционной точки зрения отношения являются искусственными продуктами автономно функционирующих индивидов; социальное вторично и производно от индивидуального. Критики показывают, что, проникая в культурную жизнь, подобные концепции натурализуют отчуждение, эгоцентризм и конфликт всех со всеми. К этой критике добавляется вторая из развитых выше логик, а именно, что главной целью исследования с конструкционистской точки зрения должно быть обогащение культурных ресурсов. В частности, разработка новых онтологий может помочь открыть альтернативные и, возможно, более перспективные направления культурной деятельности. В совокупности обе эти линии аргументации способствуют реконцептуализации индивида в неиндивидуалистических понятиях.

Эта реконцептуализация может принимать разные формы, например, экологическую, социально-структурную и социально-эволюционную. Однако социально-конструкционистская метатеория в первую очередь поддерживает социальное реконституирование индивида. Иными словами, во многих традициях, составляющих конструкционистское движение, предпочтение отдается социальному, а не индивидуальному. Значительное внимание уделяется, например, языку, диа-

логу, обсуждению, социальной прагматике, разговорному позиционированию, ритуалу, культурной практике и распределению власти. Как было показано ранее, конструкционистские теоретики не обязаны реализовывать конструкционистскую метатеорию в своих научных/исследовательских описаниях мира или людей. В этом отношении метатеория ничего не предписывает. Но поскольку конструкционистская метатеория подразумевает концепцию человеческой деятельности, альтернативную индивидуализированной, это является хорошей причиной для того, чтобы изучить ее потенциал в развитии более социальных или относительных описаний личности. То есть третья конструкционистская ориентация в отношении психологического мира должна реконституировать последний как область социального.

Конечно, концептуализации индивида как социального актора уже давно и прочно утвердились в интеллектуальном ландшафте [17]. Современные конструкционистские попытки следует рассматривать как продолжение этой традиции. В то же время между нынешними теоретиками существуют серьезные разногласия в отношении центральных конструкционистских положений. Для аналитических целей полезно было бы рассмотреть континуум концептуализаций, на одном полюсе которого находятся те из них, которые близки к традиционному индивидуализму и родственной ему эмпиристской метафизике, а на другом – те из них, которые ближе к конструкционистским текстам и имплицитному для них постулату первичности отношений. Сначала рассмотрим более консервативный полюс. Концептуализации социального, характеризующиеся соблюдением существующих традиций, 1) делают сильный акцент на специфических психологических состояниях или процессах, 2) предполагают реальность предмета своего изучения (независимо от культурных предпосылок), 3) используют или пытаются отыскать основания для дальнейшего исследования и понимания, 4) трактуют язык анализа как корреспондентный природе, а сопутствующую роль ученого/исследователя – как роль культурного информатора, 5) представляют научные/исследовательские усилия как политически/идеологически нейтральные. В целях сравнения и оценки рассмотрим сначала социальные реконцептуализации, придерживающиеся этих традиционных тенденций.

Индивиды как носители культуры

Оппозиция нативизма – энвайронментализма, вокруг которой вращалось большинство дебатов в психологии в XX в., составляет контекст одной из наиболее важных попыток социального реконституирования Я. То, что люди испытывают влияние своего культурного окружения, стало уже почти теоретическим трюизмом в психологии. Эта идея получила наибольшее распространение в период гегемонии бихе-

виоризма, но даже нативистски ориентированные когнитивисты не смогли не стать – под угрозой сесты на мель солипсизма – на этот концептуальный «якорь». Однако тот способ, которым социальные реконструкции индивида расширили эту традицию, привел к драматическому разрыву как с бихевиористскими, так и с когнитивистскими формулировками. В обоих случаях доминирует сильная презумпция того, что индивид наделен определенными психологическими структурами или процессами. В бихевиоризме среда стимулирует или определяет внутренние состояния; в когнитивизме внешние обстоятельства предоставляют сырой материал для когнитивного усвоения. Ни в том, ни в другом случае психический фундамент не создается, не исчезает и не меняется. Именно этим трактовкам оппозируют современные попытки социального реконституирования. Они исходят из того, что не самодостаточный индивид предшествует культуре, а культура определяет базовый характер психологических функций.

Этот круг попыток опирается не только на энвайронменталистскую традицию, но и в большинстве случаев на прошлые психологические теории. Например, Брунер в своей знаменитой работе «Акты смысла» обращается к Выготскому, Бартлету, Миду и ряду других значимых психологических фигур в доказательство того, что «культура, а не биология, придает форму человеческой жизни и человеческому сознанию, а также значение – деятельности, помещая стоящие за ней интенциональные состояния в интерпретативную систему» [15, 34]. Джеймс Ги, наоборот, привлекает множество лингвистических и когнитивных идей в поддержку того, что «индивид интерпретирует опыт посредством „обыденных теорий“, которые в совокупности с нелингвистическими модулями сознания побуждают человека говорить и действовать определенным образом» [33, 104]. Сходные попытки «социализации» Я отталкиваются от Джорджа Келли [64], Фрейда [31] и теории объектных отношений [61].

В качестве иллюстрации рассмотрим подробное описание индивида как носителя культуры, данное Харре и Жиллетом [47]. Специально заявляя об отказе от дуализма, гипотетико-дедуктивной программы и лабораторного экспериментирования, книга быстро переходит к обсуждению природы психологических состояний и условий. Понятия, узнаем мы, являются «основой мышления и выражаются при помощи слов» [47, 21]. Кроме того, «мы должны научиться рассматривать сознание как точку пересечения множества структурирующих влияний» [47, 22]. Затем авторы предпринимают описание процессов мышления, «когнитивных систем, которые способны справиться со сложностью и разнообразием переживаний реального мира» [47, 79], и индивида как агента собственных действий, опыта и восприятия. Реальность этих процессов не ставится под вопрос, как и то, что они имеют дело с «миром, как он действительно дан... а не каким бы его желали видеть»

[47, 49]. Дальше целая глава («Дискурс и мозг») посвящена соотношению психических процессов и нейронных сетей. Обсуждение функций мозга служит еще одним средством определения места анализа в «установленном знании», т. е. его оправдания. Заявляемая цель этой книги – обоснование «второй когнитивной революции». То, что предлагаемый анализ пытается осветить истину человеческого существования, является предположением, которое никогда не подвергается рефлексивному рассмотрению. Авторы на протяжении всей работы позиционируют свой дискурс как носитель истины, причем читатели ставятся в позицию непросвещенной аудитории. Книга вообще не рассматривается как идеологически нагруженная. Ее основная цель – дать читателю сведения о природе человеческих действий и «доступно изложить основоположения и некоторые исследовательские результаты дискурсивной психологии» [47, viii].

Все указанные попытки концептуализации индивидуального процесса как производной процесса социального представляют собой важный шаг в сторону видоизмененной психологической концепции личности. И хотя многие конструкционисты считают эту объяснительную ориентацию все еще слишком консервативной, резонанс с предшествующей традицией может оказаться ее наиболее существенным риторическим преимуществом. Это новые, но не радикально разрушительные взгляды; они вступают в диалог с существующими способами понимания и навыками, а не подрывают их; они сотрудничают, а не осуждают. Нужно ли тогда искать альтернативы метафоре индивида как носителя культуры? Многие ответили бы утвердительно. По причине своей близости существующим традициям эти ориентации подвергаются риску полного поглощения ими. Они слишком легко становятся кандидатами на эмпирическую оценку, имплицитно восстанавливающую дуалистическую метафизику, которая должна в конце концов привести к отказу от самих этих концепций, поскольку метафизика эмпирического оценивания предполагает, что есть ученый, который может претендовать на истину вне культуры, постижение вне «обыденной психологии» и универсальность вне истории. Когда теории сознания как культурного носителя становятся кандидатами на истину, они в конечном итоге обязательно фальсифицируются.

Это не единственная причина расширения границы понимания за рамки представления о личности как носителе культуры. Подобные представления оставляют нерешенными многие проблемы концептуального плана. Главнейший вопрос – вопрос о том, как индивид усваивает культурные смыслы, – остается теоретически неразработанным. Как я уже показал в другом тексте [35], эта проблема неразрешима в принципе. Если психический процесс отражает социальный процесс, то приобретение социального должно происходить без вмешательства психического. Если же психический процесс необходим для понима-

ния социального, то психическое должно предшествовать социальному. Социальный подход к индивиду разваливается. Кроме того, многие конструкционисты находят такие описания недостаточно рефлексивными, не только из-за иерархий, вытекающих из их притязаний на авторитет, но и в силу их нечувствительности к этическим и политическим последствиям своей работы. Поэтому нужны альтернативные модели пересмотра личности.

Индивиды как погруженные в культуру

Второе, менее крупное семейство социальных реконституционалистов не так явно связано с традиционными психологическими допущениями. Фокус внимания перемещается в этом случае с экспозиции психологических процессов на характеристику Я в текущих отношениях, с внутренних составляющих культурного опыта к действующему социальному процессу, от которого неотделимо индивидуальное функционирование. В подобных описаниях оппозиция «я – другой» (индивид/культура) фактически уничтожается. На взгляд теоретиков этого потока, традиционная психология предлагает слишком мало концептуальных ресурсов (за исключением отдельных идей Гарри Стака Салливана и Выготского), поэтому надо обратиться к другим традициям. Например, Эдвард Сэмпсон опирается во многом на Витгенштейна [1] и Бахтина [7; 8], доказывая, что «любое значение, включая значение своего Я, укоренено в социальном процессе и должно быть рассмотрено как его текущее сопровождение. Ни значение, ни Я не являются предварительным условием социального взаимодействия, скорее, они возникают и поддерживаются в разговорах, происходящих между людьми» [73, 99]. Развивая свой «риторически ответный» подход к человеческой деятельности, Джон Шоттер [76] расширяет диапазон релевантных идей, включая в него идеи Вико, Волошинова и Гарфинкеля. Шоттер интересуется тем, как «ответные значения всегда сначала „ощущаются“ или „чувствуются“ внутри диалога... и подвергаются дальнейшему ответному (ощущаемому) разворачиванию» [76, 180].

В этом контексте Херманс и Кемпен [50] в своей книге «Диалогическое Я: значение как движение» предложили анализ, прямо противоположный анализу Харре и Жиллета. Экстенсивные описания психических процессов у последних можно сопоставить с анализом сознания *sotto voce*¹ у Херманса и Кемпена. Например, для этих авторов эмоции являются «риторическими действиями», а самопроизвольность – продуктом участия в диалогическом отношении. Такое более

¹ Вполголоса, приглушенно, про себя (итал.). — *Примеч. пер.*

умеренное описание психических процессов является подходящей парой для молчаливого реализма. Авторы также чувствительны к функции метафоры в своей теоретической работе [50, 8–10], признавая, что их способ обсуждения психических процессов основывается на метафоре нарратива (глава 2). Избегая поисков оснований, они полагают, что «главная цель данной работы – взять два близких понятия, диалог и Я, и объединить их таким образом, чтобы в результате появился более широкий взгляд на возможности сознания» [50, xx]. И хотя в их анализе порой встречаются данные, использование этих данных не ставит перед собой цели завершения дискуссии. Наоборот, «мы хотим представить некоторые эмпирические разработки, которые послужат иллюстрацией наших более крупных теоретических и концептуальных размышлений» [50, xx].

Херманс и Кемпен не артикулируют социальные/политические следствия своего исследования; их гораздо больше интересует вклад работы в академическое сообщество, нежели в общий этос политики. Более показательна в этом плане социальная чувствительность Сэмпсона [73] и Шоттера [77]. Анализ Сэмпсона посвящен «воспеванию другого», а также способности этой формулировки подрывать власть и прекращать угнетение. Шоттера же интересуют политические стороны повседневного взаимодействия и возможность посредством психологии давать маргинальным голосам более широкое пространство выражения.

Относительное конституирование Я

Несмотря на то, что первая ориентация значительно отличается от традиционного психологического способа теоретизирования, а вторая достаточно близка конструкционистской метатеории, существует еще и третья ориентация, более радикальная, чем представление о социальной погруженности индивида. Как было обозначено, конструкционистская метатеория сводит онтологические положения к языку, а язык – к процессам отношения. Следовательно, все, что можно сказать о психических процессах, выводится из относительных процессов. Если доводить этот взгляд до предела, то это означает возможность разработки такого теоретического способа понимания, в котором ментальные предикаты функционируют нереференциально, а основной точкой опоры при объяснении служат социальные процессы. То есть мы можем представить исключение психологических состояний в качестве объяснений деятельности и реконституирование психологических предикатов в сфере социальных процессов. Эта возможность особенно бросается в глаза в свете обсужденных выше видов исторических и культурных исследований концепций психического. Принимая историчес-

кую и культурную относительность психологического дискурса, утверждаемую в этих работах, мы перестаем строить современные формулировки на специфической презумпции психологического функционирования. Грубо говоря, мы отказываемся реконструировать индивида как социальное существо на манер предшествующих описаний, поскольку они пытаются найти себе основание в универсальных или транскультурных онтологиях сознания.

Возможность депсихологизированного описания человеческой деятельности дает современный дискурсный анализ. Многие аналитики дискурса в своих работах обходятся без предположения об онтологии дискурсивных конвенций, включая онтологию сознания. В своей замечательной книге «Дискурс и социальная психология» [69] Поттер и Уэверел, например, лишают понятие «аттитюд» психических референтов и используют его для обозначения позиционных высказываний в социальном взаимодействии. Эссе Биллига [12], посвященное памяти, фокусируется на том, как люди договариваются о прошлом, в отличие от традиционного акцента на внутренних процессах памяти. Как говорит Шоттер, память – это «социальный институт» [78]. «Дискурсивная психология» Эдвардса и Поттера [26] представляет собой важную попытку замещения когнитивных процессов дискурсивными при объяснении человеческого взаимодействия. Осуществленное Стеннером и Эклстоном [83] описание «текстуализации бытия» также резонирует с этой линией аргументации.

Возможно, наиболее полной в этом отношении была предпринятая мной попытка сочетания данной формы теоретизирования и конструкционистской метатеории [35]. Хотя я во многом опирался на предшествующие работы, в данном случае была попытка сделать основной акцент на относительном паттерне в целом. Поэтому при фокальном интересе к дискурсу целью было теоретизировать более сложно устроенные паттерны относительного исполнения (включающие как телесную активность участников, так и различные объекты, утварь и физические условия, необходимые для того, чтобы сделать акты исполнения понятными). Хотя при этом дискурс часто является главным предметом анализа, устный или письменный язык не исчерпывает весь спектр интересов. Кроме того, при таком описании психологические термины используются не только в процессе личностного атрибутирования (как констатив), но и часто оказываются центральными элементами самого акта исполнения (как перформатив).

Чтобы пояснить, рассмотрим случай эмоций. Эмоциональные категории (например, гнев, любовь, депрессия) могут служить ключевыми элементами разговора, а значит, атрибуция эмоций себе и другим имеет исключительное значение для социального взаимодействия. Однако я пришел к выводу, что удобнее рассматривать способы эмоционального исполнения более холистично [35, 210–235]. В этом слу-

чае лингвистические выражения осмысляются как возможные, но не сущностные компоненты действий, которые могут требовать определенных паттернов жеста, взгляда, положения тела (и, возможно, физических артефактов или обстановки), чтобы стать понятными. Здесь я многим обязан работе Эверила [5] об актах эмоционального исполнения. Однако моей целью были выход за границы индивидуального акта исполнения и рассмотрение паттернов взаимодействия, в которые включено исполнение и без которых оно оказалось бы культурным нонсенсом. Поэтому было введено понятие «относительный сценарий», которое обозначает повторяющиеся паттерны взаимодействия (живые нарративы), интегральной частью которых являются «акты психологического исполнения». Так, например, исполнение гнева (в которое входят дискурс, выражение лица, телесная позиция) обычно включено в сценарий, в котором необходимым элементом приобретения выражением значения может быть предшествующее оскорбление; исполнение гнева также создает почву для последующего извинения или защиты; в случае, если приносятся извинения, предпочтительной реакцией на них в рамках западного сценария будет прощение. На этом сценарий может быть завершен. Все действия, образующие последовательность, начиная с оскорбления и заканчивая прощением, нуждаются друг в друге для обретения легитимности. Такой анализ также применим к другим формам психологического исполнения (см., например, мою работу «Разум, текст и общество: Я-память в социальном контексте» [34], где дается относительное описание памяти).

В отличие от большей части дискурсного анализа (и разговорного анализа) подобное описание не требует обязательного привлечения данных. Перед ним не стоит цель отыскать истину; вместо достижения объективности задачей исследования становится обретение понятности. Это не исключает того, что я позиционирую читателя как «незнающего», но при этом мое описание становится уязвимым в качестве «знающего». Фактически интерпретация не может стать понятной без согласия читателя. Кроме того, дискурсивный анализ по большей части ограничивается актом репрезентации; как и в традиционном исследовании, определение вытекающих из него практических следствий (если они есть) остается за читателем. Я же в соответствии с конструкционистской метатеорией и ее акцентом на практической ценности языка попытался выйти за рамки печатного текста, чтобы обнаружить или разработать релевантные культурные практики. Например, если определенный эмоциональный сценарий наносит вред его участникам, то как они могут осмысленно изменить знакомый образ действия? То есть я постарался повысить практическую ценность теоретического дискурса для паттернов повседневной жизни [86]. И если подавляющая часть (но не все) дискурсивных исследований политически нейтральна, то предложенное описание открыто противопоставляется индивидуалистской идеологии и связанным с ней практикам.

Хотя эти попытки относительного реконституирования Я более радикальны, чем предшествующие альтернативы, в конце концов мы должны также выявить и их ограничения. С одной стороны, многие ученые находят их излишне отвлеченными, что мешает переносу их в более привычные (и профессионально принятые) формы деятельности. С другой стороны, социологически ориентированные исследователи считают, что эти описания чересчур микросоциальны. На самом деле можно было бы переписать «сознание» как коллективный феномен, показав, что разум, память и т. п. распространены в определенных организациях или культурах [25]. Третьим эта ориентация покажется слишком элитарной. Предлагаемый анализ понятен только академически привилегированным индивидам. Наконец, акцент на отношениях рассматривается как угроза значимым ценностям индивидуалистской традиции (например, демократии, гуманизму, равенству). При этом недостаточно внимания было уделено позитивному характеру традиции, которая тем самым подвергается опасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как мы обнаружили, социальный конструкционизм, несколько не исключая психологического исследования, играет генеративную роль, расширяя и обогащая потенциал последнего. Конструкционистское стремление к денатурализации и рефлексии не только помогает ученому увидеть, какой вклад его работа может внести в моральное и политическое устройство культуры, но и открывает профессиональное поле навстречу более широкому диапазону способов понимания. Особенно важными оказываются формы диалога, которые связывают дисциплину с ее культурным окружением, при этом так обоудно трансформируя способы понимания, что психология начинает играть более значимую роль в обществе. Конструкционистские идеи также приглашают ученого раскрыть возможности оживления и обогащения компендиума понятий ментального дискурса. Обращая особое внимание на моральный и политический контекст, ученый включается в такие практики теоретической поэтики, которые ставят культуру перед лицом новых, забытых или вытесненных способов понимания, а значит, новых альтернатив действия. Наконец, мы увидели, каким образом конструкционистские идеи могут стимулировать разработку социальных альтернатив традиционной концепции самодостаточного индивида. Во многом такие пересмотры личности должны стать ресурсами социального изменения. Антагонизм между конструкционизмом и психологическим исследованием не неизбежен. Наоборот, благодаря конструкционистской метатеории у нас есть все основания верить, что психология способна играть более значимую роль в обществе, чем это было до сих пор.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Витгенштейн Л.* Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы / Пер. с нем. М. С. Козловой и Ю. А. Асеевой: В 2 т. Т. 1. М., 1994.
2. *Кун Т.* Структура научных революций / Пер. с англ. И. З. Налетова. М., 1975.
3. *Фейерабенд П.* Наука в свободном обществе / Пер. с англ. А. Л. Никифорова // Фейерабенд П. Избр. труды по методологии науки / Под ред. И. С. Нарского. М., 1986.
4. *Anderson H.* Conversation, language and possibilities: a postmodern approach to psychotherapy. New York, 1996.
5. *Averill J. R.* Anger and aggression: an essay on emotion. New York, 1982.
6. *Averill J. R., Nunley E. P.* Voyages of the heart: living an emotionally creative life. New York, 1992.
7. *Bakhtin M. M.* Speech genres and other late essays. Austin, 1986.
8. *Bakhtin M. M.* The dialogic imagination. Austin, 1981.
9. *Bazerman C.* Shaping written knowledge: the genre and activity of the experimental article in science. Madison, 1988.
10. *Belenky M. F. et al.* Women's ways of knowing: the development of self, voice and mind. New York, 1986.
11. *Bellah R. N. et al.* Habits of the heart: individualism and commitment in american life. Berkeley, 1985.
12. *Billig M.* Collective memory, ideology and the British royal family // Collective remembering / Ed. by D. Middleton and D. Edwards. London, 1990.
13. *Botschner J.* Social constructionism and the pragmatic entente: a reply to Osbeck // Theory and psychology. 1995. Vol. 5. № 1.
14. *Bradley B. S.* Visions of infancy: a critical introduction to child psychology. Cambridge, 1989.
15. *Bruner J.* Acts of meaning: four lectures on mind and culture. Cambridge, 1990.
16. *Budge G. S., Katz B.* Constructing psychological knowledge: reflections on science, scientists and epistemology in the «APA publication manual» // Theory and psychology. 1995. Vol. 5. № 2.
17. *Burkitt I.* Social selves: theories of the social formation of personality. London, 1991.
18. *Corbin A.* The foul and the fragrant: odor and the French social imagination / Transl. by M. L. Kochan. Cambridge, 1986.
19. *Coulter J.* Rethinking cognitive theory. New York, 1983.
20. *Csikszentmihalyi M.* Flow: the psychology of optimal experience. New York, 1990.
21. *Cushman P.* Constructing the self, constructing America: a cultural history of psychotherapy. Reading, 1995.
22. *Danziger K.* Constructing the subject: historical origins of psychological research. Cambridge, 1990.
23. Deconstructing social psychology / Ed. by I. Parker and J. Shotter. London, 1990.
24. *Deese J.* American freedom and the social sciences. New York, 1984.
25. *Douglas M.* How institutions think. Syracuse, 1986.
26. *Edwards D., Potter J.* Discursive psychology. London, 1992.
27. Entering the circle: hermeneutic inquiry in psychology / Ed. by R. B. Addison and J. J. Packer. Albany, 1989.
28. *Fisher H.* Whose right is it to define the self? // Theory and psychology. 1995. Vol. 5. № 3.

29. *Foucault M.* Power/knowledge: selected interviews and other writings, 1972–1977. New York, 1980.
30. *Fowers B. J., Richardson F. C.* Individualism, family ideology and family therapy // *Theory and psychology*. 1996. Vol. 6. № 1.
31. *Freeman M.* Rewriting the self: history, memory, narrative. New York, 1993.
32. *Garfinkel H.* Studies in ethnomethodology. Englewood Cliffs, 1967.
33. *Gee J. P.* The social mind: language, ideology and social practice. New York, 1992.
34. *Gergen K. J.* Mind, text and society: self-memory in social context // *The remembering self: construction and accuracy in the self-narrative* / Ed. by U. Neisser and R. Fivush. New York, 1994.
35. *Gergen K. J.* Realities and relationships: soundings in social construction. Cambridge, 1994.
36. *Gergen K. J.* The language of psychological understanding // *The analysis of psychological theory* / Ed. by H. H. Stam, T. B. Rogers, K. J. Gergen. New York, 1987.
37. *Gergen K. J.* The saturated self: dilemmas of identity in contemporary life. New York, 1991.
38. *Gergen K. J., Gergen M. M.* Narrative form and the construction of psychological science // *Narrative psychology: the storied nature of human conduct* / Ed. by T. Sarbin. New York, 1986.
39. *Gergen K. J., Gulerce A., Lock A., Misra G.* Psychological science in cultural context // *American psychologist*. 1996. Vol. 51. № 5.
40. *Gergen M. M.* Toward a feminist metatheory and methodology in the social sciences // *Feminist thought and the structure of knowledge* / Ed. by M. M. Gergen. New York, 1988.
41. *Gigerenzer G.* From tools to theories: discovery in cognitive psychology // *Historical dimensions of psychological discourse* / Ed. by C. Graumann and K. Gergen. New York, 1996.
42. *Gilligan C.* In a different voice: psychological theory and women's development. Cambridge, 1982.
43. *Gordon R. A.* Anorexia and bulimia: anatomy of a social epidemic. Cambridge, 1990.
44. *Gubrium J. F., Holstein J. A., Buckholdt D. R.* Constructing the life course. Dix Hills, 1994.
45. *Hacking I.* Rewriting the soul: multiple personality and the sciences of memory. Princeton, 1995.
46. *Hare-Mustin R., Marecek J.* The meaning of difference: gender theory, postmodernism and psychology // *American psychologist*. 1988. Vol. 43. № 6.
47. *Harre R., Gillett G.* The discursive mind. Thousand Oaks, 1994.
48. *Harre R., Krausz M.* Varieties of relativism. Oxford, 1996.
49. *Held B.* Back to reality: a critique of postmodern theory in psychotherapy. New York, 1995.
50. *Hermans J. J. M., Kempen H. J. G.* The dialogical self: meaning as movement. San Diego, 1993.
51. *Hermeneutics and psychological theory: interpretive perspectives on personality, psychotherapy and psychopathology* / Ed. by S. B. Messer, L. A. Sass, R. L. Woolfolk. New Brunswick, 1988.
52. *Indigenous psychologies: the anthropology of the self* / Ed. by P. Heelas and A. Lock. London, 1981.
53. *Jones J. M.* The politics of personality: being black in America // *Black psychology* / Ed. by R. L. Jones. Berkeley, 1991.
54. *Kessler S. J., McKenna W.* Gender: an ethnomethodological approach. New York, 1978.
55. *Kirschner S. R.* The religious and romantic origins of psychoanalysis. New York, 1996.

56. *Latour B., Woolgar S.* Laboratory life: the social construction of scientific fact. Beverly Hills, 1979.
57. *Lifton R. J.* The protean self: human resilience in an age of fragmentation. New York, 1993.
58. *Lopes L.* The rhetoric of irrationality // Theory and psychology. 1991. Vol. 1. № 1.
59. *Lutz C. A.* Unnatural emotions: everyday sentiments on a Micronesian atoll and their challenge to western theory. Chicago, 1988.
60. *Michael M.* Constructing identities: the social, the non-human and change. London, 1996.
61. *Mitchell S. A.* Hope and dread in psychoanalysis. New York, 1993.
62. *Morawski J. G.* Practicing feminisms, reconstructing psychology: notes on a liminal science. Ann Arbor, 1994.
63. Narrative psychology: the storied nature of human conduct / Ed. by T. R. Sarbin. New York, 1986.
64. *Neimeyer G. J., Neimeyer R. A.* Relational trajectories: a personal construct contribution // Journal of social and personal relationships. 1985. Vol. 2. № 3.
65. *Osbeck L.* Social constructionism and the pragmatic standard // Theory and psychology. 1993. Vol. 3. № 3.
66. *Paranjpe A.* Theoretical psychology: meeting of East and West. New York, 1984.
67. *Parker I. et al.* Deconstructing psychopathology. London, 1995.
68. *Polkinghorne D. E.* Narrative knowing and the human sciences. Albany, 1988.
69. *Potter J., Weatherell M.* Discourse and social psychology: beyond attitudes and behavior. London, 1987.
70. *Ramirez M.* Psychology of the Americas: mestizo perspectives on personality and mental health. Elmsford, 1983.
71. *Rose N.* Governing the soul: the shaping of the private self. London, 1990.
72. *Rychlak J. F.* The psychology of rigorous humanism. New York, 1988.
73. *Sampson E. E.* Celebrating the other: a dialogic account of human nature. Boulder, 1993.
74. *Sampson E. E.* Psychology and the American ideal // Journal of personality and social psychology. 1977. Vol. 35. № 11.
75. *Sarbin T. R., Mancuso J. C.* Schizophrenia: medical diagnosis or moral verdict? Elmsford, 1980.
76. *Shotter J.* Conversational realities: constructing life through language. London, 1993.
77. *Shotter J.* Cultural politics of everyday life: social constructionism, rhetoric and knowing of the third kind. Toronto, 1993.
78. *Shotter J.* The social construction of remembering and forgetting // Collective remembering / Ed. by D. Middleton and D. Edwards. London, 1990.
79. *Smedslund J.* Bandura's theory of self-efficacy: set of commonsense theorems // Scandinavian journal of psychology. 1978. Vol. 19. № 1.
80. *Soyland A. J.* Psychology as metaphor. London, 1994.
81. *Spacks P. M.* Boredom: the literary history of a state of mind. Chicago, 1995.
82. *Spector M., Kitsuse J. I.* Constructing social problems. Menlo Park, 1977.
83. *Stenner P., Eccleston C.* On the textuality of being // Theory and psychology. 1944. Vol. 4. № 1.
84. The rise of experimentation in American psychology / Ed. by J. G. Morawski. New Haven, 1988.
85. The social construction of emotion / Ed. by R. Harre. Oxford, 1986.
86. Therapy as social construction / Ed. by S. McNamee and K. J. Gergen. London, 1991.
87. *Tiefer L.* Social constructionism and the study of human sexuality // Forms of

desire: sexual orientation and the social constructionist controversy / Ed. by E. Stein. New York, 1992.

88. *Tu W.* Selfhood and otherness in Confucian thought // Culture and self: asian and western perspectives / Ed. by A. J. Marsella, G. Devos, F. L. K. Hsu. New York, 1985.

89. *Wallach M. A., Wallach L.* Gergen versus the mainstream: are hypotheses in social psychology subject to empirical test? // Journal of personality and social psychology. 1994. Vol. 67. № 2.

90. *Wallach M. A., Wallach L.* Psychology's sanction for selfishness: the error of egoism in theory and therapy. San Francisco, 1983.

91. *Weingarten K.* The discourses of intimacy: adding a social constructionist and feminist view // Family process. 1991. Vol. 30. № 3.

92. *White M., Epston D.* Narrative means to therapeutic ends. New York, 1990.

93. *Wiener M., Marcus D.* A sociocultural construction of «depression» // Constructing the social / Ed. by T. Sarbin and J. Kitsuse. London, 1994.

94. Wisdom: its nature, origin, and development / Ed. by R. J. Sternberg. New York, 1990.

К КУЛЬТУРНО- КОНСТРУКЦИОНИСТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ¹

Внимание к культуре не ново для психологии. Оно проявлялось в самых первых размышлениях о характере психологической науки. Публикация «*Volkerpsychologie*²» Вильгельма Вундта [52] показывает, что интерес к чужому – к психологии тех, кто «не похож на нас», – в начале XX в. уже существовал. Но по мере углубления романа между психологией и естественными науками (*Naturwissenschaft*³) в первые десятилетия XX в. и разочарования в возможности построения психологии на основе изучения человеческого смысла (*Geisteswissenschaft*⁴) интерес к культурному контексту и разнообразию начал спадать. Особенно эта тенденция укрепилась с установлением гегемонии логико-эмпиристской метатеории и бихевиористского подхода, в результате чего психологию начала все больше вдохновлять возможность нахождения общих законов или принципов – транскультурных и трансисторических. Этот оптимизм выразил психолог Джон В. Уильямс: «Я убежден, что [если бы] современная психология появилась, скажем, в Индии, то и там психологи обнаружили бы большинство из тех принципов, которые были открыты на Западе» [51, 102]. Культурные условия в этот период практически полностью игнорировались.

Тем не менее универалистская ориентация эмпирицистской психологии дала жизнь особой форме базирующихся на культуре исследований: так называемой *кросскультурной психологии*. Интерес к культуре в этом случае подчинялся прежде всего доминирующей цели обнаружения общих принципов поведения. Значительная доля этих исследований состояла в попытке 1) продемонстрировать кросскультурную универсальность различных психологических процессов или 2) продемонстрировать культурную вариативность некоторых базовых или универсальных психологических процессов. Первый пункт иллюстрируют знаменитые исследования Экмана и его коллег [10; 12] по универсалиям эмоциональных выражений. Пример второго – работы Берри [24], Китаеми и Маркуса [29], Триандиса [49; 50] и многих других, в которых вычисляются вариации универсальных измерений (например, индивидуальности/коллективности) в различных куль-

¹ В соавторстве с Мэри М. Джерджен. — *Примеч. пер.*

² Психология народов (нем.). — *Примеч. пер.*

³ Наука о природе (нем.). — *Примеч. пер.*

⁴ Наука о духе (нем.). — *Примеч. пер.*

турных группах. Кросскультурное предприятие и сегодня занимает сильные позиции в качестве «универсалистской психологии... применимой и значимой как в Омахе и Осаке, так и в Риме и Ботсване» [32, 22].

Но в последние годы, возможно, благодаря распространению глобального мировоззрения и мультикультурного мышления, о себе заявило более яркое направление в изучении сферы культуры – движение *культурной психологии*. Оно еще не приобрело парадигмальной связности, но его ключевая драма связана с повышением статуса культурного влияния по сравнению с психологическими процессами. Если кросскультурная психология в целом предполагала наличие универсальных психологических процессов, рассматривая культуру не более как место производства их вариаций, то в культурной психологии культура выступает местом рождения психологических процессов. Универсальное в психологии заменяется локальным. Так, например, Брунер считает, что «научная психология... займет более эффективное положение в культуре скорее всего тогда, когда она поймет, что обыденная психология простых людей – это не набор самоуспокоительных иллюзий, а совокупность культурных верований и рабочих гипотез относительно того, что делает возможным и осуществимым совместное проживание людей... Именно отсюда начинается психология, которая неотделима от антропологии» [4, 32].

С Брунером солидарны многие культурные антропологи, которые, подобно Ричарду Шведеру, полагают, что сознание «невозможно отделить от исторически изменчивых и культурно разнообразных интенциональных миров, соконститутивной частью которых оно является» [45, 13]. Поэтому многие культурные психологи избирают работы Льва Выготского в качестве отправной точки. Выготский считает, что каждый процесс в развитии высших психических функций появляется в двух планах: «сперва – социальном, потом – психологическом, сперва между людьми как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка как категория интрапсихическая» [1, 145]. Сегодня исследования по культурной контекстуализации психологических процессов продвинулись уже далеко [7; 31; 44].

КОНСТРУКЦИОНИСТСКИЙ ПОВОРОТ

Хотя переход от кросскультурной к культурно укорененной психологии интеллектуально стимулирует и представляет собой значительный шаг к деколонизирующей психологической науке, определенные проблемы все-таки остаются. Во-первых, составляя важную альтернативу универсальной психологии, движение культурной психологии не поставило под вопрос универсальную метатеорию, и в частности, базо-

вые элементы эмпиристской традиции исследования. Наследие западного эмпиризма по большей части остается в силе. Культурный психолог склонен предполагать существование ряда независимых частиц (например, культуры, сознания, социализации), адекватность эмпирической или интерпретативной методологии для оценивания и рефлексии характера этих частиц, а также возможность кумулятивного (или фальсифицируемого) знания об изучаемых процессах социализации. Хотя существование универсальных психологических механизмов или процессов отрицается, универсальная метатеория не отбрасывается, т. е. культурная психология продолжает оставаться детищем западного модернизма.

Помимо этого, методы, применяемые в культурной психологии, выводятся из эмпиристской метатеории. Они незаметно встраиваются между исследователем и изучаемой культурой, ограничивая, переводя и трансформируя культурные реальности в собственных терминах (например, категориях, переменных, стандартизированных языках, цифрах и т. д.). Проекты культурных исследований вроде бы дают респондентам слово, но потом заменяют его на детерминированные методом реальности. При этом профессиональный исследователь (часто выходец из иной культуры) претендует на авторитетное знание изучаемой культуры, превосходящее знание местного населения. Как показал Роглер [41], эти общие методологические места часто стирают разделяемые в домашней культуре значения. Наконец, последней проблемой современной культурной психологии является то, что она практически не рассматривает вопросы, имеющие сегодня моральное, политическое или идеологическое значение. Очень мало внимания уделяется тому, как ее понятия, методы и способы репрезентации входят в культуру, хотя как символические ресурсы они определяют форму будущего культурной жизни – во благо и/или во вред. Такое сопротивление рефлексивности во многом обязано эмпиристской метатеории, отстаивающей презумпцию ценностью свободного исследования. В итоге она полностью изолируется от социально важных тем.

Указанные проблемы очерчивают пространство возникновения того, что можно назвать *культурно-конструкционистской психологией*. Контуры этой ориентации определяются целой серией каталитических диалогов, развернувшихся в течение последних 20 лет в социальных и гуманитарных науках. Чтобы понять значение культурного конструкционизма, необходимо оценить эти диалоги. В первую очередь важно осознать, что социально-конструкционистские обсуждения преследуют главным образом метатеоретические цели. Они ориентированы на исследование возможности концептуализации знания как продукта сообществ (а не индивидуальных сознаний). Поэтому современные попытки изучения социального конструирования комбинируют идеи из различных сфер интеллектуальной и культурной жизни. Пер-

вые из таких «комбинаций» сочетали работы по социальным исследованиям науки, теории литературы и риторики, постмодернистской теории и различным формам идеологической критики. Всевозможные соединения и сопоставления этих движений привели к важным находкам, например, в дискурсном анализе, исследованиях массовой коммуникации, феминистских исследованиях, культурном анализе и др. К этим интеллектуальным наработкам присоединяются различные движения в терапевтической практике, организационном развитии, образовании, общественной политике и т. д. Многие из них рассматриваются в книге Джерджена «Реальности и отношения» [19].

Нет ни «теории социального конструирования», ни набора предписанных «конструкционистских практик». Но хотя идут постоянные дискуссии, мы можем вычленить ряд предположений, которые были исключительно генеративными по своим эффектам и в целом принимаются всеми, кто называет себя конструкционистами. Эти генеративные предположения заключаются в следующем.

Не может быть трансцендентально привилегированных описаний того, что мы считаем существующим. Нет никакой специфической конфигурации слов или выражений, которые единственно подходят к тому, что мы называем миром, располагающимся «там» либо «здесь». Мы можем стремиться к согласию относительно того, что «нечто существует», но каково бы ни было это «нечто», оно не предъявляет требований к конфигурации фоном или фраз, используемых людьми в коммуникации по его поводу. Поэтому мы отказываем в привилегии любому человеку или группе, претендующим на высшее знание того, что существует. Никакая наука, религия, философия, политическая партия или иная группа не может претендовать на конечное превосходство в отношении истины (соответствия слова и мира) или разума (порядка самих слов). Если говорить позитивнее, мир не отвечает за то, во что мы его превращаем; любое проблематичное понимание могло не оказаться таковым. В рамках культурно-ориентированного исследования необходимо сознавать, что, называя группу людей, например, «племенем», или «кланом», или «расширенной семьей», мы не даем имя истине того, как эти люди живут друг с другом, а конструируем реальность определенного исследовательского сообщества.

Любое описание мира или себя имеет своим истоком отношения. Язык обретает способность означать в отношениях, в зависимости от того, как он употребляется людьми для координации друг с другом и с окружающим миром. Когда мы играем с ребенком и заявляем, что то, что все взрослые называют «чашкой», на самом деле «шляпа», этот объект становится шляпой, и мы весело водружаем его себе на голову. Сообщество физиков может называть этот объект «конфигурацией атомов», рекламисты – описывать его как «легкий и прочный», а историки искусства – как «модернистский». Каждый из этих дискурсов

функционирует в сообществе пользующихся языком индивидов и каждый из них по-своему конструирует то, что мы считаем единым объектом. В этом смысле наши миры создаются в отношениях, конституирующих все, что является для нас прекрасным, ценным и достойным почитания. И именно посредством отношений мы можем в любое время начать процесс реконструирования мира.

Язык функционирует в первую очередь как форма социального действия, составляющего часть одной или нескольких традиций. Поскольку «то, что существует», не предъявляет никаких требований к нашему языку, слова получают свое значение при использовании в человеческих отношениях. В этом смысле высказывания подобны улыбкам, рукопожатиям и объятиям; они представляют собой формы действия, обретающие значение в процессе человеческой координации. При этом координацию следует понимать в самом широком контексте. Например, то, что мы обычно называем «материальным миром», тоже входит в паттерны человеческой координации. Теннис нуждается в таких словах, как «ноль» и «равно», в той же степени, в какой для него нужны ракетки, мячи и сетка. Деловая организация может опираться на такие слова, как «менеджеры», «продажи» и «изучение и развитие», скоординированные с различными видами активности и движением материалов. Разделять язык – значит разделять способ жизни или традицию.

Дискурсивно конституированные традиции являются одновременно и существенными, и опасными. Когда мы вступаем в координацию, мир становится для нас «осмысленным». Мы обретаем идентичность в качестве отдельных личностей в сочетании с интересами, целями, идеалами и увлечениями. Ландшафт ценностей формируется в процессе отношений. Однако, производя и разделяя некоторый способ жизни, мы ограничиваем выбор и отдаляемся от других людей. Мы не в состоянии понять или оценить то, что вне традиции смысла, частью которой мы являемся. Гибкость уменьшается, а те, кто не принадлежит традиции, зачастую подвергаются девальвации. Они – «другие»; они иным образом осмысляют происходящее и, возможно, опасны для наших традиций и ценностей.

Коммуникативные отношения позволяют производить новые порядки значения, из которых могут возникать новые формы деятельности. Поскольку значение – человеческая конструкция, случайным образом располагающаяся внутри текущих паттернов скоординированной деятельности, оно всегда открыто для трансформации, которая может начаться с игры, поэзии, экспериментирования или любой иной формы действия, выходящей за границы повторяющихся паттернов повседневной жизни. Трансформация может также начаться с новых коммуникативных соглашений, новых способов диалога, которые побуждают к изучению забытого, вытесненного и т. д. Мы открываем

множество путей производства новых порядков значения и в результате трансформации своих сконструированных миров обнаруживаем новые пространства действия.

Хотя можно было бы и дальше усиливать и квалифицировать эти предположения, в завершение важно указать на то, что большинство конструкционистов понимают их безосновательность. То есть очень немногие считают эти предположения трансцендентально истинными, рационально оправданными, морально существенными или как-либо иначе превосходящими любые другие описания слова или мира. Конструкционизм, на наш взгляд, не пытается поставить последнюю точку, заняв позицию, после которой диалог станет невозможен. Наоборот, для нас конструкционизм является приглашением к новым возможностям, исследованию, творчеству и, возможно, к некоторым материальным условиям, способствующим большей терпимости, а также координации людей в отношении того, что им может видаться более гуманным и жизнеутверждающим миром.

ИЗМЕРЕНИЯ КУЛЬТУРНО-КОНСТРУКЦИОНИСТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Представив рудиментарные основания конструкционистской мета-теории, мы готовы перейти к рассмотрению их места в культурно-конструкционистской психологии. К чему предрасполагает конструкционистская ориентация в культурно сензитивном психологическом исследовании, а какие направления оказываются проблематичными? В первую очередь важно понять, что в принципе социальный конструкционизм ничего не отвергает. Конструкционизм не требует отказа, например, от существующей традиции кросскультурной психологии. Кроме того, можно привести множество доводов в пользу возрождения того типа исторического описания культурного развития, который представлен в ранней сравнительной работе Вундта. Подобная либеральная установка является следствием конструкционистского анти-фундаментализма. Не существует фундаментальных причин или очевидных оснований для исключения какой бы то ни было формы смысла из сферы социально-научных исследований. Возможны самые разные теории, методы и практики, каждая из которых отражает некоторую традицию или форму жизни. Поэтому отказ от какого-либо способа исследования равносителен уничтожению культурной традиции. Иначе говоря, культурный конструкционизм не пытается подорвать те или иные культурные смыслы или формы жизни во имя трансцендентальной рациональности или универсальной истины. Но не менее важно осознать и то, что такой либерализм не провозглашает, что «все

равнозначно», т. е. что каждый исследовательский проект столь же хорош, как и любой другой. Хотя конструкционизм предлагает контекст для оценки вклада конкретной исследовательской традиции, это не поощряет ценностной нейтральности. Мы вскоре вернемся к этому пункту.

Что же специфическое может внести конструкционистская ориентация в культурно-сензитивные поиски, что она добавляет к существующим исследовательским и научным ресурсам? По нашему мнению, особенное внимание следует уделить трем направлениям разработок.

Рефлексивное обсуждение: факт и ценность под вопросом

Вначале стоит отметить, что конструкционистские постановки поощряют активную рефлексивную позицию. Во-первых, они направляют внимание на те способы, которыми научное исследование конструирует свой предмет. Принимаясь за изучение познания, идентичности, мотивации и т. д., исследователь создает ряд само собой разумеющихся реальностей. Эти реальности диктуются не конфигурацией мира, а (как правило) диалогическими традициями внутри профессии и культуры. Во-вторых, конструкционистские постановки делают нас чувствительными к тому, как соответствующие смыслы проникают в культурную жизнь и используются людьми для поддержания, вопрошания или избегания некоторых ее паттернов. Поэтому пристальное внимание уделяется формам реальности, вырабатываемым в рамках экспертного пространства профессиональной психологии. Что получает привилегированное положение и что подавляется или уничтожается в результате использования определенных способов дискурсивного оформления мира; кто выигрывает и кто проигрывает; какие политика или институты санкционируются, а какие подрываются? Все это оказывается в фокусе внимания культурно-конструкционистской психологии.

Критическое рефлексивное исследование, стимулированное отчасти возросшей чувствительностью к коммуналному конструированию знания, в последнее время получило широкое распространение в социальных и гуманитарных науках. Среди наиболее красноречивых критиков – антропологи, выявляющие то, как западная антропология конструировала изучаемые ею культуры, зачастую разрушая, отчуждая, дистанцируя, патронизируя, заглушая или колонизируя их [2; 6; 14; 15]. Западные психологи, хотя и позже, тоже начали интересоваться тем, как позиционируются испытуемые в их исследованиях и какое влияние оказывают их характеристики на детское воспитание, образовательные практики, профилактику психического здоровья, юриспруденцию и общественную политику [8; 11; 39; 43]. Постепенно критиче-

ское внимание обращается на действие западных исследований в западных или неанглоязычных культурах [17; 21; 34], что сопровождается усилением критики со стороны западных культур последствий импорта западных теорий и понятий в их культурные обстоятельства [35; 38; 42; 46]. Но самые глубокие выводы вытекают из тех исследований в психологии и смежных науках, которые начали ставить под вопрос само понятие культуры [16; 26; 28].

Введение такого критического анализа в научное исследование открывает широкие возможности, но есть одна важная перспектива, которая до сих пор практически не раскрыта. Пока еще очень мало того, что можно назвать *оценочной рефлексией*. Наиболее рефлексивные из сегодняшних исследователей заняли критическую позицию, обратившись к изучению угнетения, утраты и страдания, которые могут быть результатом определенных конструкций психологического мира. Конечно, это самое удобное место для запуска рефлексивного процесса. Однако в неумолимой критике есть свои опасности. Дело не только в том, что критика, как правило, действует разъединяюще, создавая и провоцируя оппозицию, но и в том, что если она служит нам единственным орудием рефлексии, это приводит к войне всех против всех. Или, если использовать современные американские термины, мы начинаем «культурные войны». Поэтому критическое исследование должно обязательно сопровождаться оценочной рефлексией. Надо поддержать интерес ученых к позитивной роли различных форм психологического понимания, методологий и практик.

Мультикультурная методология

Хотя конструкционистские предположения не склоняют к отказу от исследовательских методов западного эмпиризма, предложенный выше анализ рефлексивного обсуждения следует, очевидно, распространить и на область методологии. Вопросы, связанные со способами, которыми методы ограничивают возможные конструкции предмета исследования, с отношениями власти, реализующимися при позиционировании испытуемого, и с распределением выгод от результатов исследования, должны стать объектом особого внимания. Важное значение для культурного конструкциониста имеет то, что традиционные исследовательские методы поддерживают идеологию индивидуализма и претендуют на универсальную валидность и истинность. Они делают ученого авторитетом в определении предмета изучения, выдвижении гипотез, использовании процедур сбора данных, анализе и интерпретации результатов исследования и их распределении. Отобранные респонденты (традиционно именуемые *испытуемыми*) тщательно исследуются в поисках релевантной информации, но редко получают

возможность формулировать исследовательские вопросы, отстаивать значение своего поведения или речи или контролировать то, как их действия репрезентируются и распределяются. В действительности господствующие западные методологии остаются изолированными от тех культур, которые они исследуют. Культурный конструкционизм выступает за открытость взаимообмена и более равноправное участие в получении исследовательских данных.

Под воздействием конструкционистских идей и более широкого круга постмодернистских размышлений произошел взрыв методологических инноваций [24]. Многие из них появились в области качественных методов. В соответствии с собственными целями мы можем выбрать среди этих движений ряд новых методологических ресурсов, которые ставят разных людей в ситуацию взаимного понимания. Три отправные точки могут послужить иллюстрацией этих возможностей.

Нарративные методы. Одно из наиболее широко применяемых средств разделения авторитета состоит в том, чтобы дать возможность говорить самим испытуемым, дать им возможность рассказать собственную историю. На сегодняшний день существует множество различных нарративных методов [13; 27; 36; 47; 48]. Некоторые исследователи сосредоточатся на единичной автобиографии; другие будут слышать голоса нескольких участников; третьи могут взять отдельные фрагменты дискурса и соткать пестрое теоретическое полотно. В своей работе, посвященной гендеру и популярной автобиографии, Мэри Джерджен [22] не только привлекала огромное количество автобиографического материала, но и перемежала его голосами идейно близких ученых. Таким путем исследователи могут снижать свою власть над тем, что они изучают, создавая в то же время более сложные, мультитекстурные и сензитивные образы. В отличие от кросскультурного исследования, например, индивидуализма/коллективизма нарративные методы вместо статистического сравнения ключевых тенденций дают детальное описание той роли, которую играют различные отношения для носителей конкретной культуры, и того, как их можно по-разному понимать в разное время и в разных местах. Вероятно, подобные исследования также могли бы показать комплексные вариации внутри гомогенной на первый взгляд культуры.

Многоголосое исследование. Типичное эмпирическое психологическое исследование устремлено к единственной истине. Исследователь предполагает, что его вклад помогает точнее отделить ложное от истинного и в конечном счете содействует наибольшему приближению к сущему. С конструкционистской же точки зрения любое исследование вытекает из конкретной культурной традиции, а единственность истины равноценна тоталитаризму. Поэтому для культурного конструкциониста методы являются областью порождения множественности, а не единичности. Одним из наиболее инновационных и далеко

идущих примеров мультиголосой методологии является книга Патти Латер и Криса Смитиса «В конфликте с ангелами» [30]. В ней описывается, как авторы работали с группой поддержки женщин, больных СПИДом. Исследовательский отчет включает рассказы самих женщин о своей жизни, а также о том, чем они хотели бы поделиться с миром в их обстоятельствах. Не желая скрывать свою позицию, исследователи посвятили некоторые главы книги собственным переживаниям и мыслям в качестве членов группы. Чтобы компенсировать оторванность этих описаний от дискурсов медицины, экономики и медиа, авторы дополнили текст более формальными академическими и научными материалами. Наконец, вся книга была предоставлена ее героям для комментариев, прежде чем она пошла в печать.

Нарративный и мультиголосый подходы можно интегрировать. Например, в своем исследовании насилия над детьми Карен Фокс [18] комбинировала свои собственные взгляды с историями детей, подвергшихся сексуальному насилию, а также с представлениями самих насильников. Последний голос в большинстве описаний случаев сексуального насилия над детьми практически отсутствует. В ходе исследования использовались обширные открытые интервью и включенное наблюдение, в рамках которого Фокс посещала терапевтические сессии с осужденными сексуальными насильниками. Опубликованный текст разбит на три колонки, представляющие три голоса. Течение текста позволяет читателю увидеть три различные перспективы одновременно по отдельности и вместе. Все слова были взяты из реальных рассказов. Хотя отбор и упорядочивание проделала Фокс, каждый из участников имел возможность прочитать и откомментировать материалы. Получившаяся в итоге структура способствовала не только обмену воспоминаниями, интерпретациями и идеями, но и выражению неоднозначности, горя, гнева и привязанности.

Совместное исследование. Чувствительность к влиянию разнообразных культурных традиций предполагает открытость альтернативным интерпретациям изучаемых паттернов. Поэтому были придуманы новые методы, разоблачающие исследовательские иерархии и заменяющие традиционную автономию исследователя (ведущую к культурной слепоте) совместными формами исследования. Возможно, наиболее заметной формой такого типа исследования является *исследование через включенное действие* [5; 40]. С его помощью исследователи обычно отвечают на потребность сообщества и помогают ему использовать различные средства для достижения своих целей. Часто главным результатом становится политическое или социальное преобразование. Могут быть и другие варианты сотрудничества. Один такой культурно-сензитивный проект был разработан Джимом Шеурихом и двумя студентами – Герардо Лопесом и Мигелем Лопесом. В центре их внимания была жизнь мексиканских эмигрантов в Америке. Вместе

они создали коллаж артефактов, образов, музыки, звука и текста. Помимо этого, они написали сценарий, в который внесли свой вклад как сами исследователи, так и представители изучаемой аудитории. Тем самым они существенно расширили процесс сотрудничества с аудиторией. Они попытались дать возможность беспрепятственно течь потоку восприятий и разговоров вокруг предложенных материалов. Стремление организовать их в последовательное, риторически убедительное и однородное «сообщение» отсутствовало. Шеурих отмечает, что «организаторы не выдвигали никаких предположений о природе этих переживаний или их отношении к эмигрантской жизни мексиканцев в Америке» [23, 1030]. Фактически исследование давало аудитории возможность глубокого включения в предмет, но оставляло за ней право предлагать различные его интерпретации.

Теперь перейдем от обсуждения методологии к теории и исследованию, какими они видятся с культурно-конструкционистской точки зрения.

Теория и исследование как культурный капитал

Воспринимая теоретические и исследовательские выводы не как истинностные постулаты, а как дискурсивные вкрапления в культурной жизни, мы начинаем задавать новые вопросы в отношении возможностей исследования. Наш интерес смещается с проблемы валидности – соответствует или нет карта территории – к вызову понятности. Как, кем и для какой цели может использоваться история, которую я рассказываю с помощью определенной теории или исследования? В этом случае мы предполагаем, что культурное обогащение может служить всеобъемлющим критерием исследования. Например, считается, что в культурной антропологии возможны истории только двух видов: этнографическое исследование может говорить нам либо о том, что мы отличаемся от других людей, либо о том, что, несмотря на видимые различия, мы все похожи. Обе эти истории одновременно обогащают и обедняют. История о различиях может выступать препятствием для опасных тенденций универсализации предположений родной культуры, но в то же время она функционирует как инструмент отчуждения (экзотизации другого). История о похожести работает с точностью наоборот: она ослабляет стремление к отчуждению («в конце концов, мы все едины»), одновременно требуя снятия ограничений на универсальном уровне. Культурно-конструкционистская психология не отказалась бы ни от одной из этих историй, но сначала бы попыталась отыскать альтернативы, обладающие более обещающим потенциалом.

Диапазон возможностей в данном случае нельзя специфицировать заранее, но несмотря на это рассмотрим три перспективы, которые особенно близки к конструкционистским размышлениям.

Взаимоналожение способов достижения понятности. Традиционное исследование как в кросскультурной, так и в культурной психологии направлено на присвоение «другого», понятное его представление в терминах родной культуры. «Другой» описывается и анализируется так, чтобы «мы теперь поняли». Цели придания понятности может быть противопоставлена другая цель, согласно которой исследование должно менять или расширять свои способы достижения понятности за счет инкорпорации или поглощения чужих модальностей понимания. В таком случае задача состоит не в помещении «другого» в удобный концептуальный ящик, а в трансформации той концептуальной структуры, при помощи которой осуществляется понимание. Примеры подобного «оплодотворения» часто встречаются в таких областях, как музыка, кулинария и религия. Культурный конструкционист должен производить подобные взаимоналожения в рамках анализа человеческой жизнедеятельности. Иллюстрацией такого типа исследования являются работы Ананда Паранджпа и его коллег [3; 37], попытавшихся интегрировать азиатские и индийские теоретические идеи в западную психологию. При этом не только исследуются сходства и различия, но и демонстрируются пути расширения западной психологии за счет добавления незападных концептов.

Необходимо сказать еще кое-что о процессе взаимоналожения способов достижения понятности. Психологи тоже формируют свободно сотканную культуру, состоящую из разных онтологий, ценностей и определенных форм практики. Поэтому ударение, которое конструкционизм делает на процессе взаимоналожения способов достижения понятности, касается не только нас самих, но и наших текстов по поводу человеческого функционирования. В этом отношении вторая задача заявляет о себе на уровне профессиональной жизни: необходимо выйти за рамки нашей ограниченной области понятности. Постепенно завязывающийся диалог между культурной психологией и культурной антропологией является хорошим началом [9]. Проведение культурно-сензитивного исследования в психологии без привлечения, в частности, символической антропологии – по сути, форма академического солипсизма. Но это лишь первые шаги. Конечные проблемы культуры неотделимы от вопросов институциональной власти, истории, экономики, политической идеологии, технологии, медиа, массовых передвижений и т. д. Изучение индивидуального функционирования может быть расширено в любом направлении, поскольку взаимоналожение может осуществляться в любой плоскости.

Реализация конструкционистских предпосылок в исследовании. Как было отмечено выше, культурный конструкционизм не предъявляет никаких жестких требований ни к теории, ни к исследованию. Его цель состоит не в том, чтобы вытеснить остальные культурные традиции, а в том, чтобы помочь им развиваться, объединяться и про-

никать друг в друга. Однако конструкционистский подход к знанию хрупок и в качестве формы понимания подвергается потенциальной угрозе. Поэтому один из привлекательных способов построения исследования может состоять в том, чтобы использовать конструкционистские метатеоретические положения в качестве теоретического основания исследования. Подобно тому, как последователь Пиаже будет «определять стадии когнитивного развития» детей, а последователь Выготского – «демонстрировать процесс обучения в зоне ближайшего развития», культурный конструкционист может делать более осязаемой «реальность социального конструирования», изучая культурную жизнь. Превосходный образец реализации подобной установки – книга Кэтрин Лутц «Неестественные эмоции» [33]. В ней Лутц демонстрирует культурно сконструированный характер эмоционального словаря племени ифалук, подрывая этим универсалистские претензии западного исследователя. Но важнее то, что Лутц показывает, как культурно конституированные акты проявления эмоций связаны с более широкими социальными соглашениями и институтами внутри ифалукской культуры. Фактически эта работа идет намного дальше универсалистской критики, детально «показывая», как локально создаются само собой разумеющиеся категории и практики эмоций.

Концептуальное конструирование: относительное Я. Традиционные подходы к культуре и психологии – руководствующиеся эмпиристскими предположениями – обычно ставили своей целью освещение мира, каков он есть. Правильная теория и исследование должны раскрывать природу отношений между культурой и психическими процессами. С конструкционистской точки зрения подобные «освещения» будут неизбежно отображать некоторую точку зрения, традицию интерпретации и действия; кроме того, они сами входят в культурную жизнь. В таком случае важным шагом для культурного конструкциониста является производство новых способов придания понятности, которые могут обогатить потенциал культурной жизни. Например, в этом контексте расширение теорий познания и помещение их образцов в разные культурные условия принесет мало пользы. Дело не в том, что когнитивный подход ложен, скорее, проблема в том, что эти теории доминировали в западной психологии в течение почти 30 лет. Вне зависимости от того, хорошо это или плохо, их ценность в качестве культурных ресурсов уже в значительной степени исчерпана. Культурный конструкционист знает, что больше пользы принесет выработка новых концептуальных ресурсов, т. е. представлений о человеческом поведении, которые могут предложить новые альтернативы культурной деятельности.

Хотя обозначенные возможности в принципе неисчерпаемы, хорошей их иллюстрацией могут служить идущие в западной культуре дискуссии по поводу отказа от индивидуализированных теорий психичес-

ких процессов. Заимствуя многое из просвещенческого способа мышления, современная психология на Западе сосредоточена практически исключительно на интрапсихических процессах, т. е. поддерживает как концепцию, так и идеологию того, что Сэмпсон [43] называет *самодостаточным индивидом*. На фоне проблематичности следствий данного взгляда для мультикультурных отношений все сильнее дает о себе знать стремление найти им альтернативу, в частности, такую, которая будет делать акцент на отношениях, а не на индивидуальном сознании. Работы Выготского представляют собой прекрасную исходную точку для концепций относительного бытия. Однако сегодня теория и исследование следуют более радикальными путями, помещая такие процессы, как мышление, память и эмоции, внутрь процессов социального взаимодействия [20].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанные выше культурно-конструкционистские практики не претендуют на замещение кросскультурной или культурной психологии. Скорее, их функция состоит в расширении и обогащении поля исследования и деятельности. В то же время представленное описание не является авторитетным суждением о возможностях. Наоборот, мы попытались заложить основания для последующего диалога. Обратив этот диалог вовне, поверх культурных границ, мы осознаем потенциал культурно-конструкционистской психологии. Будущая реальность основывается на отношениях.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Выготский Л. С.* История развития высших психических функций // Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 3 / Под ред. А. М. Матюшкина. М., 1983.
2. Anthropology as cultural critique: an experimental moment in the human sciences / Ed. by G. Marcus and M. Fischer. Chicago, 1986.
3. Asian contributions to psychology / Ed. by A. Paranjpe, D. Y. F. Ho, R. Rieber. New York, 1988.
4. *Bruner J.* Acts of meaning: four lectures on mind and culture. Cambridge, 1990.
5. *Brydon-Miller M.* Participatory action research: psychology and social change // Journal of social issues. 1997. Vol. 53. № 4.
6. *Clough P. T.* The end(s) of ethnography: from realism to social criticism. Thousand Oaks, 1992.
7. *Cole M.* Cultural psychology: a once and future discipline. Cambridge, 1996.
8. Critical social psychology / Ed. by T. Ibanez and L. Iniguez. London, 1997.
9. Cultural psychology: essays on comparative human development / Ed. by J. E. Stigler, R. A. Shweder, G. Herdt. New York, 1990.

10. Darwin and facial expression: a century of research in review / Ed. by P. Ekman. New York, 1973.
11. Deconstructing social psychology / Ed. by I. Parker and J. Shotter. London, 1990.
12. *Ekman P., Friesen W. V.* A new pan-cultural facial expression of emotion // Motivation and emotion. 1986. Vol. 10. № 2.
13. Exploring identity and gender: the narrative study of lives / Ed. by R. Josselson and A. Lieblich. Thousand Oaks, 1994.
14. *Fabian J.* Dilemmas of critical anthropology // Constructing knowledge: authority and critique in social science / Ed. by L. Nencel and P. Pels. London, 1991.
15. *Fabian J.* Time and the other: how anthropology makes its object. New York, 1983.
16. *Featherstone M.* Undoing culture: globalization, postmodernism and identity. London, 1995.
17. *Fine M., Weis L.* Writing the «wrongs» of fieldwork: confronting our own research/writing dilemmas in urban ethnographies // Qualitative inquiry. 1996. Vol. 2. № 3.
18. *Fox K. V.* Silent voices: a subversive reading of child sexual abuse // Composing ethnography: alternate forms of qualitative writing / Ed. by C. Ellis and A. P. Bochner. Walnut Creek, 1996.
19. *Gergen K. J.* Realities and relationships: soundings in social construction. Cambridge, 1994.
20. *Gergen K. J.* The place of the psyche in a constructed world // Theory and psychology. 1998. Vol. 7. № 6.
21. *Gergen K. J., Gulerce A., Lock A., Misra G.* Psychological science in cultural context // American psychologist. 1996. Vol. 51. № 5.
22. *Gergen M. M.* Life stories: pieces of a dream // Storied lives: the cultural politics of self-understanding / Ed. by G. C. Rosenwald and R. L. Ochberg. New Haven, 1992.
23. *Gergen M. M., Gergen K. J.* Qualitative inquiry: tensions and transformations // Handbook of qualitative research / Ed. by N. K. Denzin and Y. S. Lincoln. Thousand Oaks, 2000.
24. Handbook of cross-cultural psychology: In 3 v. / Ed. by J. W. Berry et al. Newedham Heights, 1997.
25. Handbook of qualitative research / Ed. by N. K. Denzin and Y. S. Lincoln. Thousand Oaks, 1994.
26. *Hermans H. J. M., Kempen H. J. G.* Moving cultures: the perilous problems of cultural dichotomies in a globalizing society // American psychologist. 1998. Vol. 53. № 10.
27. Interpreting experience: the narrative study of lives / Ed. by R. Josselson and A. Lieblich. Thousand Oaks, 1995.
28. *Kahn J. S.* Culture, multiculture, postculture. London, 1995.
29. *Kitayama S., Markus H. R.* Construal of the self as cultural frame: implications for internationalizing psychology // Becoming more international and global: challenges for American higher education / Ed. by J. D'Arms et al. Ann Arbor, 1997.
30. *Lather P., Smithies C.* Troubling with angels: women living with HIV and AIDS. Boulder, 1997.
31. *Lave J., Wenger E.* Situated learning: legitimate peripheral participation. Cambridge, 1991.
32. *Lonner W. J.* The introductory psychology text and cross-cultural psychology: beyond Ekman, Whorf and biased I.Q. tests // Heterogeneity in cross-cultural psychology / Ed. by D. Keats, D. R. Munro, L. Mann. Lisse, 1989.
33. *Lutz C. A.* Unnatural emotions: everyday sentiments on a micronesia atoll and their challenge to western theory. Chicago, 1988.
34. *Lykes M. B.* Meaning making in a context of genocide and silencing // Myths

about the powerless: contesting social inequalities / Ed. by M. B. Lykes. Philadelphia, 1996.

35. *Mohanty C. T., Russo A., Torres L.* Third world women and the politics of feminism. Bloomington, 1991.

36. Narrative psychology: the storied nature of human conduct / Ed. by T. R. Sarbin. New York, 1986.

37. *Paranjpe A. C.* Self and identity in modern psychology and Indian thought. New York, 1998.

38. *Prakash G.* Postcolonial criticism and Indian historiography // Social postmodernism: beyond identity politics / Ed. by L. Nicholson and S. Siedman. New York, 1995.

39. *Prilleltensky I.* Values, assumptions and practices: assessing the moral implications of psychological discourse and action // American psychologist. 1997. Vol. 52. № 5.

40. *Reason P.* Three approaches to participative inquiry // Handbook of qualitative research / Ed. by N. K. Denzin and Y. S. Lincoln. Thousand Oaks, 1994.

41. *Rogler L. H.* Methodological sources of cultural insensitivity in mental health research // American psychologist. 1999. Vol. 54. № 6.

42. *Said E.* Orientalism. New York, 1979.

43. *Sampson E. E.* Celebrating the other: a dialogic account of human nature. Boulder, 1993.

44. *Saxe G. B.* Cultural and cognitive development: studies in mathematical understanding. Hillsdale, 1991.

45. *Shweder R. A.* Cultural psychology: what is it? // Cultural psychology: essays on comparative human development / Ed. by J. E. Stigler, R. A. Shweder, G. Herdt. New York, 1990.

46. *Spivak G. C.* Three women's texts and a critique of imperialism // Critical inquiry. 1985. Vol. 12. № 1.

47. Studies in social identity / Ed. by T. R. Sarbin and K. E. Scheibe. New York, 1983.

48. The narrative study of lives / Ed. by R. Josselson and A. Lieblich. Thousand Oaks, 1993.

49. *Triandis H. C.* Culture and social behavior. New York, 1994.

50. *Triandis H. C. et al.* An etic-emic analysis of individualism and collectivism // Journal of cross-cultural psychology. 1993. Vol. 24. № 3.

51. *Williams J. E.* Young adults' views of aging: a nineteen nation study // Conferencia del XXIV congreso interamericano de psicologia: Documentos / Ed. by M. I. Winkler. Santiago, 1993.

52. *Wundt W.* Volkerpsychologie: eine untersuchung der entwicklungsgesetze von sprache, mythus und sitte. Leipzig, 1900–1920.

ТЕХНОЛОГИЯ И Я: ОТ СУЩНОСТНОГО К ВОЗВЫШЕННОМУ¹

Психологический эссенциализм – вера в то, что индивиды обладают специфическими психическими процессами или механизмами, – долго служил ключевой характеристикой западной культурной традиции. Уже аристотелевская философия содержала сложную формулировку процессов психической жизни. Платоническая теория знания, центральным предметом интереса которой была реальность чистых идей, также строилась на изначальной уверенности в превосходстве внутреннего психологического мира. Эти составляющие греческого культурного мира, соединившись с иудео-христианской концепцией души, сделали убедительно ощутимым предположение о существовании внутреннего мира – идентифицируемого, всегда присутствующего, прозрачного и исходного для понимания человеческих действий.

С ходом столетий эти ранние спекуляции, по мере их разработки, претерпели значительные изменения. Когда такие деятели средневековья, как Августин и Фома Аквинский, расширили понятия души, ощущения и эмоций; когда такие философы-рационалисты, как Декарт и Кант, поставили выше всего способности чистого разума и априорные идеи; когда такие философы-эмпиристы, как Локк и Гоббс, подчеркнули значение опыта в порождении идей; и когда романтические поэты, романисты и философы сделали предметом своих изысканий загадочную область страстей, творческих порывов, дурных наклонностей, гениальности и безумия, мы приняли традицию, в которой презумпция внутренней жизни – как реального мира, возможно, более важного, чем мир внешний, материальный, – обрела устойчивую фиксацию.

Дискурс индивидуального внутреннего пространства также дал обоснование многим нашим институтам. Религиозные организации, например, долгое время занимались воспитанием и очищением души. Образовательные учреждения предназначены для улучшения психического функционирования индивида; семьи формируют характер молодежи; демократические институты основаны на вере в независимое суждение, а судебные инстанции навряд ли смогли бы действовать без понятий намерения, памяти и осознанного действия.

¹ Ориг. опубли. в сб.: Constructing the self in a mediated world / Ed. by D. Grosin and T. R. Lindlof. Thousand Oaks, 1996.

В свете этого мы обнаруживаем, что одним из главных эффектов социальной науки в XX в. является объективация психологического мира. Если философы, священники и поэты предыдущих веков ограничивались в основном риторикой символов письменного и устного языка, то социальные науки были (и по-прежнему остаются) дополнительно вооружены еще и риторикой наблюдения. То есть социальные науки, появившись в результате смешения логик рационалистической и эмпиристской философии, взяли на себя обязательство, по меньшей мере, обосновать теоретические гипотезы в наблюдаемом мире. Будь то интроспективные методы первых менталистских психологов, экспериментальные методы лабораторных психологов, феноменологические методы гуманистических ученых, шкалы для измерения аттитюдов и мнений психометриста или качественные методики современного интерпретативиста, – в каждом из этих случаев нам обещали предоставить эмпирическое доказательство пропозиций, касающихся психологической и социальной жизни. Это совершенно отчетливо проявилось в психологической науке, начиная с ментализма и Фрейда и заканчивая современным когнитивизмом и DSM III R¹. Такова также превалирующая тенденция в теории и исследованиях коммуникации, независимо от того, каков предмет изучения: аттитюды, интенции, идеологии, аттракция, субъективность или саморефлексия. В любом случае теоретическое описание поддерживает предположения о реальности психической жизни. Массив ментальных предикатов незаметно овеществляется в исследовательских практиках².

Именно давняя традиция психологического эссенциализма, поддерживаемая главными культурными институтами и оправдываемая столетней историей социальной науки, предоставляет основание для тех повседневных процессов, которые мы обозначаем как самопонимание и самореализацию: для различных способов, которыми мы вопрошаем, оцениваем и изучаем себя («Наверное, у меня депрессия», «Это любовь или простое увлечение?»); для наших поисков реакций других, которые поддерживают и питают наше внутреннее бытие («Она неверно понимает мои намерения», «Он не уважает мои нужды»); и для наших способов оправдания и обсуждения собственных действий («Я подумал, что все кончено, и решил...», «Это шло в разрез с моими моральными ценностями»). Эта же традиция дает индивиду многочисленные и безотказные причины для сохранения персональной идентичности. Иметь идентичность – значит иметь право претендовать на внутреннюю жизнь: на свои причины и мнения, на экзистенциально определяющие мотивы, личные чувства и ядерные черты. Нехватка

¹ «Диагностическое и статистическое руководство по психическим болезням». — *Примеч. пер.*

² Для более полного анализа процесса ментальной реификации см. мою книгу «Реальности и отношения» [10].

подобных психологических ресурсов была бы эквивалентна распаду идентичности. Жизнь без разума, эмоций, морали, намерений и т. п. была бы пустой и лишённой смысла для человека, так что, вероятно, подобное существование ему незачем было бы продолжать.

Как я покажу ниже, по мере приближения к XXI в. психологический эссенциализм подвергается тонкой, но все более различимой эрозии. С упадком веры в идентифицируемый, узнаваемый и значимый внутренний мир личности мы становимся свидетелями (и будем сталкиваться с этим в дальнейшем) прогрессирующего опустошения идентичности: утраты доверия к субъективности, самопроизвольности, Я как центру бытия. Также будет показано, что одной из главных сил, содействующих разрушению Я, являются технологии. С распространением технологий, в особенности предназначенных для расширения пространства присутствия других, исчезают условия, необходимые для поддержания веры в устойчивый внутренний мир. Несмотря на то, что можно рассказать многое о последствиях этого исчезновения, я лишь укажу на возможного преемника психологического эссенциализма – реляционизм. В качестве иллюстрации его потенциала я попытаюсь очертить контуры относительного возвышенного.

УСЛОВИЯ ДОВЕРИЯ К Я

Чтобы оценить динамику распада Я в XX в., в первую очередь следует рассмотреть условия, необходимые для поддержания предположения о существовании ощутимого внутреннего пространства. Каким образом представители западной культуры сумели утвердить свою веру в специфический психологический мир? Мы не можем (вслед за Декартом) оправдать словарь внутреннего мира на том основании, что последний просто имеется, прозрачный и самоочевидный. Существует множество других культурных верований, которые пользовались то большим, то меньшим доверием в течение столетий, например, вера в олимпийских богов, птолемеевскую вселенную, существование привидений, реальность души. Хотя долговечность психологического эссенциализма бросает серьезный вызов, мне думается, что эссенциализм – будь то в социальных науках или в культуре в целом – в огромной мере зависит от форм дискурсивной гомогенности. Поэтому в данном тексте я предлагаю не более чем социолингвистическое прочтение достаточно традиционного взгляда на социальную обусловленность любого мнения. Чем сильнее согласие между единомышленниками – в рамках некоторого дискурсивного этоса, – тем более осмысленным, приемлемым и онтологически ощутимым является конкретное предположение. Обозначив общую ориентацию, рассмотрим теперь несколько

форм дискурсивной гомогенности, специфически предназначенных для поддержания веры в идентифицируемый и кардинальный внутренних психологический мир.

Онтологическая конфигурация. Внутренний мир становится предметом доверия прежде всего в силу достижения всеобщего согласия относительно категорий существования: базовых разграничений, необходимых для описания или объяснения психических состояний. Без подобного словаря было бы просто нечего описывать или объяснять, а без разумно широкого согласия по поводу терминов в права вступают двусмысленность и сомнение. Так, например, мы можем с определенной долей уверенности говорить об эмоциях страха, гнева и печали, поскольку эти категории являются элементами общепринятого словаря (в который входит около десятка «эмоциональных» терминов), наиболее часто употребляемого в культуре. Проявлять незнание этих чувств или заявлять об их отсутствии у себя значило бы ставить под сомнение свою принадлежность к человеческому роду. Можно ли быть в полной мере человеком, не испытывая гнева или печали? Другие психологические предикаты, разделяемые менее крупными и иногда более маргинальными культурными группами, не внушают подобного доверия. Такие понятия, как «экзистенциальная тревога», «посттравматический стресс», «духовное пробуждение», «поток сознания» и «канализирование чувств» приемлемы в разнообразных областях культуры, но большинство может скептически относиться к ним как к некому жаргону или культовому языку. Но возможны и более жесткие варианты: если бы кто-то заявил о том, что его переполняет *acidiae* (популярный в средневековых монастырях термин), что он страдает от сильного приступа меланхолии (термин, которым необычайно увлекались поэты и романисты XIX в.) или охвачен *mal de siecle*¹ (этим термином обозначали состояние, ведущее к самоубийству, менее ста лет назад), – это, скорее всего, вызвало бы удивленные взгляды у его товарищей. О чем это он/она говорит; может, это метафора или шутка? По сути, без публичного подтверждения претензий – без того, чтобы в итоге было сказано: «Да, я понимаю, что ты чувствуешь», – человек вряд ли может вести уверенное психологическое существование.

Способы выражения. Доверие к конкретной онтологии психологических состояний подкрепляется далее гомогенностью принятых способов выражения. В той степени, в какой достигнуто широкое согласие с тем, что определенные действия являются внешними манифестациями специфических внутренних процессов, механизмов, черт и т. п., мы можем спокойно продолжать верить в референтность словаря внутреннего мира. Существование рационального мышления, например, не вызывает сомнений, если большинство согласно с тем, что оп-

¹ Болезнь эпохи (фр.). — Примеч. пер.

ределенные речевые характеристики (например, правильное использование грамматики, употребление сложных предложений, богатый словарь) указывают на стоящий за ними интеллект, либо с тем, что определенные формы исполнительской деятельности (например, математика, игра в шахматы или инженерный дизайн) являются очевидными проявлениями высших когнитивных функций. Отказавшись признавать то, что якобы представляет собой правильное выражение данного процесса или состояния, мы должны поставить под сомнение и само существование последнего. Интересно, что в большинстве научных описаний человеческих эмоций отсутствует понятие «любовь». Среди около десятка эмоций, в отношении которых возможна аккумуляция научного знания, – таких, как гнев, страх и печаль, – нет любви¹. Как мне кажется, это связано в основном с тем, что данный термин в течение XX в. использовался для обозначения столь различных и несовместимых действий (от обожания до избегания, от самоубийства до убийства, от тривиального до глубокого), что потерял всякое право на научное уважение. Если практически любое действие, как и противоположное ему, может оказаться выражением любви, то ее невозможно ни идентифицировать, ни проверить утверждения о ней. Видимо, поэтому данное понятие исключается из области «реального знания» и отвергается как культурная мифология.

Контекст выражения. Ментальные предикаты становятся еще более осязаемыми в силу широкого согласия относительно контекстов их употребления. Это значит, что мы идентифицируем психические состояния частично по тем условиям, в которых манифестируются их предполагаемые выражения. Слезы на похоронах свидетельствуют о печали; те же слезы на свадьбе или при вручении награды мы интерпретируем как проявление радости. Фактически мы обращаем внимание не только на поведенческие манифестации, но и на контекст выражения, и степень веры в стоящий за ними психологический источник зависит от уровня гомогенности контекста выражения. Так, например, мы готовы легко согласиться с существованием гнева в первую очередь потому, что его «манифестации» часто обнаруживаются в ситуации конфликта, фрустрации и/или несправедливости. Если бы соответствующие выражения были случайным образом распределены по различным контекстам – неожиданно прорывались в моменты тихой задумчивости, посреди концерта Брамса или на свадебной церемонии, – тогда их сложно было бы интерпретировать. Они были бы настолько необычны при данных обстоятельствах, что мы могли бы решить, что актер физически или психически болен. Иными словами, наша вера в существование гнева как психологического состояния за-

¹ Для дальнейшего рассмотрения истории эмоционального дискурса см. мою работу «Метафора и монофония в истории эмоционального дискурса» [9].

висит в значительной мере от его выражений, ограниченных надежным рядом контекстуальных параметров.

Значимые цели. Наконец, устойчивость ощущения наличия психологических состояний связана с гомогенностью представлений о целях, диктуемых онтологией и сопутствующими допущениями, касающимися выражений. Наше согласие с существованием *X* зависит частично от того, каковы ожидаемые последствия принятия этого предположения. Если такое согласие ведет к плохому исходу, то мы можем захотеть отказаться от предположения; если же большинство признает, что результат принятия предположения будет хорошим, то можно продолжать сохранять уверенность в его реальности. К примеру, если представление о психологической силе колдовства используется для оправдания сожжения людей на костре, то признание или непризнание мной действительности существования магических сил зависит в огромной степени от того, считаются ли подобные экзекуции социальным благом. Если мы осуждаем эти методы, я стану отрицать соответствующую онтологию, ставить под вопрос такие способности и искать альтернативные объяснения. Я могу обратиться к словарю «психических болезней», поскольку повсеместно признается, что воспитательное обхождение более гуманно, чем казнь. Иначе говоря, гомогенность ценностного языка укрепляет убежденность в данной онтологии.

ТЕХНОЛОГИИ САМОВЫРАЖЕНИЯ

Как я полагаю, большая часть последних трех столетий, находящаяся под влиянием главным образом дискурса Просвещения XVII–XVIII вв., характеризовалась существенной гомогенностью дискурсивной экологии, т. е. согласием относительно ключевых составляющих психологического Я, способов его выражения, контекстов, в которых выражение приемлемо, и целей, которым служат эти выражения. Например, предположение о существовании рациональных процессов, противоположных эмоциям, характерных проявлений этих двух модальностей психологической деятельности и подходящих условий для их выражения, а также о том, что все они служат определенным культурным ценностям, было принято множеством ученых, писателей, поэтов, художников, политиков, священнослужителей, юристов и т. д. Но что происходит в XX в.? Почему мы должны поставить под сомнение все эти истины? Какие перемены в культуре лишают оснований дальнейшую веру? Хотя на эти вопросы можно отвечать по-разному, я бы хотел сделать главный акцент на технологиях связи между людьми, технологиях, которые ставят нас перед лицом неудержимо разрастающейся области других; которые экспоненциально расширяют возможности значимых отношений; которые делают присут-

ствие других более близким, частым и полным, чем когда-либо до этого. Обратим внимание, к примеру, на следующие факты.

┌ Еще сто лет назад в США было менее 100 автомобилей. В 1990-х гг. использовалось уже более 123 миллионов автомобилей, при этом ежегодно выпускалось более 6 миллионов новых машин.

┌ В начале XX в. радио не было; в настоящее время 99 % семей в США имеют, по крайней мере, один радиоприемник, и каждый год продается более 28 миллионов новых приемников.

┌ Вплоть до 1920-х гг. воздушные перелеты были практически неизвестны; сегодня самолетами летают более 42 миллионов пассажиров в год только внутри США.

┌ До 1940-х гг. о телевидении никто ничего не знал; в наши дни более 99 % американских семей имеют, по крайней мере, один телевизор, что даже больше, чем процент семей, имеющих водопровод.

┌ До 1970-х гг. персональные компьютеры были почти неизвестны; сейчас их в пользовании более 80 миллионов.

Сегодня новые технологические «прорывы» – в технологии микрочипов, программном обеспечении, телекоммуникациях, передаче образов, мобильных компьютерах, многоканальной связи, мультимедиа – случаются почти ежедневно. Определенные эффекты этих технологий достаточно очевидны. Какой бы путь не был избран, мы все глубже погружаемся в мир других людей, социально насыщенный мир [11]. Мы знаем больше, видим больше, коммуницируем больше и вступаем в отношения больше, чем когда-либо прежде. Однако остается более тонкий вопрос, который как раз и интересует нас здесь: вопрос психологического эссенциализма. Какое воздействие подобное стечение меняющихся обстоятельств оказывает на нашу убежденность в существовании специфически психического мира, мира, в котором может (и должно) утвердиться жизнеспособное Я и который наши культурные институты обязан оберегать и дальше? Чтобы ответить на этот вопрос, нам следует вернуться к описанным выше дискурсивным условиям поддержания веры, поскольку с моей точки зрения указанные технологии подрывают гомогенность, на которой покоятся эти убеждения. Рассмотрим, как рост взаимосвязей в XX в. повлиял на условия, обеспечивающие веру в психологическое Я.

Множественность онтологий. С распространением коммуникационных технологий мы в первую очередь сталкиваемся с непрерывно расширяющимся словарем бытия. Мы больше не обитаем в границах одного географически ограниченного сообщества, региона, этноса или даже культуры. У нас больше нет единого удовлетворяющего смысла, согласно которому мы должны жить; посредством социального насыщения мы с избытком проникаемся различными представлениями: психологическими онтологиями разных этнических групп, классовых страт, географических регионов, расовых и религиозных объедине-

ний, профессиональных анклавов и национальностей. Мы знакомимся с аргументами, лабораториями, гостиницами, борделями и т. д., которые предполагают свои особенные и неповторимые формы самовыражения. Кроме того, поскольку современные технологии позволяют маргинализированным группам находить единомышленников в любой точке страны и более свободно артикулировать и проявлять себя публично (или даже навязываться), мы сталкиваемся с развитыми онтологиями, поддерживаемыми достаточно большим количеством людей. Рассмотрим, например, распространение терминологии, выработанной внутри профессий, занимающихся психическим здоровьем. Еще в начале XX в. невозможно было осмысленно переживать «нервный срыв», «комплекс неполноценности», «кризис идентичности», «авторитарную» личностную тенденцию, «хроническую депрессию», «профессиональную непригодность» или «сезонное аффективное расстройство». Теперь эти и множество дополнительных понятий претендуют на онтологический статус. С точки зрения специалиста по психическому здоровью обыденные психологические термины – это просто фольклор. Начиная с кафедр и научных текстов и заканчивая популярными журналами и телевидением, доказывается, что технический словарь психических расстройств должен занять место таких грубых и наивных терминов, как «подавленность», «помешательство» и «расстройство нервов». К профессиональному жаргону следует добавить множество вновь вошедших в употребление терминов из нашей культурной истории (например, религиозные группы описывают различные душевные муки и состояние благодати); термины, привнесенные из других культур («карма», «несуесть»); а также термины, изобретенные в недавно родившихся субкультурах (например, нью-эйджский словарь экстаза, единения и умиротворения). Фактически многочисленные технологии социального насыщения взрывают словарь внутреннего мира. Этот взрыв ставит нас перед фактом окончания эпохи относительной гомогенности. Мы постепенно утрачиваем уверенность в «том, что есть», например, действительно ли существует психическое заболевание, настоящая креативность, свободная воля, нравственные чувства, чуткий эстетический вкус и т. п. В то время как количество понятий, претендующих на описание внутреннего пространства, продолжает расти – приближаясь сейчас к нескольким тысячам, – сомнение постепенно рассеивает их референтную базу, т. е. веру в то, что в действительности существует нечто особое, осязаемое и определяемое, к чему отсылают эти понятия.

Несовместимые выражения. По мере того как мы пробуем разнообразные модели жизни, отношения между выражением и его психологическим источником становятся менее очевидными. Причина этого не только в том, что в разных группах данное психологическое состояние манифестируется совершенно различными путями, но и в том, что

то, что считается выражением определенного состояния для одних людей, обозначает нечто иное для других. Так, для многих правильным выражением состояния «любви» являются действия, демонстрирующие внимательность и страсть, но то же ли это состояние, проявление которого другие сообщества видят в садизме, мазохизме или саморазрушении? К этим претендентам на выражение мы должны добавить бесчисленные попытки создателей кино и телевидения отыскать неизбитые формы экспрессии, выйдя за рамки принятых в культуре способов выражения, ради достижения драматических целей. Поэтому мы встречаем психологов, разуверившихся в существовании любви; читаем популярные книги, 50-ю различными способами повествующие нам о том, что есть любовь; слушаем эстрадных певцов, уверяющих нас, что «вы ничего не знаете о любви». Но и наоборот, существует множество действий, психологические источники которых спорны. Криминальная деятельность имеет одно значение, но что она выражает? Современные технологии опять позволяют формулировать самые разные ответы: это проявление недоразвитого сознания (психопатии или социопатии), жадности, нужды, стремления к самоутверждению (среди равных себе), мотивации достижения, классовой ненависти, расовой мести и т. д. Иногда спорность интерпретаций бывает очень значительной. Например, говорит ли правильное выполнение теста интеллекта о врожденных психологических способностях, как считают многие психологи, или об уровне культурного научения, как предпочитают думать многие социологи? Насилие над детьми – это продукт развращенности, психической болезни или воображения ребенка (каждая из этих позиций отстаивается той или иной структурированной культурной группой, имеющей собственный голос)? Но если мы не в состоянии найти пути решения этих вопросов, то постепенно оказываемся на грани скептицизма. Если нельзя определить, что выражает действие, наступает момент, когда мы начинаем сомневаться в том, что действия вообще являются выражениями («внешним оттиском») чего бы то ни было.

Присвоенное употребление. Распад гомогенности связан также со смещением границ контекстов выражения. Становится все труднее определить психологический источник по контексту его выражения. Причина этого кроется, вероятно, в устойчивой тенденции к субкультурному присвоению¹. Когда различные группы встречаются с иными способами жизни, они часто обнаруживают в них формы действия, которые могут подойти для локального использования. Такие паттерны вырываются из привычных контекстов значения и разворачиваются в условиях, обесмысливающих или разрушающих их традиционную функцию. Например, религиозные группы привносят идиомы роман-

¹ Для более детального описания субкультурного присвоения символов см. работу Фиске «Понимание популярной культуры» [8].

са и рока в культовую музыку, затемняя этим смысл «религиозного выражения» и косвенно переопределяя сами эти идиомы. Проявления любви перемещаются из области интимных отношений на бамперы автомобилей, позволяя демонстрировать свою привязанность к чему угодно, начиная с зарядки и заканчивая географической точкой. Духовные способы выражения выходят за пределы церкви, лишаясь своих религиозных коннотаций, и воссоздаются в нью-эйджевых ритуалах единения с природой, закатами, волнами и дельфинами. Способы выражения, подходящие для атлетических событий, переигрываются в политических контекстах, а явления, типичные для детско-родительских отношений, принимают новую форму в терапии. Иными словами, в силу того, что технологии усиливают смешение выражения и контекста, последний перестает быть ключом к психологическому состоянию. Фактически выражение оказывается свободно плавающим означающим, лишенным специфического означаемого.

Противоречивые цели. Наконец, убежденность в существовании внутреннего пространства ставит под сомнение усиление противоречий в определении того, зачем используется подобный дискурс и какие ценности лежат в основе допущений относительно психических процессов. Благодаря тому, что технологии позволяют все большему количеству людей общаться друг с другом и озвучивать общие мотивы (пример – феминистки, черные, азиаты, старики, инвалиды, гомосексуалисты, коренные американцы и т. д.), такие группы начинают критически воспринимать само собой разумеющиеся словари культуры и их репрессивные эффекты. В результате этой критики выявляются стратегии и даже манипулятивные цели, которым служат специфически ментальные предикаты. Различные меньшинства также затронули важные вопросы, касающиеся презумпции общих коэффициентов интеллекта, феминистки подвергли критике андроцентрические основания доминирующей концепции рациональности, бывшие пациенты психиатрических клиник выступили – при поддержке многих семейных терапевтов и консультантов – против существования психических болезней, а множество западных ученых показали империалистические последствия экспорта западной концепции психологической науки и характерного для нее словаря психического функционирования. По мере того как ментальные категории подвергаются критике, и то, что они служат индикаторами психологических состояний, берется под сомнение, а их идеологическая и политическая роль становится прозрачной, оказывается все более непонятным, действительно ли эти термины обладают референциальной ценностью. Если любые психологические пропозиции – это замаскированная идеология, тогда каков онтологический статус сознания?

В заключение скажем, что с ростом количества, эффективности и

распространенности технологий человеческого взаимодействия мы сталкиваемся с постоянно расширяющимся порядком альтернативных смыслов. Смещение этих смыслов порождает новые дискурсивные волны и ведет к трансформации социальных паттернов. Эти изменения проблематизируют принятый словарь психического мира, ставят под вопрос общие модальности выражения, делают двусмысленными контексты выражения и открывают возможность критики целей, которые преследуют указанные допущения. Стечение меняющихся обстоятельств делает все более трудным точное определение того, каким может быть содержание психологического Я, какие действия являются его выражением, где и когда они случаются и какие социальные цели может преследовать дальнейшая вера в подобные случаи. Зачем тогда делать столь многочисленные инвестиции в познание, защиту и совершенствование внутреннего мира или в самоидентификацию на основе соответствующих терминов? В какой-то момент вера во «внутренний мир» становится подозрительной, существование субъективного центра бытия рисуется проблематичным, а институты, оправдываемые этими допущениями, оказываются объектами критики.

ПО ТУ СТОРОНУ НИГИЛИЗМА: К ОТНОСИТЕЛЬНЫМ РЕАЛЬНОСТЯМ

Я не утверждаю, что большинство людей отказалось от психологического эссенциализма, долгое время бывшего особенностью нашей культуры и основной ее традицией. Скорее, я обращаю внимание на то, что видится мне как медленный, но глубокий поворот в XX в., о котором свидетельствует масса событий, например, академическая интрига с деконструкцией Я (Деррида), исчезновением автора (Фуко), индивидом как терминалом в сети циркулирующих образов (Бодрийяр) и женщиной как киборгом (Харауэй). Культурные изменения проявляются в постепенном замещении реальных людей электронными импульсами (например, дружба посредством компьютерных сетей, увлеченность или очарованность телевидением, получение сексуального удовлетворения по телефону); в уже проводящейся замене конечностей, органов, кожи и т. д. техническими устройствами; в неубывающем восхищении виртуальными реальностями, киберпанком и хаотичным потоком MTV-картинок; а также в повсеместном скептическом отношении к психиатрии и отказу от «словесных лекарств» ради многомиллионного психофармакологического бизнеса. Я наблюдаю довольно амбивалентное отношение к реальности и значимости внутреннего мира. Эта амбивалентность, можно ожидать, вызовет всеобщий скептицизм. Следующим шагом, очевидно, будет психологический нигилизм, от которого нас пока удерживает страх омертвело-го и пустого существования. Если ничего нет, тогда кто

я такой, чего я хочу, почему я должен жить? Проще погрузиться с головой в лавину поступающих извне импульсов, чем задаваться столь ужасными вопросами.

В то же время, я думаю, мы можем немного отсрочить этот печальный конец. Для начала следует отказаться от сравнения полного Я – насыщенного психологическими ресурсами – и пустого Я. Более обещающим было бы противопоставление Я (полного или пустого) и отношений. Если мы перестаем искать в людях некие осязаемые центры, автономные и самодостаточные, то можем обратить свое внимание на реальность отношений, формы взаимозависимости, а не независимости. Это уже культурный поворот коперниковского масштаба – от положения Я в качестве центра социального мира к рассмотрению отношений как первичной реальности, интегральной частью которой является Я. Но не есть ли реальность отношений лишь пустая спекуляция – кролик, извлеченный из цилиндра постмодернистского отчаяния? Мне так не кажется. Я считаю, что чувствительность к отношениям уже проявляется в многочисленных симптомах. В качестве иллюстрации этой возможности и ее потенциала можно взять одно значимое движение, разворачивающееся сейчас в академической сфере, а затем открыть концептуальное пространство, которое соотносится с широкими культурными тенденциями.

Многих исследователей не удовлетворяют культурные последствия представления о Я как фундаментальном атоме социальной жизни, центральной единице описания и объяснения в социальных науках, а также в наших образовательных, правовых, религиозных и других институтах. По их мнению, неизменный акцент на самодостаточности индивида дает дорогу этосу нарциссизма (установке в социальной жизни «я-в-первую-очередь»), толкает к соперничеству всех со всеми, препятствует попыткам понимания других людей (психические миры которых определяются как далекие и недоступные), наделяет отношения вторичным статусом (как искусственные конструкции, состоящие из более базисных элементов – единичных идентичностей) и благоприятствует чувству изоляции и отчаяния¹. При этом доказывается, что идеология самодостаточного индивида бесполезна в мире, где технологии коммуникации делают нас все более взаимозависимыми. Мы не можем позволить себе роскошь подобной идеологии в контексте, в котором ни одно наше действие не обходится без социальных последствий.

Именно на почве критического осмысления сегодня предпринимаются новые попытки пересмотреть психологическое пространство как социальное. Отчасти это желание инициировано идеей Выготского о высших психических процессах и в некоторой степени – постструкту-

¹ Для иллюстрации этого критического обсуждения см. работы Беллаха [5], Лэша [13] и Сэмпсона [17].

ралистской литературной теорией. Что касается Выготского, то он делает сильный акцент на том, что психические процессы – это те же социальные процессы, только перенесенные внутрь. Человек осуществляет психический процесс, называемый нами «мышлением», в рамках сообщества, в котором он социализируется. В таком случае мышление, если понимать его радикально, представляет собой участие в отношениях. Эта идея сегодня разрабатывается Брунером [7], Верчем [18] и многими другими. На другом полюсе находится постструктуралистская теория, которая в основном обращается к символическим системам и коллективным семиотическим практикам, в которых вырабатываются и поддерживаются значения. Символические системы являются истинными культурными манифестациями, предшествующими индивиду. «Значить» в этом смысле – это участвовать в серии сформированных отношений, т. е. опять же отношения располагаются до индивидуальности.

В последние годы социальные конструкционисты, аналитики дискурса и теоретики коммуникации начали непосредственно осуществлять реконструкцию различных процессов (которые, по общему мнению, происходят «в психике» индивида) как составных элементов отношений. Например, Мидлтон и Эдвардс [14] считают, что такой процесс, как память, – часто трактуемый как биологически заданная и универсальная функция индивида – скорее следовало бы рассматривать как форму социального действия, т. е. как результат социальных переговоров, соглашений и следования культурным правилам. Поттер и Уэверелл [15] полагают, что аттитюды, долгое время считавшиеся основой действий, сами являются действиями, в частности, дискурсивными позициями, занимаемыми в разговоре. Биллиг [6] показывает, что «мышление» можно рассмотреть как процесс участия в социальных практиках аргументации, эффективность которых зависит от риторических навыков. Наконец, в нашей совместной работе с Мэри Джерджен мы демонстрируем, что эмоции обязательно являются составляющими более широких сценариев взаимодействия [12]. Без сценария сложная форма социального ритуала, которую мы называем «эмоциональным выражением», не имела бы культурного смысла.

ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ОТНОСИТЕЛЬНОМУ ВОЗВЫШЕННОМУ

Названные выше тексты позволяют ощутить реальность отношений как нечто осязаемое. Чем эффективнее подобная артикуляция, тем скорее мы должны понять, что относительный способ существования может стать, по меньшей мере, столь же привлекательным, как и наша традиционная вера в психологическую идентичность. Именно в таком контексте я бы хотел, в этом заключительном параграфе, взять

на себя смелость выявить и описать пределы этой артикуляции. То есть я хочу, обратившись к ряду научных, литературных и поэтических традиций, очертить некоторое семиотическое пространство, которое позволит нам обозначить и осмыслить нашу деятельность в терминах фундаментальной относительности. Я осознаю, что это не совсем традиционная для социальных наук модальность исследования, но когда мы вступаем в мир «бесконечного семиозиса», когда мы начинаем проблематизировать границы дисциплинарных способов выражения, становится ясно, что устоявшиеся дискурсивные традиции мешают нам реализовывать наши модели отношений друг с другом. Если перефразировать Витгенштейна, наши языки определяют границы наших относительных миров. Поэтому я надеюсь, что могу ненадолго дать волю своему идиосинкразическому импульсу, уповая на то, что новое дискурсивное и относительное основание может быть вскрыто.

Я хочу придать новую жизнь и новый смысл понятию, которое было частью западной традиции, по крайней мере, в течение 18 столетий и которое возникало в различные периоды нашей истории в разных значениях и формах. На мой взгляд, это понятие – понятие «возвышенного» – может быть снова взято на вооружение и способно сыграть важную роль в современном мире. Хотя возвышенное и понималось по-разному в тот или иной период времени, оно всегда указывало на некую энергию или силу, находящуюся за гранью и предшествующую человеческой способности рациональной артикуляции. Так, греческий критик I в. н. э. Дионисий Лонгин в своих работах пытался обнаружить источник «великих произведений», который «могущественно и непреодолимо» [3, 6] воздействует через письменное (или устное) слово. Истоком великого произведения были не слова, а нечто неизречимое в авторах, что они несли с собой или выражали. Это была сила возвышенного, сила, которую Лонгин выводил из «величия души» [3, 17], осененной природой.

Труды Лонгина были заново открыты в XVII в. и породили огромное количество изысканий в области эстетики, как правило, в дискурсе «сверхчеловеческого» – чего-то необъятного, внушающего благоговение, а в случае Эдмунда Берка [1] – чистый ужас. Для Канта, пытавшегося противостоять могуществу материалистического эмпиризма, возвышенное было определенным состоянием ума, в котором изображение преодолевает «недостигаемость природы как изображения идей [разума]» [2, 138]. У поздних романтиков – Уордсворта, Кольриджа, Шиллера – ощущение возвышенного вызывали природные крайности – их великолепие, сила и ужас, которые ставили под вопрос конвенциональные значения, т. е. вызывали переживание некоего трансцендентального порядка значения, располагающегося по ту сторону переходящего и само собой разумеющегося. Для американских авторов, например, Ральфа Уолдо Эмерсона, возвышенное являло собой эк-

стаз освобождения, при котором автор «не будет противиться... неземным токам, даст им войти в него и жить в нем... он – пленник жизни Вселенной» [4, 262].

Быть может, эти высказывания обозначают возможность существования мерцающего ощущения чего-то за пределами наших слов, дающего им власть, чего-то за пределами разума, заставляющего его осознать свою узость. И если существует сила, дающая форму нашим словам и всему, что имеет смысл, то эта сила превосходит «все известное». То, что мы считаем существующим, конструируется в языке, который открывает способность отделять то от этого, меня от вас, верх от низа. Утверждение, что «... существует», имеет место в лингвистическом пространстве. Но если все, что мы полагаем существующим, нельзя вывести из независимого от языка мира, то как мы должны понимать формы, которые принимает наше понимание? Мы сталкиваемся с чем-то безымянным, с «силой», «энергией», «предназначением», неподвластными артикуляции. Мы сталкиваемся с возвышенным.

Но несмотря на то, что область возвышенного нельзя выразить в языке, мы все же способны оценить ее. Как звуки и линии превращаются в то, что мы называем языком? Как язык обретает смысл? Ответы на эти вопросы требуют обращения к исходным процессам отношения – пульсирующей координации движений и звуков, – которые постепенно трансформируют аморфное в осмысленное. Но что придает языку смысл вне отношений? Если мы восхищены силой определенного письменного фрагмента, то причина здесь не в предполагаемом «внутреннем величии души» (по Лонгину), а в процессе отношения, который позволяет данному фрагменту захватить нас. Поэтому истоки «благоговения», «вдохновения» или «ужаса» следует искать не в природе (как поступает Уордсворт) или человеке (как поступает Эмерсон), а в непостижимых процессах отношения, которые делают возможным рождение смысла. Способность наделять слова жизнью и тем самым преобразовывать культуру лучше выводить не из внутренних источников, а из отношений, которые служат началом любой артикуляции, в то же время оставаясь недоступными ей. Иными словами, мы открываем возможность нового порядка возвышенного, приспособленного к техномиру постмодерна, – относительного возвышенного.

Способно ли сознание относительного возвышенного существовать вне мира букв? Я думаю, да. Доказательством тому служат многочисленные культурные артефакты. В качестве примера можно привести тенденции в сфере популярной культуры: во-первых, безумное количество телевизионных постановок и кинофильмов о семьях («Уолтоны», «Простак из Беверли-Хилз», «Билл Косби», «Симпсоны», «Замужем за детьми»), и во-вторых, появление жанра так называемых «фильмов о друзьях» («Буч Кессиди и Санденс Кид», «Меняясь местами», «Тельма и Луиза», «Короли мамбо», «Белые не могут

прыгать»), повествующих о взаимозависимости двух людей, одного или противоположного пола. Кроме того, значительное расширение горизонтов отношений позволяет часто вместо одного протагониста – героя или героини – рассказывать кино- и телеистории о небольших группах («Зачарованный апрель», «Летний дом», «Городские пижоны», «Аплодисменты», «Хилл Стрит Блюз») и целых сообществах («Делай правильные вещи», «Остров Гиллигана», «Лодка любви», «Лицом на север»). Исследователи женских журналов также отмечают [16], что в 1950-х и 1960-х гг. статьи в них ориентировались на интерес к партнерам по отношениям или к себе. В 1970-х и 1980-х гг. рождается новый подход; теперь вниманию читателей представляются собственно «отношения».

Я думаю, что ощущение относительного возвышенного все больше проникает в наш повседневный опыт. Когда пришедшие на концерт люди переживают прилив энергии и радость от совместного приобщения к рок- и поп-музыке; когда огромная толпа собирается, чтобы поприветствовать команду-чемпиона; когда масса людей приходит на Вашингтонский мол, чтобы воспеть общее дело, и когда геи устраивают ежегодный парад в Сан-Франциско, – все они знают, что участвуют в событии, которое важнее любого из его участников. Я думаю, что мы приближаемся к переживанию относительного возвышенного, когда щелкаем по кнопке на компьютерной доске объявлений и добавляем свою реплику в бесконечный разговор. Оно проявляется в совместной деятельности на занятиях, в кооперативных научных проектах и общественных дежурствах. Мы также сталкиваемся с возможностью относительного возвышенного по мере роста числа и размеров мультинациональных организаций, расширения торгового сотрудничества между регионами Европы и Северной Америки и усиления зависимости национальных правительств от международного мнения. Чем раньше мы утратим идентичность, тем скорее мы будем готовы вступить в реальность, обладающую гораздо более богатым потенциалом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Берк Э. Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного / Пер. с англ. Е. С. Лагутина. М., 1979.
2. Кант И. Критика способности суждения / Пер. с нем. М. Левиной. М., 1994.
3. О возвышенном / Пер. с греч. Н. А. Чистяковой. М., 1994.
4. Эмерсон Р. У. Поэт / Пер. с англ. А. Зверева // Эмерсон Р. Эссе. Торо Г. Уолден, или Жизнь в лесу. М., 1986.
5. Bellah R. N. et al. Habits of the heart: individualism and commitment in American life. Berkeley, 1985.
6. Billig M. Arguing and thinking: a rhetorical approach to social psychology. London, 1987.

7. *Bruner J.* Acts of meaning: four lectures on mind and culture. Cambridge, 1990.
8. *Fiske J.* Understanding popular culture. London, 1989.
9. *Gergen K. J.* Metaphor and monophony in the history of emotional discourse // Psychological discourse in historical perspective / Ed. by C. F. Graumann and K. J. Gergen. New York, 1996.
10. *Gergen K. J.* Realities and relationships: soundings in social construction. Cambridge, 1994.
11. *Gergen K. J.* The saturated self: dilemmas of identity in contemporary life. New York, 1991.
12. *Gergen K. J., Gergen M. M.* Narrative and the self as relationship // Advances in experimental social psychology / Ed. by L. Berkowitz. New York, 1988.
13. *Lasch C.* The culture of narcissism: American life in an age of diminishing expectation. New York, 1979.
14. *Middleton D., Edwards D.* Conversational remembering: a social psychological approach // Collective remembering / Ed. by D. Middleton and D. Edwards. London, 1990.
15. *Potter J., Wetherell M.* Discourse and social psychology: beyond attitudes and behaviour. London, 1987.
16. *Prusank D. T., Duran R. L., DeLillo D. A.* Interpersonal relationships in women's magazines: Dating and relating in the 1970s and 1980s // Journal of social and personal relationships. 1993. Vol. 10. № 3.
17. *Sampson E. E.* Psychology and the American ideal // Journal of personality and social psychology. 1977. Vol. 35. № 11.
18. *Wertsch J. V.* Vygotsky and the social formation of mind. Cambridge, 1985.

УПАДОК И КРУШЕНИЕ ЛИЧНОСТИ¹

Мы слушаем, как Джордж Буш произносит речь, но знаем, что ее сочинила команда экспертов. Мы видим кандидатов в президенты, столь искренних и уверенных в себе, но понимаем, что требуются многие часы подготовки, чтобы производить подобное впечатление. Нас интересует их личная жизнь и то, сколько времени требуется, чтобы ошеломляющие откровения попали в прессу. На различных ток-шоу мы слышим, как «откровенничают» звезды, однако осознаем, что даже самые душераздирающие их секреты рассчитаны на продвижение карьеры. Слушая выступление чиновника на ежегодном собрании, мы знаем, что каждая деталь его одежды должна оказывать воздействие, каждое слово призвано убеждать. Наблюдая за тем, как профессор читает лекцию, мы понимаем, что даже небрежный костюм и неформальные манеры тщательно продуманы.

Многие из нас верят в то, что где-то за всеми этими масками скрывается реальная личность, что все эти ролевые игры – лишь фикции. Мы можем также верить в то, что ради благополучия общества и себя самих мы должны прекратить разыгрывать роли и стать такими, какие есть на самом деле. Но если вы случайно начинаете сомневаться в том, что за фальшью спрятано подлинное Я, и ощущаете, что маска, возможно, и есть настоящее лицо, что «имидж – все», то вступаете в новый мир постмодернистского сознания.

Двадцать лет назад мне было сделано почетное предложение написать центральную статью для журнала «Психология сегодня», в которой я обрисовал многочисленные маски, которые мы должны надевать, сталкиваясь с вызовами повседневной жизни. Вместо того чтобы считать личностное непостоянство и непоследовательность основанием для тревоги и, возможно, причиной применения терапии, я обратился к их позитивным возможностям. Отказавшись убеждать людей стремиться к устойчивой и фиксированной идентичности, я представил ее как ограничивающую и во многих отношениях несостоятельную. Я полагал, что те, кто демонстрирует разносторонность и гибкость, более здоровы и более полноценны.

Статья была провокационной; ее несколько раз переиздавали как в Соединенных Штатах, так и за рубежом; она даже стала темой телепередачи. Очевидно, я коснулся больных вопросов, подвергнув сомнению традиционную ценность нерушимого ощущения самотождест-

¹ Ориг. опубли. в журн.: *Psychology today*. 1992. Vol. 25. № 6. – *Примеч. пер.*

венности, понимания того, чему и кому я предан. В то же время многие читатели проявили любопытство или испытали облегчение; многие чувствовали ограниченность старых добродетелей последовательности и подлинности.

Поскольку эти вопросы играют заметную и важную роль в нашей жизни, я продолжил размышлять над ними. С одной стороны, выступая за фиксированную идентичность, мы также выбираем устроенные и предсказуемые жизненные пути, надежность, долгосрочные обязательства и чувство безопасности и спокойствия. Нас приводит в ужас одна только мысль о том, что все это может исчезнуть. Но мы не живем больше в мире, который придает наивысшую ценность этим способам жизни, и даже если это приносит боль, мы должны все время ставить под вопрос адекватность прошлых традиций вызовам настоящего. Это уже теперь, задним числом, я вижу, что мои интересы двадцатилетней давности были частью более широкой культурной истории – одной из глав повести, персонажами которой все мы являемся.

В этой повести рассказывается о культурных преобразованиях, достигших сегодня небывалого размаха, преобразованиях, избежать которые у нас мало шансов. Это также повесть о том, что все мы утрачиваем свои идентичности, а также последовательную и преданную жизнь, сопутствующую им. Но, быть может, если мы окажемся достаточно мудры и удачливы, то все же сумеем написать историю со счастливым концом. Мы уберем себя, если откроем свою сущностную связь с другими.

Для начала посмотрим, в каких компонентах нуждается централизованная идентичность. Что скрепляет личность, придавая ей заданное направление? Подобный вопрос сложно осмыслить в вакууме – в отрыве от культурного языка самопонимания. У нас нет иного выхода, кроме как положиться при ответе на совокупную мудрость прошлого. Мне кажется, сегодня мы являемся наследниками двух основных традиций. Обе пользуются влиянием, обе способствуют ощущению сильной и стабильной идентичности и обе теперь под угрозой.

Первая из них – *романтическая* традиция, которая достигла своего расцвета в прошлом столетии. В значительной степени именно романтической традиции мы обязаны своей верой в глубинное и неизменное ядро идентичности, ядро, в котором заключен сам дух жизни. Поэты Шелли, Китс и Байрон; композиторы Бетховен, Брамс и Шопен; множество философов, живописцев, архитекторов, богословов и др. нарисовали яркий портрет романтического Я. Оно представляет собой захватывающую сумму могучих сил, скрытых под поверхностью сознания, в самой глубине человеческого бытия.

Когда-то эти силы определили индивида, дав ему необходимое основание для существования. Одни считали эти силы душой, другие видели в них кипящие страсти, некоторые представляли их себе тем-

ными и опасными. Однако эти силы неизменно были необычными, и их проявление (в преданной любви, верности и дружбе) виделось достоинством, если не подвигом. Сила этих страстей была такова, что человек способен был испытывать настолько глубокую печаль при потере любимого, настолько сильную тоску и муку, что самоубийство могло бы показаться ему привлекательной возможностью. Глубинный внутренний мир также считался источником вдохновения, творчества, гениальности, морального мужества, даже безумия.

Романтизм по-прежнему широко представлен в культуре. Он жив в повседневном мире: в популярных песнях, телевизионных «мыльных операх» и эпических фильмах. Без романтического словаря были бы по большей части невозможны ухаживания, свадьбы и похороны. И если нас спросят, почему мы считаем, что наша жизнь достойна того, чтобы ее прожить, большинство станут говорить о глубинных жизненных силах.

Романтические представления продолжают занимать также прочные позиции в психотерапевтических кругах. Теории Фрейда и Юнга, например, являются детищами романтической традиции. Если бы не поэтические и художественные предшественники, то вера Фрейда в динамику бессознательного и стремление Юнга к поиску первичных архетипов оказались бы бессмысленными. Когда современные терапевты говорят о тенденциях самоактуализации, первородных криках, катарсисе, защитных механизмах и ребефинге, они не дают угаснуть романтическому огню. Они делают реальным глубинный внутренний мир Я.

Но для большинства роман с романтизмом уже закончен. Исследователи культуры в общем сходятся в том, что романтизм потеснили такие перспективы, способы жизни и концепции Я, которые мы сегодня называем *модернистскими*. Как культурное движение модернизм берет свое начало главным образом в индустриализации, мировых войнах и научных открытиях.

Восхищение теперь стал вызывать не глубинный внутренний мир индивида, а перспективы и возможности, которые открывают технологии. Настало время «заняться делом» и «идти в ногу с прогрессом». Казалось, ученые начали управлять фундаментальным порядком вселенной – покоряя энергию, овладевая возможностью летать, леча болезни и наполняя дома восхитительными и удобными устройствами. Глядя на такое всемогущество, можно было действительно решить, что наконец-то построен мир Утопии.

На волне всеобщего оптимизма философы решили разработать правила процедуры, с помощью которой подобного прогресса могла бы достигнуть любая культура. Рациональный поиск оснований позволил композиторам отвергнуть популярные конвенции и обратиться к тональным экспериментам, вдохновил балетмейстеров на отказ от

балета и выявление элементарных движений (что называется теперь современным танцем), стимулировал поэтов к тому, чтобы в стихах отдавать приоритет формальным моментам, а не чувству. Модернистская архитектура стремилась свести дизайн к наиболее функциональным элементам, тогда как искусство модерна отказалось играть декоративную роль и занялось поисками сущности формы и цвета.

В модернизме Я начало постепенно переопределяться. Акцент сместился с глубинных и тайных процессов на человеческое сознание здесь и теперь. Глубинный внутренний мир романтика перестал казаться таким уж важным; разговоры о душе, страстях, моральном мужестве и вдохновении начали восприниматься как причудливые и лишние для существования в материальном мире. Для выживания в этом сложном мире модернист нуждался в осознанной способности внимательного наблюдения и тщательного размышления. Эти качества и позволяют осуществлять прогресс.

Если романтики помещали в центр существования драму, страсть и глубину, то модернисты ценили эффективность действия, ровное и стабильное функционирование, а также достижение цели. Различие установок в отношении любви в этом смысле показательно. Для романтиков любовь была всепоглощающей, ради нее жили (или умирали), она была непредсказуема и из-за нее можно было дать обет верности на всю жизнь или навечно. Модернист разрабатывает технологию выбора партнера с помощью компьютерного программного обеспечения. Опросники на совместимость заняли место любви, напоминающей удар молнии.

Модернистские представления о Я сегодня доминируют в профессиональной психологии. Большая часть исследований строится на том предположении, что психологи могут использовать свои умения наблюдать и рассуждать, чтобы управлять основами человеческого функционирования. Здесь, по определению, нет никаких таинственных резервуаров, души, вдохновения и злых сил, которые скрыты в глубине индивида.

Наоборот, для современных психологов люди во многом похожи на машины с системой ввода/вывода: то, что они делают, зависит от того, что поступает. Главный психологический ингредиент Я – мышление или познание. А познание, в свою очередь, тоже машиноподобно и оперирует как компьютер. Предполагается, что с ростом умения предсказывать и контролировать человеческое поведение можно будет создавать такие программы, которые смогут менять и исправлять индивида. При помощи социальной инженерии правильные личности можно будет изготавливать словно автомобильные моторы. Если индивиды станут давать сбои, терапевты, наподобие механиков, будут снова налаживать их. Практика модификации поведения и когнитивная терапия – главные технологии исправления – определяют Я в модернистских идиомах.

Однако есть серьезные основания полагать, что модернизм, продолжая доминировать, сегодня постепенно распадается как культурное движение. Уже обозначились новые культурные условия, которые многими характеризуются как *постмодернистские*. Под подозрение в качестве исходных моментов человеческого существования попадают не только душа, страсть и творческий потенциал, но и рациональное мышление, а также эффективный контроль собственных действий. Мы неодолимо теряем веру в то, что позади маски кроется последовательная, идентифицируемая субстанция. Чем пристальнее мы всматриваемся, тем труднее понять, «кто дома».

Какова движущая сила перехода к постмодернизму? На мой взгляд, центральным ее компонентом является технология, точнее говоря, набор технологий, которые обрушивают на нас лавину социальных отношений, как прямых, так и опосредованных. Телефон, автомобиль, радио, телевидение, кино, массовая печать, ксерокс, магнитофон, городской транспорт, национальная система шоссеиных дорог, сверхзвуковые перелеты, спутниковая связь, видеомангитофон, компьютер, факс и мобильный телефон – все эти вещи появились в XX в., причем по большей части за последние 50 лет. Они стремительно распространились и стали стандартным снаряжением нормальной жизни.

При этом они расширяют диапазон нашей социальной жизни. Наше социальное существование больше не привязано к сельскому поселку, пригородной общине или городскому кварталу. Просыпаясь под «Доброе утро, Америка», читая газеты, слушая ток-шоу по радио, отправляясь на работу за несколько миль, встречаясь с людьми со всего земного шара, отвечая по факсу и электронной почте, отвозя детей на общегородские игры, проверяя автоответчик, звоня в отдаленные уголки, навещая старых друзей за городом, заказывая билеты на самолет до Кариб и поздно вечером переключая каналы кабельного телевидения, мы беспрепятственно потребляем социальный мир и потребляем его им. Мы сталкиваемся с большим числом мнений, ценностей, личностей и способов жизни, чем любое другое поколение в истории; количество наших отношений быстро растет и их варианты неисчислимы: прошлые отношения продолжают жить (на расстоянии телефонного звонка), а новые лица тут же забываются. Короче говоря, произошел взрыв социальных связей.

Какое влияние этот взрыв оказывает на наше самоощущение, ощущение того, кто мы такие и что мы считаем главным? Каким образом он разрушает веру в романтический внутренний мир или в рациональный центр Я?

Во-первых, происходит *заселение Я*, т. е. Я впитывает в себя других. Без конца встречаясь с другими, мы быстро расширяем диапазон оценок, пониманий и возможностей действия, доступных нам. Под влиянием друзей, знакомых, родственников, средств массовой инфор-

мации и др. мы начинаем видеть и чувствовать множество различных, в том числе противоположных, возможностей существования.

Мы допускаем гомосексуальность, одновременно признавая обоснованность возражений против нее; нас побуждают испытывать гетеросексуальные влечения и одновременно рассматривать себя способными как на гомосексуальные побуждения, так и на гомофобные реакции. Вследствие этих тенденций мы также начинаем понимать и рациональность гермафродитизма – выраженности характеристик обоих полов, – и различные аргументы против выпячивания гендерных различий. Нас населяет множество потенциальных личностей, каждая из которых обоснована и достойна в соответствии с определенными критериями, в определенных отношениях, в определенном контексте. Где в этой мешанине подлинное Я, истинные чувства или рациональное ядро? Перефразируя поэта Уолта Уитмена, можно сказать: «Мы включаем множества».

Ощущение централизованного Я также начинает распадаться под действием *требований многочисленных аудиторий*. В одной замечательной сцене из фильма «Багси» кровожадный гангстер (в исполнении Уоррена Битти) отчаянно носится из одной комнаты своего особняка в другую. Едва переводя дыхание, он разыгрывает роль приветливого хозяина на вечеринке по случаю дня рождения своей дочери, затем бросает ее, чтобы уверить сомневающуюся жену в искренней преданности, после чего он эффектно появляется в соседней комнате, чтобы своим развязным видом произвести впечатление на приятелей-гангстеров, и все ради того, чтобы успеть на окончание вечеринки своей дочери. Когда мы смеемся, жалея и презирая этого бедолагу, мы одновременно смеемся над собственной жизнью, потому что социализирующие технологии возводят громадный особняк, полный конфликтующих требований для каждого из нас.

Посмотрите на того сегодняшнего беднягу, который обязан в одно и то же время проявлять профессиональную ответственность, мягкую и романтическую чувственность, мужскую твердость и преданность семье; он должен разбираться в спорте, политике, программном обеспечении, рынке ценных бумаг, механике, еде и вине; у него должен быть круг друзей, фитнес-программа, правильные компакт-диски, интересные планы на отпуск и внушительный автомобиль – если он, конечно, желает выжить во все более сложном мире. Подобно Багси Сигелю он стремительно перебегает из одной ситуации в другую, меняя манеры, одежду, меру активности, взгляды и ценности. Где в этом хаосе конкурирующих личностей следует ему поместить истинного и реального человека, прячущегося за масками?

Третий способ, которым социализирующие технологии подрывают веру в глубинные или сущностные Я, – *повторение образов*. Бесчисленные репродукции наших способов жизни постепенно лишают их подлин-

ности. Рассмотрим случай любовного увлечения. Согласно традиционным стандартам проявления любви, страсти и желания должны представлять собой спонтанные всплески базового Я – энергетические импульсы, которые внезапно вырываются наружу. А теперь вспомните, сколько раз вы сталкивались с этими проявлениями в телевизоре, начиная с четырехлетнего возраста и до нынешнего дня, в фильмах, книгах и журналах, в рассказах друзей и, конечно, в своей собственной жизни. Вам известны все слова, все движения глаз и рта, все жесты и позы.

От этих бесконечных повторений аутентичность становится все более призрачной. Сущность постепенно превращается в стиль. Мы перестаем доверять романтическим выражениям, слова застревают в горле. «Где я? В Голливуде? В мыльной опере? В подростковом романе?» И то же самое происходит со всеми остальными дорогами нам проявлениями – религиозной преданностью, печалью, радостным воодушевлением, политическим протестом. При постоянном повторении реальность становится риторикой.

Но, может быть, это еще один способ пожаловаться на печальное состояние современной жизни? Не совсем так. Да, в этом присутствует доля сетования на то, что мы перестали верить во внутреннюю тайну, страсть или вдохновение; что мы больше не являемся авторами своей жизни, не знаем, кто мы, что мы отстаиваем или куда мы идем; что разум отныне не правит нами; что расширение отношений превращает спокойные дни в хаос; что близость становится ритуалом, а верность – прошлогодним пережитком.

Но жалуясь, мы лишь показываем, что наши корни – в прошлом. Если бы мы по-прежнему не придерживались романтической веры в глубинный внутренний мир, стали бы мы беспокоиться о том, что идеи страсти и вдохновения позабыты? И если бы мы не цеплялись за модернистскую идею рационально организованной жизни, был бы хаос проблемой?

Наши дети едва ли испытают те трудности, которые испытываем мы; им будет непонятно, зачем так носиться с реальным, истинным или внутренним Я. И хотя мы переживаем эти трудности, существуют веские доводы в защиту расширения наших горизонтов, потому что от технологий, насыщающих нас другими, не скрыться. Часы культуры не повернуть вспять. И это при том, что, как заявляют многие ученые, социализирующие технологии находятся еще в зачаточном состоянии.

Стоя на пороге будущего, рассмотрим некоторые позитивные возможности постмодернистской жизни. Распространяющиеся технологии безгранично расширяют возможности человеческого развития. Каждое новое отношение является одновременно шансом, дверью, открытой для роста способности выражения, понимания, умения.

Это особенно заметно в случае молодых женщин. Полвека назад имела лишь одна эталонная модель, в соответствии с которой жен-

щины могли измерять ценность своей жизни: преданная жена и мать. Ограничения, налагаемые на выражение, поиск и развитие, были жесткими и репрессивными. Сегодня этот образ – лишь один из многих. И хотя повседневная жизнь может приносить массу конкурирующих требований, каждая новая черточка в личности – это также новое измерение. Наиболее прекрасные моменты могут даже вызывать опьянение и волнующее ощущение: «Смотри, что я могу делать, чем я могу быть, что я могу видеть, чувствовать и знать!» В такие моменты никто не беспокоится о непоследовательности и несогласованности, никого не интересует, что скрывается за поступками. Мы участвуем в игре, и этого достаточно.

Мы испытываем удовлетворение от постоянных и временами восхитительных открытий. Эти открытия не только обнаруживают новые грани Я, но и позволяют вновь пережить прошлое. В романтическую и модернистскую эпохи нужно было постоянно заботиться об истинности и подлинности: действительно ли это то, что я чувствую, что я думаю, что я есть? Если ответ был «нет», определенные, мешающие планам стратегии избегались. Но если мы прекращаем ставить подобные вопросы, то в принципе ничто не отбрасывается. Прекращая верить в то, что существует некий глубинный и конечный критерий, некое логическое правило или некая внутренняя сущность, с которыми надо соотносить поступки, мы можем свободно играть в разные игры, предлагаемые как родной культурой, так и другими.

Романтизм с его разговорами о душах, страстях и вдохновении в модернистскую эпоху во многом утратил свою жизненность; для рационального и объективного сознания подобные разговоры выглядели своеобразным фольклором. Социализирующие технологии еще сильнее подорвали нашу веру в эти измерения Я. Романтические страсти столь же причудливы, как старые фильмы. Однако с постмодернистской точки зрения подобные действия тем не менее являются важным элементом одной из наших наиболее высоко ценимых традиций. Мы можем быть романтиками не потому, что это отражает наше истинное внутреннее ядро, не потому, что это вопрос жизни и смерти, а из-за того, что для нас это один из способов участия в особой форме отношений, предлагаемой нам нашей культурой. Мы можем петь в хоре или играть в американский футбол по воскресеньям не потому, что эти действия «выражают наше истинное Я». Скорее, эти действия являются частью отношений и отсюда обретают ценность.

Если постмодернистская жизнь более богата в плане выражения, то она также менее Я-центрирована. Вера в единичное, последовательное и устойчивое Я может быть тесно связана с алчностью, самооптацией и эгоизмом. «Если мое Я отделено от вашего, – говорит логика, – тогда мне мое благополучие дороже вашего». Но с распространением социализирующих технологий вера в самостоятельного, независимого

индивида угасает. Мы все больше осознаем, что все наши выражения, верования, ценности, мысли и желания унаследованы нами от других людей; это скромные дары, которые они среди прочего оставили нам.

Конечно, мы можем быть уникальными и никогда в точности не повторять эти выражения. Но уникальность не самодостаточна, наоборот, она отражает конкретные формы наших отношений. «Я – это вы во мне, – понимает человек, – а вы – это я в вас. Мы едины». С рождением такого сознания эгоизм становится бесполезен. Сохранять свое лицо, стремиться стать богаче, интересоваться исключительно собой – значит лишать себя истоков самой своей возможности. Если я *против* вас, то для меня недоступно то, что питает мое воодушевление, обогащает мой потенциал и наделяет мою жизнь смыслом. Погребенный под осадком прошлых отношений, «я» бы медленно исчез.

Когда мы переносим внимание с внутреннего мира Я вовне, на отношения, к нам возвращается оптимизм. Мы существуем в обществе, изобилующем конфликтами – между расовыми и этническими группами, религиями, профсоюзами и правительством, мужчинами и женщинами, богатыми и бедными, сторонниками и противниками абортот и пр. Похожая картина наблюдается и на глобальном уровне, где арабы и евреи, мусульмане и индуусы, черные и белые, имущие и неимущие противостоят друг другу. Все эти конфликты основаны на одной логике: каждая группа полагает, что является единственной, закрытой и независимой, и что она должна отстаивать свои права, привилегии и благополучие перед лицом противоборствующей группы. То есть межгрупповые конфликты основываются во многом на том же ходе мыслей, что традиционно окрашивал наше восприятие Я.

Если социализирующие технологии способны сломать ощущение независимого Я, не следует ли ожидать, что настанет время, когда то же самое может случиться на национальном и международном уровнях? Поскольку технологии усиливают наши контакты с теми, кто представляет другие слои общества, другие системы ценностей и другие культуры, мы можем расширять дальше наш диапазон пониманий и оценок. Налаживая отношения в бизнесе, управлении, образовании, искусстве и т. д., мы можем развивать наше чувство взаимозависимости. Разве не впитали уже американцы множество японских представлений, вкусов и оценок, и наоборот? А наша экономика – не зависит ли она от их экономики, и наоборот? В этом смысле не существует самостоятельной американской идентичности. Америка является Америкой потому, что включена в отношения.

И последнее. Поскольку социализирующие технологии продолжают свою экспансию, мы можем переходить от Я-центрированной системы веры к осознанию неразрывной связи с другими. Возможно, тогда наши постмодернистские Я помогут сделать земной шар лучшим местом для жизни.

СОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА¹

Практики образования обычно связаны с сетью допущений, т. е. с рядом исходных верований, касающихся природы человеческих существ, их способностей и их отношений с миром и друг с другом. В случае образования, возможно, ключевым понятием является понятие «знание». Каким образом мы определяем или концептуализируем знание, в результате чего образовательные процессы становятся желательными или обязательными; что представляет собой знание, диктующее предпочтение одних образовательных практик другим? Очевидно, несовпадающие концепты знания будут вести к различным взглядам на образовательный процесс. Если бы мы верили вслед за некоторыми романтиками, что «у сердца свои доводы», то могли бы заменить книги и уроки межличностно и духовно наполненными свиданиями. Веря, наподобие илонготу с Северного Лусона, что знание приобретается во вспышках ярости или во время охоты за головами, мы должны были бы вместо формального обучения в школах организовывать сражения. Верования, связанные со знанием, вдохновляют, оправдывают и поддерживают наши образовательные практики.

В свете такого интереса к базовым предположениям мы бы хотели сначала обрисовать в общих чертах две главные концепции знания, высоко ценимые в западной традиции, концепции, продолжающие сегодня определять значительную часть образовательных практик, в которых мы принимаем участие. Как будет показано далее, эти тесно связанные друг с другом системы веры глубоко проблематичны в границах как своих эпистемологических, так и идеологических обязательств. Затем мы укажем на альтернативу этим представлениям, а именно на ту, которая следует из социально-конструкционистской точки зрения. Не ставя перед собой цель развенчать традиционные взгляды, социальный конструкционизм предлагает иной, не менее важный путь. При этом он вводит новый способ понимания существующих образовательных практик и открывает новые возможности.

¹ Ориг. опубли. в кн.: *Gergen K. J. Social construction in context*. New York, 2002 (в соавторстве со Стэнтоном Ф. Уортомом). – *Примеч. пер.*

ЗНАНИЕ: ЭКЗОГЕННАЯ И ЭНДОГЕННАЯ ТРАДИЦИИ

Хотя имеется множество способов классификации исторических традиций, нам наиболее всего подходит разделение двух значимых и давно устоявшихся тенденций: *экзогенного* (или централизованного на мире) подхода к знанию и противоположного ему – *эндогенного* (или децентрализованного на сознании). Экзогенная традиция образовательной мысли ведет свой отсчет от эмпирической философии знания (начиная с Локка и заканчивая логическим позитивизмом), тогда как эндогенная традиция во многом обязана своим становлением рационалистической традиции (начиная с Декарта и Канта и заканчивая Фодором и изучением искусственного интеллекта)¹. Обе ориентации отстаивают дуализм сознания/мира, в котором существование внешнего мира (как правило, материальной действительности) противопоставляется существованию мира психологического (когнитивного, субъективного, символического). Однако с экзогенной точки зрения знание появляется, когда внутренние состояния индивида повторяют или точно репрезентируют (или зеркально отражают) существующие состояния внешнего мира. Экзогенные мыслители часто делают сильный акцент на роли интенсивного наблюдения в приобретении знания и склонны рассматривать эмоции и личностные ценности как представляющие потенциальную угрозу для нейтрального или «свободно парящего внимания», без которого невозможна точная регистрация мира таким, каков он есть. Помимо этого, экзогенист также отводит знанию важное место в способности индивида адаптироваться или достигать цели в сложной среде. Считается, что нам нужна «внутренняя карта» природы, чтобы успешно ориентироваться в мире. Поэтому для экзогенистов мир уже дан, а сознание действует наиболее успешно тогда, когда точно его отражает.

Эндогенная традиция, как и экзогенная, тоже строится на дуалистических основаниях и делает акцент на ценностной нейтральности. Но если экзогенная традиция рассматривает внимательное наблюдение мира в качестве ключа к приобретению знания, то эндогенист выдвигает на первый план способности индивидуального разума. Там, где педагог-экзогенист фокусируется на упорядочивании поступающих из среды сигналов, необходимых для образования правильного представления, педагог-эндогенист ставит основное ударение на собственных человеческих существам способностях понимания, логики или понятийного развития. В этом смысле теоретик-экзогенист рассматривает внешний или материальный мир как данность и выдвигает предположения о том, каким образом природа безошибочно репрезентируется в сознании, в то время как мыслитель-эндогенист рассматри-

¹ Дальнейшее исследование экзогенной и эндогенной концепций сознания см. в работе «Социальное конструирование и образовательный процесс» [28].

вает его как самоочевидный психический мир и поднимает вопросы о способе действия сознания, ведущем к адекватному функционированию в природе. В спорах о том, что оказывает влияние в первую очередь – воспитание или природа (энвайронментализм против нативизма), экзогенист будет защищать главенствующую роль воздействия природы на индивида и возможность бесконечного и постоянного формирования индивидуального сознания. Эндогенист же, напротив, обратится к врожденным или естественным способностям и развитию индивидуального сознания. Пределы обучения для него определяются стадией развития когнитивной системы.

Как уже отмечалось, обе эти ориентации в отношении знания оправдывают или рационализируют определенные формы образовательной практики. В целом экзогенная ориентация предметно или тематически центрирована. В экзогенной перспективе ученик по большей части рассматривается как *tabula rasa*, на которую образовательный процесс призван занести сущностные свойства мира. Если говорить конкретнее, эта перспектива предпочитает непосредственное наблюдение или эмпирическое обогащение опыта ученика – совокупность образцов и моделей, включенного наблюдения, лабораторных экспериментов, выездов в поле и т. д. Чтение книг и уроки тоже высоко ценятся в экзогенной перспективе, поскольку именно благодаря им индивид может получить большой объем информации о предметах, недоступных прямому восприятию. В экзогенном подходе предпочитают экзаменационные процедуры, в которых главный акцент делается на определении уровня индивидуальных знаний. Такие инструменты, как вопросы с несколькими вариантами ответов, стандартизированные тесты и статистическая нормализация, помогают точно определить, насколько «заполнена доска».

Эндогенная перспектива, напротив, детоцентрирована. Эндогенные учебные планы подчеркивают рациональные способности индивида. Важно не столько количество информации в уме, сколько способ ее осмысления. Поэтому большое внимание может уделяться математике, философии и иностранным языкам, т. е. тем предметам, которые, как считается, развивают мыслительные способности. Дискуссии в классе предпочитают лекциям, поскольку когнитивные навыки наиболее полно формируются при активном участии обучающихся; экзаменационные эссе и семестровые работы – стандартизированным тестам, и не только потому, что так легче научить рациональному анализу, но и потому, что оценивание в идеале должно ориентироваться на качество, а не на количество. Конечно, предпринимались попытки объединить две традиции. К примеру, Пиаже [47] кладет в основу своей теории два противоположных процесса познавательного развития: когнитивную *аккомодацию* к объектам реального мира (дань уважения экзогенной традиции) и когнитивную *ассимиляцию* мира в познавательных структурах (продолжение эндогенной традиции). Мы расскажем об этих попытках интеграции более подробно далее, когда будем обсуждать социальный конструктивизм.

ОТКАЗ ОТ ПОНИМАНИЯ ЗНАНИЯ КАК ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Хотя современная образовательная политика и педагогика определяют рациональное в основном с помощью описанных выше утвердившихся концепций знания, сегодня эти традиции начинают стремительно распадаться. Отчасти такой распад вызван тем фактом, что они всегда стояли на шатком основании. Философы в этих двух перспективах никогда не могли решить фундаментальную проблему эпистемологии: как разум познает внешний для него мир. Поэтому каждая из перспектив паразитировала главным образом на изъянах своей соперницы. Не сумев решить эти проблемы, философы в настоящем столетии в целом отказались от дуалистической метафизики в пользу логического анализа суждений. Но, как показал Ричард Рорти [6], проблема знания как отношения между сознанием и миром вообще неразрешима, потому что она была безысходна уже с самого начала. Если мы начинаем с разделения на то, что находится *вне*, и на то, что находится *внутри* сознания индивида, мы сталкиваемся, в сущности, с неподдающейся решению проблемой определения того, как первое правильно репрезентируется в последнем.

Эти дебаты показали, что и экзогенная и эндогенная концепции знания уязвимы для выпадов современной критики, которую в разных случаях называют постэмпирической, постфундаментальной, постпросвещенческой, постструктуралистской и постмодернистской. Чтобы воспроизвести ее аргументы, нам понадобилось бы обратиться к резким атакам интеллектуалов в 1960-е гг. на нравственную выхолощенность традиций, рассматривающих знание как ценностно нейтральное. Нам надо было бы включить в круг рассмотрения критику, которой феминистки, азиаты, черные и испаноязычные подвергли тех, кто готов вычеркнуть все остальные голоса во имя трансцендентальной объективности (как экзогенисты) или рациональности (как эндогенисты). Мы также должны были бы изучить работы Фуко [7; 24] о притязаниях на знание, строящихся на дисциплинировании (лишении возможностей) индивида. Кроме того, было бы важно рассмотреть работы историков науки (таких, как Кун и Фейерабенд) и социологов знания (например, Латура, Кнорр-Цетиной и Барнса), которые позволили осознать значимость исторического и социального контекста в определении того, что принимается за обоснованное знание. Работам теоретиков литературы (таких, как Деррида и де Ман), семиотиков (Барта, Эко) и риториков (Симонса, Макклоски) также стоило бы уделить внимание, поскольку они показывают, что притязания на знание основываются не на наблюдении или рациональности, а на литературной технике. Однако здесь не место для представления всего диа-

пазона этой критики; ее можно отыскать в многочисленных источниках. Мы же просто отметим, что в этом интеллектуальном контексте и экзогенная и эндогенная концепции знания утратили фактически все свое влияние.

И все же один аргумент, родившийся в этих спорах, требует особого внимания. Как экзогенная, так и эндогенная традиции локализуют знание в сознании отдельных индивидов. Именно индивиды наблюдают, мыслят и сталкиваются с необходимостью приобретать знания. Считается, что лишь благодаря владению знанием индивид способен выжить или добиться успеха в этом сложном мире. Но почти полная бесосновательность подобных верований заставляет в них усомниться. Чтобы подтвердить ее, возможно, лучше всего было бы изучить воздействие этих верований на культурную жизнь. Если мы заявляем, что без знания не выжить и что оно накапливается в голове отдельного индивида, то к каким формам культурной практики это ведет, какие группы оказываются привилегированными, какие традиции или возможности вытесняются или исключаются?

В таком случае появляется основание для отказа. По существу, эта концепция знания связана с идеологией *самодостаточного* или *стязательного индивидуализма*. Рассмотрение знания как собственности отдельного сознания согласуется с пропозициями, обязывающими индивидов иметь мотивы, эмоции или фундаментальную сущность. В этой традиции люди начинают рассматривать себя в качестве центра собственных действий, выбирающих, открывающих, ищущих в одиночестве с целью выживания и преуспевания. Как показывают критики, подобные верования не только поддерживают нарциссические или «я-центрические» жизненные установки, но и отводят другим (наряду с физическим окружением) вторичную или инструментальную роль. Люди и среда рассматриваются прежде всего в соответствии с тем, что они могут дать мне. Кроме того, в силу чувства исходной изолированности («я сам по себе»), порождаемого этой ориентацией, человеческие отношения воспринимаются как искусственные приспособления, фактически противостоящие естественному состоянию независимости. Но важнее всего то, что когда жители земного шара становятся все более зависимыми друг от друга и получают возможность уничтожения друг друга (при помощи оружия или загрязнения), идеология самодостаточного индивидуализма ставит под угрозу само человеческое существование. В таких условиях бесполезно думать о себе как о противоположном, о нас как о противоположных им. Мы ведем речь не об абстрактной и тайной философии, а о системе верований, которая в некотором отношении может нанести ущерб жизни на планете.

СОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗНАНИЯ

Когда проблематичность традиционных взглядов на знание стала очевидной, начал усиливаться интерес к проектам, способным заменить их. Именно в этот момент социально-конструкционистские размышления получили свое современное звучание. Большая часть постфундаментальной критики концентрировалась на возврате в культуру того, что было объявлено природным, т. е. на замещение предположения о том, что истина удостоверяется природой, представлением о том, что истина создается в сообществе. В рамках указанных выше аргументов это означает рассмотрение знания как продукта не индивидуальных сознаний, а коммунальных отношений. Мы могли бы сказать, что *любые осмысленные утверждения о реальном и правильном имеют своим истоком отношения*. В фокусе внимания оказывается место производства знания: текущий процесс координации между людьми. На первый план выдвигается постоянный взаимообмен среди собеседников, а значение локализуется внутри паттернов взаимозависимости. Вслед за Витгенштейном [2] можно утверждать, что не существует приватного языка (посредством которого индивид формулирует значение еще до отношений); наоборот, язык (и другие действия) обретает смысл лишь в ходе социального употребления и в зависимости от того, как он скоординирован с действиями других. Индивиды, находящиеся в изоляции, не теряют смысл, но только потому, что осмысленность их действий вытекает из предыдущей погруженности в отношения. Индивиды могут совершать действия, традиционно обозначаемые как «мысль» или «чувство», однако эти действия скорее следовало бы рассмотреть как формы отношений, осуществляемых в пространстве индивида.

Для того чтобы подготовиться к нашему будущему обсуждению образовательной практики, необходимо подробнее остановиться на значении отношений. Мы можем сказать, что актер никогда не приходит к значению иным путем, кроме как через дополняющие действия другого. Ничто из того, что сказано или написано, не обладает врожденным значением, не несет в себе однозначного сообщения. Однако значение серии слов или действий не определяется и одним только реципиентом (слушателем или читателем). Скорее, действия индивида (лингвистические и другие) работают в качестве индикаторов вероятных последовательностей отношений; они побуждают к выбору одних линий деятельности и отбрасыванию других. Отвечая тем или иным образом, реципиент придает исходному действию одну потенциальную форму значения, отвергая многие другие возможности. Так, реплика: «Чак, мне кажется, тебе это будет интересно» вызывает или позволяет высказать реакцию: «Отлично, я посмотрю», которая наделяет

исходную реплику значением предложения поделиться информацией. Но равно вероятно и реакция: «Да уж (взгляд в сторону), наверняка», которая позиционирует то же высказывание иначе, создавая другое ощущение его значения.

Поэтому уроки и книги не имеют смысла до тех пор, пока ученики не присвоят им его. Кроме того, ни уроки, ни книги не способны предопределить значение, которое будет им придано. Они только открывают различные возможности, из которых ученики выбирают подходящие им. При помощи обратной связи и отметок учитель может сузить диапазон выбора, побудив учеников к «одобряемым» действиям. Однако обратная связь и оценки находятся в том же положении, что и уроки и книги, – они доступны множеству дополнений, над которыми у них нет определяющегося контроля¹.

Сформулировав эти ориентировочные положения, мы готовы указать на несколько важных следствий из них.

Незаданность. Осмысленность никогда не бывает полной. Любое выработанное значение открыто для бесконечного переозначивания. Не существует единой точки, в которой завершается процесс производства смысла. Слова нельзя выстроить так, чтобы мы могли быть уверены в конечном значении урока или текста, даже если ученик владеет соответствующими реакциями в пределах локальных школьных сценариев. С течением времени и в результате обсуждения «истинное и прекрасное» в сегодняшнем классе может быть увидено как «банальное» или «идеологически подозрительное», а презируемый предмет завтра может вызвать восхищение. Конечно, мы часто рассматриваем осмысленность как *fait accompli*². «Это правильный ответ», «Я прекрасно вас понимаю» и «То, что он написал, совершенно прозрачно» – все это способы сообщить о полном раскрытии смысла. Однако это лишь застывшие моменты непрерывного диалога, течение которого может быть в любое время возобновлено («Я думал, вы дали правильный ответ, пока не стал читать дальше») и который открыт для дальнейшего означивания говорящим или другими («Ты утверждаешь, что понимаешь меня, но я сомневаюсь в этом»).

Многоголосие. Вступая в новые отношения и пытаясь вместе создавать смысл, собеседники опираются на предшествующие практики его производства. Приняв до этого участие, как правило, в самых разных отношениях, разбросанных во времени и обстоятельствах, они будут привносить в настоящее опробованный словарь слов и действий. Фактически мы вступаем в каждое отношение как многоголосые; за нами из прошлого тянутся многочисленные голоса. Любая конкретная

¹ Более полную оценку этого относительного взгляда на значение можно найти в гл. 11 в моей кн. «Реальности и отношения» [27].

² Свершившийся факт (фр.). – *Примеч. пер.*

фраза может представлять собой смесь прошлых высказываний, сцепленных друг с другом и плавающих в своего рода не нанесенном на карту море без определенного предназначения. В то же время в силу традиции или ограниченной истории взаимообмена производство значения в любом данном отношении будет вести к сужению диапазона доступных ресурсов. При обучении французскому языку зависимость от английского станет постепенно исчезать; обучение психологии потребует от студентов отказа от обыденных дискурсов (этнопсихологий) сознания.

Контекстуализация. При относительном производстве значения используются не только слова и действия собеседников. В нем оказываются задействованными различного рода объекты и определенные материальные условия. Так, дискурс бейсбола будет зависеть не только от форм поведения, но и от таких объектов, как биты, перчатки и мячи, а эти формы координации, в свою очередь, будут опосредованы и ограничены игровым полем. Или, как говорит Витгенштейн [2], наши языковые игры осуществляются в пределах конкретных *форм жизни*. В этом смысле каждая форма жизни может вносить свой вклад в те ресурсы, с которыми индивид входит в новые отношения. При этом индивид выступает не просто многоголосым, но многоспособным, т. е. умеющим использовать множество объектов либо разрабатывать различные контексты конструирования значения в данных отношениях. Чем богаче диапазон таких способностей координации, тем более гибкими и эффективными могут быть люди перед лицом непрерывного вызова нового и неожиданного. Метафорически говоря, жизнь похожа на серию джазовых концертов, в которой постоянная смена партнеров и площадок требует бесконечной импровизации.

Прагматика. Развиваемый здесь относительный взгляд контрастирует не только с традиционным подходом к языку как внешнему выражению внутреннего состояния, но также и с широко распространенным предположением о том, что язык может служить точной «картиной» или «картой» мира (т. е. «говорить истину»). Наоборот, язык функционирует главным образом как конститутивная особенность отношений. Точно так же, как влюбленным может понадобиться словарь эмоций, чтобы написать сценарий романтической любви, сотрудникам лаборатории нейроэндокринологии требуются такие термины, как «гипоталамус» и «аминокислоты», чтобы взаимоскоординироваться по отношению к экспериментальным процедурам. Ни в любви, ни в нейроэндокринологии язык не является картиной или картой внешнего мира; скорее, язык функционирует как сущностно важный элемент осуществления любви или лабораторного исследования (подобно улыбкам и объятиям в первом случае и анализам и журналам – во втором). Отсюда мы можем также сделать вывод о важности проверки образовательных практик на предмет их прагматических эффектов. В какой

степени различные академические дискурсы задействованы или принимаются в более широких паттернах культурной деятельности; каков прагматический потенциал тех форм жизни, с которыми ученики сталкиваются в наших школах? Но прежде чем обратиться к специфическим вопросам практики, было бы интересно прояснить различия между конфликтующими пониманиями конструирования.

МНОГООБРАЗНОСТЬ КОНСТРУИРОВАНИЯ

Конструкционистские идеи уже давно стали предметом академических споров, но они принимали множество форм и использовались совершенно разными способами. Например, в своей классической работе «Социальное конструирование реальности» Бергер и Лукман [1] применяют социальный конструктивизм для того, чтобы представить специфический вариант социальной феноменологии, связанный со структурной концепцией общества. Если значимость их интереса к социальному базису структур знания разделяется современным конструкционизмом, то его послышки были радикально преобразованы. Ни феноменология, ни социально-структурные представления больше не принимаются. Сам термин «конструктивизм» использовался многими теоретиками, но конструктивизм Джорджа Келли [5] не во всем соответствует конструктивизму фон Глазерсфельда [30] или Пиаже [47]. Поскольку взгляды на конструирование сыграли важную роль в современном обсуждении педагогики, то полезно было бы изучить различия между социальным конструкционизмом, описанным выше, и двумя альтернативными ориентациями: радикальным конструктивизмом и социальным конструктивизмом.

Радикальный конструктивизм фон Глазерсфельда находится под сильным влиянием теории Пиаже и имеет много общего с когнитивными ориентациями в образовании. Однако в отличие от когнитивистов (которые по иронии продолжают хранить верность эмпирическому подходу к науке) конструктивисты солидарны с социальным конструкционизмом в оценке глубокой опасности экзогенной эпистемологии с ее акцентом на знании как точном отражении мира. Обе традиции ставят под вопрос взгляд на знание как нечто «выстраивающееся» в сознании в результате пронизательного наблюдения. И поэтому обе они проблематизируют авторитетность, традиционно присваиваемую тем, кто претендует на истину, не зависящую ни от чьей точки зрения. Но за этими сходствами скрываются существенные различия. Дело в том, что, как должно быть ясно из предыдущего, радикальный конструктивизм соглашается с дуализмом сознания/мира, делая ставку на когнитивный (эндогенный) процесс. Как говорит фон Глазерсфельд,

«знание не получается пассивно через ощущения или посредством коммуникации, оно активно выстраивается познающим субъектом» [31, 83]. Поэтому знание – это не отражение мира, как он есть. Скорее, утверждает фон Глазерсфельд, «мы переопределяем „знание“ как относящееся к инвариантам в опыте живого организма, а не к объектам, структурам и событиям в независимо существующем мире. Соответственно, мы переопределяем „восприятие“. Это не рецепция или копирование информации, поступающей извне, а скорее конструирование инвариантов, посредством которых организм может ассимилировать и организовывать свой опыт» [30, 40].

Такое представление о знании настолько глубоко интериоризировано, что конструктивист начинает верить в возможность преодоления издержек дуализма. Подчинив всю эпистемологию описанию внутреннего, мы можем забыть о «внешнем» и рассматривать теорию как монистическую. Однако преодоление Сциллы дуализма подобным путем приводит теорию к не менее опасной Харибде саморазрушительного солипсизма. Если каждый из нас просто-напросто заперт в своем собственном опыте, конструируя мир по мере своих возможностей, то все, что мы считаем «миром», все, чем для нас являются «другие люди», – исключительно продукты нашего собственного изобретения. Я сочинил то, что есть мир, и то, что в нем имеются другие, и то, что эти другие обладают сознанием. При этом вопрос, как мы добиваемся успеха в мире или существует ли вообще мир, который бросает вызов нашим адаптивным способностям, не стоит.

Для эпистемолога это тупик, и фон Глазерсфельд вряд ли желает в нем остановиться. Поэтому, чтобы избежать проблемы солипсизма, к теории добавляется прагматическое измерение. Как пишет фон Глазерсфельд, «познание адаптивно; оно помогает субъекту организовать переживаемый мир» [31, 83]. Или еще: «Радикальный конструктивизм откровенно *инструментален*... Понятие адаптации, используемое здесь, – это базовое биологическое понятие в теории эволюции. Оно означает *соответствие* окружающей среде» [31, 87].

Однако удержание этой позиции требует принятия двух допущений. Во-первых, необходимо признать существование реального мира, не совпадающего с тем, как он переживается человеком, – это иновыражение дуалистического предположения. Во-вторых, надо признать, что самой по себе эндогенной оценки знания недостаточно, она должна быть дополнена экзогенным обращением к реальному миру, к которому адаптируется индивид. Последнее допущение, однако, вновь возвращает теорию к кругу проблем, описанных выше. В частности, как можно определить, какие действия адаптивны, если не с помощью локального способа объяснения? Можно ли ошибаться в своих оценках того, что адаптивно? На каких основаниях радикальный конструктивизм смог бы отстоять подобную позицию?

Эти проблемы усугубляются, когда конструктивист пытается описать коммуникацию. Для фон Глазерсфельда «значение сигналов, знаков, символов и языка не может не быть субъективным» [31, 88]. Но если говорить о диапазоне опыта, исходя из которого человек должен конструировать значение поступков других, то как тогда он мог бы определить, что другие обладают субъективностью, что их действия – попытка передачи этой субъективности, что определенные действия выражают субъективность, в то время как другие нет, или что существует связь между специфическими действиями другого индивида и специфическим порядком его субъективных состояний? По сути, индивиду не остается ничего иного, как скитаться по своему приватному и субъективному миру в надежде, что так или иначе коммуникация происходила. Фон Глазерсфельд признает, что подлинная коммуникация практически невозможна. «В лучшем случае мы можем прийти к заключению, что наша интерпретация их слов и высказываний совместима с моделью их мышления и поведения, которую мы выстроили в ходе наших взаимодействий с ними» [31, 90]. В качестве «лучшего» можно было бы желать и чего-то большего¹.

В некотором отношении гораздо более верным союзником социального конструкционизма выступает подход, который можно было бы назвать *социально-конструктивистским*. Под социальным конструктивизмом мы подразумеваем корпус текстов, в которых существенно важны и когнитивные процессы, и социальная среда. Иллюстрацией являются формулировки Выготского и других разработчиков теории деятельности [35; 38]. Социальный конструктивизм также представлен в образовательных исследованиях психологов культуры и разрабатывается в сочинениях Джерома Брунера [19]. Социальный конструкционизм соглашается с той важной ролью, которая в этих исследованиях отводится социальной сфере. В некотором смысле оба эти направления рассматривают человеческое знание или рациональность как побочный продукт социума. В обоих случаях отношения предшествуют индивиду. И хотя специфика роли учителя различна, оба подхода рассматривают отношения между учителем и учеником в качестве ключевого элемента образовательного процесса.

Но, невзирая на эти пересечения, конструкционистам социально-конструктивистская ориентация видится все еще излишне обремененной дуалистической эпистемологией и философскими проблемами, вытекающими из нее. Связь внешней и внутренней реальности остается центральной эпистемологической загадкой. Кроме того, сделав предметом главного интереса когнитивное обогащение ученика, социальный конструктивизм обнаруживает в себе следы индивидуалист-

¹ Дальнейшее критическое обсуждение конструктивистских ориентаций в знании и образовании см. в работах Олсена [44], Осборна [45] и Филлипса [46].

ской идеологии. Эти различия также дают о себе знать в выборе областей, разрабатываемых теоретиками и практиками. Конструкционист помещает основной акцент в область социального, при этом сохраняя критичность к своей работе. Конструкционистские исследования фокусируются на дискурсе, диалоге, координации, совместном производстве значения, дискурсивном позиционировании и т. п. [18; 53; 58] и зачастую могут открыто заявлять о той политике, которую поддерживают эти описания.

Социальный конструктивист, наоборот, рассматривает социальное больше как инструмент развития «разума ученика». Внутренний мир последнего занимает главное место в описании и объяснении¹. Так, например, Выготский в конечном итоге остается психологом. Хотя социальные процессы играют важную роль в его теории, Выготского в первую очередь интересуют психологические процессы. Несмотря на частую артикуляцию социального поля, он подробно останавливается на специфике психических процессов абстрагирования, обобщения, сравнения, дифференциации, воли, сознания, развития, ассоциации, внимания, представления, суждения, опосредованных знаками операций и т. д.². И хотя в его работах есть серьезные исключения, все это часто излагается в эмпиристской ценностно нейтральной риторике.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Мы рассмотрели некоторые проблемы, присущие традиционным концепциям знания, и выявили рудиментарные основания социально-конструкционистской альтернативы. Сейчас мы должны изучить место конструкционистской альтернативы в образовательных политиках и практиках. Но прежде надо сделать три предостережения. Во-первых, в том, что последует далее, не нужно видеть попытку отказа от устоявшихся традиций. Конструкционизм не претендует на статус первой философии, основы, на которой может быть возведен новый мир. Он не стремится сместить все существующие традиции во имя истины, этического принципа, политического идеала или любого другого универсального критерия. Наоборот, он желает увеличения и расширения имеющихся ресурсов на благо всей планеты. Конструкционизм также тесно связан с другим моментом: не существует политик

¹ Есть и исключения; выготскианские педагоги сегодня все больше обращаются к социальному процессу [36; 54].

² Социальный конструкционист нашел бы неинтересным, если не вводящим в заблуждение, следующее теоретическое положение: «Цепной комплекс [при овладении ребенком понятиями] строится по принципу *динамического, временного объединения отдельных звеньев в единую цепь и переноса значения через отдельные звенья этой цепи*» [3, 144].

или педагогик, которые нельзя было бы рассмотреть сквозь его призму. Все традиционные практики – во благо или во вред и с разной эффективностью – конструируют миры реального и правильного. Поэтому все они вносят свою лепту в море смысла. Главный вопрос здесь состоит в том, может ли специфически конструкционистское сознание открыть новые пути. Можем ли мы, изучая образы, метафоры и нарративы, предлагаемые социально-конструкционистским подходом к знанию, расширить спектр возможностей? Как мы увидим дальше, многие современные инновации строятся на близких к конструкционистским взглядах. Эту близость необходимо артикулировать. В то же время присутствует ощущение необъятности горизонта возможностей, которые мы только начинаем осознавать. Рассмотрим пять особо значимых областей.

От иерархии к гетерархии

Образовательные институты, опирающиеся на традиционные представления о кумулятивности (экзогенный подход) и универсальности (эндогенный подход) знания, строятся вокруг того, что Пауло Фрейре [26] называет «пищевой» моделью. Это, по сути, иерархическая модель, в которой высший авторитет присваивается производящим знание сообществам. Сюда, как правило, относятся эксперты в какой-либо области, например, ученые и исследователи. Они открывают или демонстрируют истину, которой учеников будут в первую очередь учить или «кормить». Далее в иерархии идут эксперты в области образования, такие, как разработчики учебных планов, которые разделяют знание на образовательные порции; за ними – административные работники и чиновники, сортирующие эти порции. Учителя появляются в конце как инструменты распределения образовательной пищи среди учеников. От учеников же ожидается, что они будут просто усваивать знание.

Несмотря на повсеместную критику этой модели, она по-прежнему на удивление хорошо описывает образовательную практику. Эппл [10] и другие документально зафиксировали иерархические процессы, посредством которых производятся и передаются учителям образовательные содержания. Меган [42] показал, насколько ученики все еще, в общем, пассивны и что от них ожидают только поглощения предоставляемого знания.

Социальные конструкционисты присоединяют к этой критике ряд важных аргументов. Во-первых, конструкционисты рассматривают все притязания на знание как укорененные в определенных производящих знание сообществах. Значит, различные формы знания будут неизбежно поддерживать специфические представления о благе, како-

вым видится, например, непрерывное улучшение условий (совершенствуемость), материализм (а не спиритуализм), «разум» (а не «эмоции»), индивидуализм (а не коллективизм). В этом смысле иерархия знания ведет к тоталитаризму. Говоря в терминах Фуко [7; 24], распределение знания расширяет отношения власти, пользователь которых играет роль простой пешки. Мы поговорим об этом позже, когда будем рассматривать критическую рефлексивность.

На более тонком уровне конструкционист обнаруживает, что иерархическая модель стремится к подавлению контекстуальных и прагматических условий, придающих авторитетному языку значимость. С конструкционистской точки зрения «знающие утверждения» получают свое значение в определенных контекстах употребления и функционируют в этих контекстах как средства координации деятельности. Химические знания, например, помогают объединить сообщество, оформить и наделить ценностью определенные проекты и идентичности, а также достичь важных для данного сообщества результатов. Однако в иерархической модели эти знающие пропозиции вырываются из контекста. Работники образования извлекают фигуры дискурса (и ограниченное количество способов их реализации) из профессиональных дисциплин и передают такие извлечения тем, кто расположен ниже в иерархии. Прагматическая функция этих дискурсов внутри сообщества оказывается утраченной. Дискурсы теряют значимость, а на руках учеников остается лишь «долговая расписка» о том, что их знания *как-нибудь* окажутся полезными и важными. Благодаря этому можно заниматься зазубриванием химических таблиц и проведением абстрактных лабораторных экспериментов. Но жизненность языка, его практическая значимость и живой потенциал в соответствующем сообществе потеряны. Знакомый эпитет «неуместность» часто вполне заслужен.

Поскольку авторитетные дискурсы воспринимаются как что-то священное – продукты «наших лучших умов», – они стремятся к монологическому перемещению в иерархии. То есть они не передаются от сообществ администраторов к учителям и ученикам в качестве требующих обсуждения и дополнения. Реципиенты могут уточнять, упорядочивать и упаковывать их, но авторитетные дискурсы остаются, насколько это возможно, незатронутыми. Ученики при этом перенимают такой подход к знающим дискурсам. Можно войти в их пространство, коснуться некоторых второстепенных аспектов и затем выйти. Поэтому авторитетные дискурсы с трудом приспособляются во внешних областях жизни. Аргументы физики, экономики, экспериментальной психологии или алгебры сложно применить в культурной жизни, поскольку их значения связаны исключительно со специфической областью академического употребления. В этом смысле профессиональные дискурсы функционируют параморфически, не столько меняя существующие формы поведения, сколько сосуществуя в относительной изоляции.

Помимо проблем власти и деконтекстуализации конструкционисты обращаются к противопоставлению монологических и диалогических практик производства значения. В монологе собственный голос реципиента, как и в случае авторитетного знания, отрицается. Конечной целью монологического образования является ученик, целиком поглотивший все то, что было предложено, иными словами, ставший полной копией авторитета. Какие бы таланты, идеи или специализированное образование ни были у индивида, все это запрещено вводить в диалог. А вслед за отрицанием голоса идет стирание идентичности и сталкивание в летаргию. Уайс [55] описал, как ученые и управленцы внедряют в школы такие учебные планы и методики, которые обязывают учителя хранить молчание. Эппл [8] развивает этот анализ, обсуждая то, как стандартизированные учебные планы, навязываемые учителям, «расквалифицируют» их. Поскольку учителя воспринимаются как техники, от которых требуется исполнять готовые планы, они разучиваются рефлексировать более крупные образовательные проблемы и находить собственные решения (эффективно дополнять). Как говорят Ароновиц и Жиру, «многие из [современных] образовательных реформ низводят учителей до статуса чиновников низшего звена... чья главная задача – осуществлять преобразования, задуманные экспертами более высокого уровня из числа государственной и образовательной бюрократии» [11, 33].

Многие считают, что иерархическая модель также «расквалифицирует» ученика. Джексон [37] дал описание, как иерархические отношения в школах отбивают у учеников охоту творить и созидать. Вуд и другие продолжили этот анализ, показав, что учеников учат «бездумно занимать свое место в мире, который они не могут контролировать и которому нет дела до их нужд» [56, 174].

Так как нас интересуют относительные аспекты производства знания, можно видеть, что «расквалификация» протекает неодинаково в разных социальных группах. Поскольку профессиональные знания в основном распространяются в определенных сегментах общества (преобладающим образом среди белых, англоговорящих, обеспеченных мужчин), их дискурсы более осмысленны (связны) в этом контексте, нежели прочие. Для учеников из других секторов общества, встречающихся с этими дискурсами, они кажутся чрезмерно далекими, а их прагматические функции – совершенно неясными. С этих же позиций разворачивается критика Эппла [10], Фрейре [26], Уолкердайн [52] и других исследователей, которые описывают, как определенные исторически бесправные группы по причине своей этнической, гендерной или классовой принадлежности испытывают несоизмеримо большие, чем все остальные, трудности в традиционной образовательной системе.

Какие альтернативы предлагает конструкционизм в свете неустрашимых проблем базирующегося на авторитетности знания? Проведен-

ный анализ в первую очередь призывает к десакрализации профессионального знания. Вместо того чтобы предполагать, что производители традиционного знания владеют «лучшим» или «последним» словом, следует понять, что все притязания на знание вырастают из культурно и исторически локализованных традиций. Это не значит, что надо лишить их ценности, просто надо осознать, что эта ценность случайна. Например, знание живописи обычно предполагает ценность самовыражения или эстетики; медицинское знание – ценность исцеления того, что считается болезнью. Эти ценности ограничены и конвенциональны. Поэтому, вместо того чтобы упорядочивать монолог, мы могли бы мыслить разные дисциплины как обладающие ресурсами, которые могут иметь или не иметь ценности в зависимости от конкретного состояния жизни. На этих вопросах мы остановимся более подробно, когда будем обсуждать рефлексивность и значение в контексте. Для наших целей, однако, важно указать на то, что такое полагание знания побуждает к переходу от монолога к диалогу – от иерархии к гетерархии. При этом некоторые ученые приглашают к обсуждению предмета, ценности и уместности образования вообще.

Джон Дьюи [4] когда-то высказал сильные аргументы в пользу рассмотрения образования как основы для рождения демократии. Однако эти взгляды были обнародованы в то время, когда все верили в то, что настоящее знание объективно точно и политически нейтрально. В конструкторнистском подходе любое знание видится перспективным и ценностно насыщенным. Поэтому войти в область знания – значит войти в конкретную форму жизни. Такое вхождение само по себе не является шагом к демократии; это обретение одного голоса возможной ценой других. В этом смысле предлагаемые здесь аргументы поддерживают современные попытки установления многоголосия в образовании и усиления голосов тех, кто традиционно был исключен из процесса производства знания. Бейер и Эппл, к примеру, считают, что «действительная реформа учебных планов должна совершаться в тех институтах и теми, кто теснее всего связан с жизнью учеников: учителями, администраторами, самими учениками и другими членами сообщества» [14, 6].

Отказываясь видеть в учителях простых техников, обученных распространять авторитетное знание, многие хотят повысить статус «учителей в качестве создателей учебных планов». Например, проекты «исследования через действие» учат учителей разрабатывать собственные интуиции образовательных процессов [34]. Благодаря исследованию через действие учителя обучаются не просто следовать экспертным указаниям, как и чему учить, а собирать собственные данные и самостоятельно ставить образовательные вопросы. Во многих случаях это ведет к более контекстуально специфической утилизации знания. При этом процесс создания учебных планов не должен исключать учеников, родителей или сообщество. Что касается учеников, то здесь уместно предложение

Вуда относительно образовательных учебных планов: «В их содержании мы даем (должны давать) ученикам средства для демократической жизни и представление о возможностях нашего общего социального контекста. По форме учебный план должен привлекать учеников к принятию актуальных для сообщества решений в соответствии с принципами равенства и справедливости» [56, 184].

Иллюстрацией здесь может послужить способ принятия решений в школе Садбери-Уэллей: на еженедельном собрании школы, в котором участвуют все ученики и сотрудники, обсуждаются повседневные школьные практики и политика [32].

Автор другой образовательной инициативы, Клер Эйселен, разработала отдельную учебную программу для одаренных учеников.

1. Небольшие группы начинают каждый год со своим учителем в пустой классной комнате. Там пока нет ни книг, ни бумаг, ни учебного плана. В комнату попадет только то, что в нее принесут сами ученики. Смысл вещей вытекает из того, как люди создают и используют их. Ценность идей определяется тем же самым путем.

2. У ребят возникают идеи и фантазии, и некоторые из них объединяются в проекты. Совместная жизнь начинает требовать отдельных направляющих принципов. Малые группы конструируют их; большие группы могут их критиковать. Тем временем проекты и идеи начинают приносить плоды, и из них медленно появляется новое культурное целое.

3. К концу года комнаты заполняются произведенными учениками предметами, которые говорят о волнующем человеческом опыте и которые появились в рамках сконструированной ими внутри нашего человеческого сообщества культуры. Классная комната напоминает много собранных в одном месте выпусков «Курьера ЮНЕСКО».

В заключение скажем, что можно согласиться с замечанием Латер [40] о том, что мы расстаемся с моделью поиска универсального знания, подходящего для общих учебных планов, и пытаемся создавать контекстуально специфические смысловые пространства, учитывающие интересы всех сторон, вовлеченных в конкретную образовательную ситуацию.

За границами дисциплин знания

Традиционно считается, что категории нашего языка обретают свое значение благодаря связям со специфическими референтами в реальном мире. У нас есть такие слова, как «лев», «кролик» и «слон», потому что мы хотим различить эти три вида животных. Но конструкциониста подход к языку как к картине не удовлетворяет. Скорее, отражая принцип рассмотрения значения в его употреблении, он выво-

дит смысл слов из отношений, частью которых они являются. Так, значение слова «агрессивный» определяется не специфическими данными окружающего мира, а лингвистическим контекстом, в котором оно используется людьми в совместных действиях (например, для обозначения поступка, высказывания осуждения, подготовки ответа). Это значение, таким образом, будет значительно меняться в зависимости от того, взаимодействует ли человек с другими людьми, чтобы поднять войска, выстроить деловую стратегию или прооперировать раковую опухоль. Также и «лев» может означать совершенно разные вещи, в зависимости от того, говорится ли о джунглях, звездах или песне «Король Лев». В основном именно этот полисемический характер слов, возможность их использования в многочисленных контекстах отношений, придает языку гибкость и позволяет проводить тонкую нюансировку деятельности в заданных условиях.

В XX в. была предпринята согласованная попытка разграничить поля знаний – химии, физики, истории и т. п. Учебные планы обычно выстраиваются так, чтобы ученики хотя бы минимально познакомились с разнообразием отдельных полей и в конце концов более глубоко освоили, по крайней мере, одно из них. Однако с конструкционистской точки зрения членение знания выгодно главным образом тем, кто включен в определенную область исследования. Оно позволяет сообществам производителей знания достигать результатов в рамках своих традиций. И хотя есть много аргументов в пользу дисциплинарной организации образования, в целом дисциплинарно устроенный образовательный процесс глубоко проблематичен.

Существующие традиции исследования либо мимоходом, либо вообще не затрагивают большинство наиболее важных для культуры тем. Дисциплинарные проблемы редко определяются национальными или местными интересами; они остаются внутри тех или иных дисциплин под контролем их носителей. Публика с ужасом взирает на работу «яйцеголовых», а последние с презрением говорят о «низком уровне» общественных дискуссий. К сожалению, традиционные дисциплины крайне неохотно и спорадически включались в национальное обсуждение абортов, социальной справедливости, загрязнения окружающей среды, быстрого роста интернет-коммуникации, социальных конфликтов, проблем геев и лесбиянок, благосостояния, реформы медицинского обслуживания и др. Те ученые, которые говорили об этом, часто воспринимались как одиночки, имеющие мало общего с основным дисциплинарным течением, что побудило их создать новые области исследования (например, женские исследования, культурные исследования, исследования сред, исследования мира, интерпретативные исследования).

В той степени, в какой образование должно ориентироваться на повышение качества и эффективности публичных дискуссий и деятельности, надо избавлять учебные планы от требований дисципли-

нарности. В допрофессиональном образовании главная ставка может быть сделана на освобождение дискурсов и практик от дисциплинарной зависимости. При этом, исходя из конструкционистской перспективы, дисциплинарные формы жизни тоже можно «пригласить на праздник». Вопросы, представляющие практический общественный (или частный) интерес, могут выступить содержанием образования, дисциплины же обеспечат необходимыми ресурсами. Сталкиваясь с ключевыми проблемами нашего времени, ученики не были бы стеснены скудными средствами узкого предметного поля. Наоборот, они могли бы свободно перемещаться в любых областях, необходимых для их целей, разыскивая, заимствуя, извлекая, дополняя, комбинируя, переформулируя и сочетая все, что нужно для наиболее эффективного решения. Работая, например, над проблемой местного загрязнения воды, ученики могли бы прийти к выводу, что им требуются статистические методы, некоторые экологические понятия, исторические источники и поэма для достижения риторического эффекта. Когда разнообразные словари отношений открыты для непрерывного переустройства, мы способны добиваться эффективности в изменяющихся условиях максимально широкого спектра.

В качестве примера можно привести то, как департаменты образования двух штатов, Коннектикута и Мэриленда [12], попытались преобразовать способы оценивания учеников 9–12 классов. В частности, цель состояла в переходе от простой оценки количества накопленных фактов (что соответствует пониманию «сознания как доски») к оцениванию тех средств, с помощью которых ученики утилизируют и комбинируют множество навыков в новых контекстах и передают свои выводы другим. Учащиеся могут работать индивидуально или в группах над решением сложных, многоуровневых проблем, собирать данные, анализировать, интегрировать, интерпретировать и сообщать о своих результатах реальной аудитории. Как считают педагоги, такие задачи позволяют ученикам «конструировать значение и структурировать наблюдения» для определенных аудиторий. Педагогический фокус смещается с подготовки учеников к простому воспроизведению формализованных и стандартизированных дискурсов на развитие навыков взаимодействия со сложными и постоянно меняющимися обстоятельствами вне образовательной сферы. Эти аргументы тесно связаны с акцентом на значении в практике.

К значению в практике

Традиционно считается, что функция образования состоит в производстве обученных или знающих индивидов, которые благодаря тому, что знают, и/или своим рациональным способностям готовы эффективно

действовать в любой жизненной ситуации. На их психическую доску нанесены карты существующего, а также исторические детали, правильные способы дедукции и т. д. Образование нужно для освоения и сохранения знаний; последующая жизнь предоставит условия для их использования. Пауло Фрейре озвучил одну из наиболее острых критик такого типа образования: «Учитель говорит о реальности так, как будто она неподвижна, статична, непроницаема и предсказуема. Или же в деталях излагает тему, полностью чуждую экзистенциальному опыту учеников. Его задача – „наполнить“ учеников содержаниями своего повествования, содержаниями, которые оторваны от действительности, отрезаны из целостности, которая их породила и могла бы придать им значимость. Слова лишаются конкретности и становятся пустым, отчужденным и отчуждающим многословием» [25, 57].

Как было показано выше, язык приобретает социальную ценность и смысл главным образом в зависимости от того, как он используется людьми в специфических контекстах, поэтому наполнение индивидуальных сознаний фактами, теориями и рациональными эвристиками не может быть задачей образовательного процесса. Скорее, он должен вырабатывать генеративные контексты, в которых ценность и значение составляющих их диалогов могут реализоваться в максимальной мере, а также создавать условия, при которых эти диалоги могут быть связаны с текущими практическими заботами людей, сообществ или наций. Фактически конструкционист приветствует субстанциональную редукцию канонизированных учебных планов, согласно которым ученики должны посещать занятия только потому, что это нужно для других занятий, или потому, что они готовят к жизни. (Сегодня в редких случаях материал курса связан с непосредственным и практическим контекстом использования; слишком часто материал занятий осмыслен и применен только внутри чистой и ограниченной атмосферы образовательной системы.) Конструкционист предпочел бы те практики, в которых ученики вместе с учителем и другими людьми решают важные вопросы, а также те типы активности, которые могли бы принести реальную пользу. Например, если учеников беспокоят экология, расовые проблемы, аборты, наркотики, рок-индустрия, требования моды, формы самовыражения и т. п., то можно ли разработать проекты, которые бы могли способствовать обретению требуемых навыков? Почему бы им не встретиться с теми, кто работает в этих областях, собрать соответствующие материалы, познакомиться с книгами и статьями на указанные темы, обсудить это друг с другом и в конечном счете сформулировать предложения, которые могли бы быть представлены вниманию родителей, политиков, бизнесменов, официальных лиц и др.? С точки зрения конструкциониста образовательные содержания должны быть связаны с условиями их применения настолько тесно, насколько это возможно.

Другими словами, почему образование должно готовить к коммуналному существованию, а не коммунальное существование определять контуры образования? Когда каждый ответственно реализует свои практики в мире, тогда книги, математика и эксперименты не являются барьерами, которые нужно взять под угрозой наказания. Как не являются они и строительными блоками, из которых когда-нибудь в далеком будущем мы возведем прекрасную жизнь. Скорее, это ресурсы для текущих диалогов и связанных с ними практик. Овладение книгами в этом случае больше напоминало бы открытие новых собеседников, а математика не напоминала бы отвратительное лекарство – чем она сегодня многим представляется, – которое надо обязательно принимать, даже если никто не может сказать, от какой оно болезни. Наоборот, математические техники могли бы стать необходимыми инструментами определения значимых изменений в феномене, оценки затрат и выгод, чтения демографических таблиц или эффективного сообщения друг о своих действиях.

Чтобы проиллюстрировать эти возможности, рассмотрим образовательную программу, реализуемую в медицинской школе в Лимбурге (Нидерланды). Традиционная медицинская подготовка предполагает экзогенный взгляд на знание, утверждающий, что практика должна дожидаться, пока «созреет ум». Поэтому только после трех лет учебы может представиться возможность серьезного погружения в решение задач медицинской практики. Однако в лимбургском эксперименте поступившие немедленно попадают в ученики к практикующему врачу. В практических условиях возникают вопросы, на которые студент не может ответить без обращения к соответствующим источникам (книгам, журналам, статистике). Отыскивая и осваивая их, студент совершенствуется как учащийся и только потом сталкивается с новыми значимыми практическими проблемами, которые вновь отсылают его или ее к необходимым источникам. Если студент прилагает все усилия, он высоко мотивирован на получение информации, а нахождение ее связано со специфическими контекстами использования¹.

К рефлексивному обсуждению

Профессиональные сообщества, сплотившись вокруг определенных взглядов на реальное и правильное, стремятся к изоляции от всего, что лежит за их границами. Речь идет не просто о двух культурах – естественнонаучной и гуманитарной, а об изоляции дисциплин внутри

¹ Еще одна иллюстрация: студенты-добровольцы из университета в Гейнесвиле, штат Джорджия, занимаются строительством жилых домов. Местные бизнесмены предоставляют деньги и поддержку для этого проекта, понимая, что эти дома будут проданы, а деньги пойдут на строительство новых.

естественных и гуманитарных наук и их подсекций. (Например, Американская психологическая ассоциация насчитывает сегодня более 50 подразделений, многие из которых выпускают свои журналы, организуют профессиональные конференции, имеют иерархию имен и т. д.). Для нас наиболее важно то, что внутри дискурсивных сообществ практически нет средств для вопрошания собственной легитимности – своих сильных сторон, слабостей, ограничений и умолчаний. В естественных науках, например, можно легко поставить под сомнение валидность любой из частей исследования, но ценность самого исследования почти никогда не становится предметом дискуссии. В дискурсивных сообществах фактически отсутствуют механизмы признания потенциала альтернативных взглядов на мир. К примеру, у человека, обученного физиологическому исследованию, очень мало средств для усомнения в легитимности физиологии как формы истины или осознания выгод, которые могут принести альтернативные дискурсы из других областей (например, психологические, духовные или эстетические). В результате физиологический дискурс (как и любой другой) становится самореферентным и самодостаточным и в этом смысле отказывается от альтернативным формам артикуляции в диалоге.

В соответствии со сделанным ранее акцентом на переходе от авторитетного монолога к диалогу в образовании необходимо, чтобы авторитетные языки стали доступными рефлексивному обсуждению. То есть авторитетные дискурсы должны быть открыты оцениванию с альтернативных точек зрения, как признанных, так и неформальных. Сталкивая какой-либо профессиональный дискурс с интересами дискурсов, равных ему, – например, рассматривая биологические тексты в категориях доминирующих в них литературных метафор или литературные тексты в категориях имплицитных политических идеалов, – мы начинаем отмечать сильные и слабые стороны изучаемой работы и добавляем новое измерение в обсуждение. Сталкивая авторитетные дискурсы с локальными и неформальными точками зрения, имеющимися в сообществе, мы проблематизируем эти дискурсы и обогащаем диалог. При этом аналитик тоже может осознать сильные и слабые стороны той точки зрения, которую он/она выражает.

Идея рефлексивного обсуждения обнаруживает дополнительную перспективу в свете давно ведущихся дискуссий по поводу «скрытых учебных планов», обозначающих верования и ценности, которым имплицитно обучают школы. Аргумент скрытых учебных планов заключается в том, что любые дискурсивные практики несут с собой ряд ценностей и связанных с ними способов действия. Инкорпорировать профессиональный дискурс (и способы обучения ему) – значит косвенно впитывать также присущий ему порядок культурной жизни. Например, Боулес и Гинтис [17] дали описание, как среди учеников, выходцев из рабочего класса в частности, поощряется послушность, пассив-

ность и неоригинальность. Эппл [9] рассмотрел, как при создании учебников и других учебных материалов ценности и верования определенной группы закрепляются в качестве «официального» знания. Ароновиц и Жиру [11] доказывают, что господствующие сегодня ожидания систематически препятствуют членам подчиненных групп достигать академического успеха, а также утверждают и оправдывают ценности доминирующих групп. О том же говорят Бейер и Эппл [14], с точки зрения которых вместо того чтобы воспитывать граждан, способных выражать собственные взгляды на нашу коллективную жизнь, школы выпускают рабочих, готовых подчиняться мнениям других.

Большинство из тех, кто занимался эффектами скрытых учебных планов, делали сильный акцент на критической педагогике. К критике обращаются охотнее всего; именно посредством ее маргинализированные группы обретают уверенность в своих позициях. Однако стоит отметить две проблематичные особенности такого рода рефлексивности: во-первых, ее исключительная критичность, и во-вторых, ее напитанность ценностями освобождения. При всей своей императивности критическая рефлексивность имеет существенные ограничения. Критика, как правило, отказывает сообществам оппонентов в обладании собственной внутренней чувствительностью – в способности «правильно осмыслять окружающее с правильными целями» на основе собственных категорий. Осуждать «скрытые учебные планы» – значит вытеснять голоса тех, кто разделяет их ценности. Если использовать одну только критику, то потенциал этих дискурсов и практик подавляется, что не позволяет использовать их в локальных целях. С относительной точки зрения, развиваемой здесь, критика должна дополняться разными видами оценочного исследования. Задача рефлексивного обсуждения состоит не в том, чтобы расширять пропасть между культурными анклавами, а в том, чтобы через процессы интеринтерполяции обогащать формы культурной жизни.

Как уже отмечалось, в большинстве своем критический анализ поддерживает альтернативную, освободительную программу. Например, Макларен выделяет «направляющие референты свободы и независимости» [48, 201]. Жиру [29] утверждает, что мы должны демистифицировать официальные и скрытые учебные планы, выявив присутствующие им оценочные предпочтения, а затем отыскивать альтернативы этим доминирующим верованиям и ценностям. Ароновиц и Жиру считают, что мы должны «заложить стремление к культурному разнообразию в фундамент школьного образования и гражданской позиции» [11, 12] и «учить школьников беречь и отстаивать принципы и традиции демократического общества» [11, 34].

С нашей точки зрения подобные убеждения, несмотря на то, что они отражают ценные культурные традиции, ограничивают диалог. Они тоже возникают в авторитетных сообществах производителей

знания и потому стремятся к изоляции, подавлению и саморационализации. К примеру, какое место в образовательном процессе отводится тем, кто не верит во всеобщее равенство, начиная с ортодоксальных индусов или католиков и заканчивая теми, кто не станет «беречь розги»? И какая концепция равенства должна руководить нашими решениями: равенство возможностей, когда каждый получает прекрасный шанс, но те, кому не повезло, остаются в стороне, или равенство результатов, когда каждый обеспечен некоторой долей успеха? Столкнувшись с подобным разнообразием, либеральные учебные программы рискуют стать столь же иерархичными и репрессивными, как и институты, с которыми они борются.

Конечно, эти ограничения не проходят мимо внимания. Ароновиц и Жиру [11] напоминают нам, что не следует по-отечески навязывать «альтернативные» взгляды ученикам и учителям. Латер также фиксирует, что «слишком часто, попав в зависимость от своей версии истины и интерпретируя сопротивление как „ложное сознание“, освободительные педагоги не замечают, в какой степени „открытие возможностей“ становится чем-то, что делают сами освобожденные педагоги „для“ или „за“ тех, кто еще-не-свободен» [40, 105].

На наш взгляд, ни одна педагогическая практика не может избежать обвинения в том, что она строится на этноцентрически обусловленном взгляде на благо. Это значит, что нельзя избежать истории отношений. Однако, поскольку концепции правильного и истинного вырабатываются именно внутри отношений, существование различий побуждает к развитию новых форм взаимосвязи. Иными словами, должны быть найдены такие формы обмена, благодаря которым разделенные группы могут создавать новые и, возможно, более содержательные порядки приемлемого. В дополнение к педагогикам оценивания и критики важно разработать формы творческого взаимообмена, практики, которые помогут прийти творческому сотрудничеству на смену конфликту и враждебности.

К генеративным отношениям

Традиционные представления о знании как содержимом «человеческого сознания» способствуют установлению четкой дистанции между учителем и учеником. Учитель «знает», ученики же поставлены в позицию объектов для оперирования – сознаний, которые надо заполнить содержаниями или рациональностями. С конструкционистской точки зрения индивид – не обладатель содержаний или рациональностей, а один из их участников. Знающие и рациональные утверждения – это не внешние выражения внутреннего сознания, а относительные достижения. То, что называется разумом, памятью, мотивацией,

намерением и т. п., есть результат скоординированной деятельности и договора внутри сообщества [15; 23; 43]. Для конструкционистского педагога главной задачей выступает участие в генеративных отношениях, отношениях, из которых ученик выходит с более широкими возможностями эффективного установления связей. Роль ученика меняется с объекта оперирования на субъекта отношений.

Исследования относительных процессов в классе играют сегодня важную роль. Например, Эдвардс и Мерсер [22] изучили разделяемые в классе значения и стоящую перед учителями задачу выявления обычно скрытых или имплицитных, базовых правил того, что разделяется. Подробный анализ совместно сконструированных учителем и учеником миров, особенно в контексте оценивания, содержится в работе Гроссен [33]. Уортам [58] демонстрирует, каким образом классные взаимодействия могут быть разрушены особенностями обсуждаемых примеров. Уолкердайн [52; 53] рассматривает жизнь учеников в качестве участников дискурсивного режима школы и демонстрирует способность ученика к множественному позиционированию в дискурсе. Исследование Саломона позволяет нам взглянуть на рациональное мышление как на процесс, *распределенный* среди участников ситуации в классе [50].

Но наиболее важно то, каким образом фокусирование на отношениях может обогатить педагогический процесс. Если не предметно-тематически или детоцентрически, то как мог бы строиться образовательный процесс, в истоках которого лежали бы отношения? В этом контексте можно более полно оценить ограниченность лекции или монологической презентации учителя. С конструкционистской точки зрения лекторы прежде всего демонстрируют свои навыки занимания дискурсивных позиций¹. Хотя можно добиться определенных выгод, обучая студентов моделям исполнения роли авторитета, простая демонстрация этих моделей не поможет начать им делать это самим. Другими словами, те процессы, которые необходимы для публичного производства авторитета, недоступны взгляду ученика. Часы подготовки – перечитывание текстов, просмотр заметок, исследование новых источников, дискуссии с коллегами, пробные и неудачные презентации в предыдущих контекстах – все, что может быть нужным для совершенствования лекции, по существу, скрывается от ученика. Такая скрытность, конечно, необходима для поддержания мифа об авторитете как личном достоинстве: «Моя лекция демонстрирует превосходство *моего* разума». Однако в основе всех этих подготовительных действий лежат диалоги, происходящие внутри профессионального поля, а то, что произносится с возвышения, – лишь локализованные их манифестации. Скрывать диапазон этого подготовительного участия означает

¹ См. также обсуждение Квейлом [39] традиционных экзаменов как способов поддержания институтов знания (власти) и подавления альтернатив.

не только поддерживать проблематичный миф, но и закрывать доступ к тем процессам, в которых должны участвовать ученики, чтобы эффективно коммуницировать.

Смещая фокус внимания с индивида на отношения, мы вновь можем по достоинству оценить труды социальных конструктивистов, посвященные процессам сопровождаемого учителем образования, семиотического обучения и отношений в зоне ближайшего развития [13; 21; 38; 57]. Они локализуют обучение внутри матрицы отношений. Однако, вероятно, наиболее заметный результат конструкционистского мышления к настоящему времени – возникновение совместного или кооперативного обучения [16; 51]. По мнению Брюффи [18], совместное обучение является процессом, первичную образовательную функцию в котором исполняет текущий взаимообмен между учениками. Обучение происходит через вовлечение, участие и критическое исследование вместе с другими. В идеальном случае благодаря социальному взаимообмену происходит формирование навыков выражения и ответа и открытие новых возможностей конструирования мира. Обучение становится «преобразованием наших заданных языком отношений с другими». Замечательной демонстрацией совместного обучения является курс творческого письма, организованный в университете штата Орегон писателем Кеном Кизи, который вместе с тринадцатью студентами написал и опубликовал коллективный роман «Пещеры» [41]. В других контекстах эта же самая логика привела к производству иных, напоминающих книгу, продуктов (в том числе компьютерных файлов, видеокассет, фильмов, брошюр), которые могут стать материалом для других групп (родителей, городского самоуправления, членов сообщества) или классов. По тому же мотиву группы учеников работают вместе над способами представления своих позиций в дебатах, материалами для обучения других или обращения к учащимся-единомышленникам в других частях земного шара.

Совместное исследование может быть рассмотрено лишь как первый шаг к раскрытию огромного потенциала центрирующегося на отношениях образования. Уже проводятся исследования форм и потенциала диалога в классе [20; 54] и важности дружественных отношений между учителем и учеником [49]. Очень привлекательной представляется также возможность распространения понятия отношения не только на социальные отношения в классе. Именно здесь педагогические инновации социальных конструктивистов могут сыграть особенно важную роль. Под влиянием работ Выготского в понятие «отношения» начинают включаться орудия и материалы, используемые в образовательном процессе. Но периметр отношений никогда не замыкается. Мы уже упоминали о связях между школой и насущными проблемами сообщества и нации. Мы только начинаем осознавать, насколько широк горизонт целиком относительного образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хотя это может показаться достаточно спорным, но нужно понять, что в предложенных аргументах нет ничего, что потребовало бы отказа от традиционных образовательных практик. Любые практики по-своему конструируют мир, несут с собой определенного рода ценности и стремятся к уверенному будущему ценой других практик. Представленная в тексте эпистемология альтернативна традиционной, поэтому она позволяет открыть новые возможности в образовании. Как мы показали, социально-конструкционистский подход к знанию указывает на необходимость большей демократичности при обсуждении того, что включается в образовательную практику, локальной укорененности учебных планов, стирания дисциплинарных границ, подчинения дисциплинарных дискурсов социально релевантным практикам, а образовательной практики – социальным проблемам, и перехода от предметно- и детоцентрированных вариантов образования к фокусированию на отношениях, длящихся, пока они имеют практическое значение. Многие из этих тем уже давно обсуждаются в образовании. В этом смысле социальный конструкционизм поддерживает определенные формы практики. Однако, на наш взгляд, потенциал конструкционистской эпистемологии еще не исчерпан. Будущее открыто для новых диалогов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания / Пер. с англ. Е. Д. Руткевич. М., 1995.
2. *Витгенштейн Л.* Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы / Пер. с нем. М. С. Козловой и Ю. А. Асеева: В 2 т. Т. 1. М., 1994.
3. *Выготский Л. С.* Мышление и речь // Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. / Под ред. В. В. Давыдова. М., 1982.
4. *Дьюи Дж.* Демократия и образование / Пер. с англ. Э.Н. Гусинского, Ю. И. Турчаниновой, Н. Н. Михайловой. М., 2000.
5. *Келли Д.* Теория личности: психология личных конструктов / Пер. с англ. А. А. Алексеева. СПб., 2000.
6. *Рорти Р.* Философия и зеркало природы / Пер. с англ. В. В. Целищева. Новосибирск, 1997.
7. *Фуко М.* Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы / Пер. с фр. В. Наумова. М., 1999.
8. *Apple M.* Education and power. Boston, 1982.
9. *Apple M.* Official knowledge: democratic education in a conservative age. New York, 1993.
10. *Apple M.* Teachers and texts: a political economy of class and gender relations in education. New York, 1986.
11. *Aronowitz S., Giroux H. A.* Education still under siege. Westport, 1993.
12. *Baron J. B. et al.* Toward a new generation of student outcome measures: Connecticut's common core of learning assessment. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association. San Francisco, 1989.

13. *Becker J., Varelas M.* Assisting construction: the role of the teacher in assisting the learner's construction of pre-existing cultural knowledge // *Constructivism in education* / Ed. by L. P. Steffe and J. Gale. Hillsdale, 1995.
14. *Beyer L., Apple M.* The curriculum: problems, politics and possibilities. Albany, 1988.
15. *Billig M.* Arguing and thinking: a rhetorical approach to social psychology. London, 1987.
16. *Bleich D.* The double perspective: language, literacy and social relations. Oxford, 1988.
17. *Bowles S., Gintis H.* Schooling in capitalist America: educational reform and the contradictions of economic life. New York, 1976.
18. *Bruffee K. A.* Collaborative learning: higher education, interdependence and the authority of knowledge. Baltimore, 1993.
19. *Bruner J.* Culture of education. Cambridge, 1996.
20. *Burbules N.* Dialogue in teaching: theory and practice. New York, 1993.
21. *Constructivism and education* / Ed. by M. Larochelle, N. Bednarz, J. Garrison. Cambridge, 1998.
22. *Edwards D., Mercer N.* Common knowledge: the development of understanding in the classroom. London, 1987.
23. *Edwards D., Potter J.* Discursive psychology. London, 1992.
24. *Foucault M.* Power/knowledge: selected interviews and other writings, 1972–1977. New York, 1980.
25. *Freire P.* Pedagogy of the oppressed. New York, 1972.
26. *Friere P.* The politics of education: culture, power and liberation. South Hadley, 1985.
27. *Gergen K. J.* Realities and relationships: soundings in social construction. Cambridge, 1994.
28. *Gergen K.J.* Social construction and the educational process // *Constructivism in education* / Ed. by L. P. Steffe and J. Gale. Hillsdale, 1995.
29. *Giroux H.* Border crossings: cultural workers and the politics of education. New York, 1992.
30. *Glaserfeld E. von.* Radical constructivism and Piaget's concept of knowledge // The impact of the Piagetian theory on education philosophy and psychology / Ed. by F. B. Murray. Baltimore, 1979.
31. *Glaserfeld E. von.* The reluctance to change a way of thinking // *Irish journal of psychology*. 1988. Vol. 9. № 1.
32. *Greenberg D., Sadofsky M.* Legacy of trust: life after the Sudbury Valley School experience. Sudbury Valley, 1992.
33. *Grossen M.* L'interaction sociale en situation de test: Unpublished doctoral dissertation. Neuchatel, 1988.
34. *Hollingsworth S., Sockett H.* Positioning teacher research in educational reform: movement and momentum // *Teacher research and educational reform* // Ed. by S. Hollingsworth and H. Sockett. Chicago, 1994.
35. *Holzman L.* Performing psychology: a postmodern culture of the mind. New York, 1999.
36. *Holzman L.* Schools for growth: radical alternatives to current educational models. New York, 1997.
37. *Jackson P.* Life in classrooms. New York, 1968.
38. *Kozulin A.* Psychological tools: a sociocultural approach to education. Cambridge, 1998.
39. *Kvale S.* Examinations - a psychometric test or a censorship of knowledge? // *Nordisk pedagogik*. 1987. Vol. 7. № 4.
40. *Lather P.* Getting smart: feminist research and pedagogy with/in the postmodern. New York, 1991.
41. *Levon O. U.* Caverns. New York, 1990.

42. *Mehan H.* Learning lessons: social organization in the classroom. Cambridge, 1979.
43. *Myerson G.* Rhetoric, reason and society: rationality as dialogue. London, 1994.
44. *Olssen M.* The epistemology of constructivism // Access. 1995. Vol. 13. № 2.
45. *Osborne J.* Beyond constructivism // Science education. 1996. Vol. 80. № 1.
46. *Phillips D.C.* Coming to terms with radical social constructivisms // Science and education. 1997. Vol. 6. № 1–2.
47. *Piaget J.* The construction of reality in the child / Tr. by M. Cook. New York, 1954.
48. Postmodernism, postcolonialism and pedagogy / Ed. by P. McLaren. Albert Park, 1995.
49. *Rawlins W. K.* Teaching as a mode of friendship // Communication theory. 2000. Vol. 10. № 1.
50. *Salomon G.* Distributed cognitions: psychological and educational considerations. Cambridge, 1996.
51. *Sharan S.* Cooperative learning: theory and research. New York, 1990.
52. *Walkerdine V.* Counting girls out: girls and mathematics. Bristol, 1998.
53. *Walkerdine V.* Redefining the subject in situated cognition theory // Situated cognition: social, semiotic and psychological perspectives / Ed. by D. Kirshner and J. A. Whitson. Mahwah, 1997.
54. *Wells G.* Dialogic inquiry: towards a sociocultural practice and theory of education. Cambridge, 1999.
55. *Wise A.* Legislated learning: the bureaucratization of the American classroom. Berkeley, 1979.
56. *Wood D. J.* How children think and learn: the social contexts of cognitive development. Oxford, 1988.
57. *Wood T., Cobb P., Yackel E.* Reflections on learning and teaching mathematics in elementary school // Constructivism in education / Ed. by L. P. Steffe and J. Gale. Hillsdale, 1995.
58. *Wortham S. F.* Acting out participant examples in the classroom. Amsterdam, 1994.

СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ В КОНТЕКСТЕ: ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ГУМАНИЗМ¹

Каков «признак социального» в современной теории? Вообще, как нам следует относиться к демаркации феномена или области научного исследования? Если мы остаемся в границах с давних пор почитаемых и привычных дискурсов Просвещения и «научного мировоззрения», ответ приходит на ум немедленно. Постигая мир, в котором мы живем, подвергая его рациональному анализу и эмпирическому изучению, необходимо стремиться к онтологической ясности. Мы должны четко разделять предметы, иначе мышление станет туманным, а исследование может оказаться беспочвенным. Ясность в этих вопросах нужна также ради профессиональной эффективности. Когда области исследования строго разделены и цели различных профессий легитимированы, мы избавляемся от лишних усилий и позволяем науке двигаться вперед. В этом контексте различие социального и психологического, межличностного и социального, относительного и автономного создает условия для сосуществования продуктивных и дополняющих друг друга дисциплин исследования.

Однако с экспоненциальным ростом научного знания в XX в. мы быстро осознали ограниченность подобной «страсти к порядку». Различные анклавы значений, заявляя свои права на территории реального, изолируются от соседних (как правило, «менее весомых») областей. Когда же эксперты из враждующих лагерей пытаются сотрудничать, их модели часто оказываются несовместимыми: проверка гипотез в одной области противоречит мультивариативному моделированию в другой; организмические метафоры, предпочитаемые одними, сталкиваются с механистическими метафорами других; нативистские объяснения конфликтуют с энвайронменталистскими. Кроме того, любая ограниченная объяснительная база оказывается способной к бесконечной экспансии, стремясь в конечном счете включить в свой пропозиционный корпус всю человеческую деятельность (например, сведя любое действие к когнитивной схеме, биогенетике, микросоциальному процессу и т. п.). Все соперничающие формы объяснения приводятся в единую структуру, а чуждые аргументы отвергаются как нерелевант-

¹ Ориг. опубли. в сб.: *The mark of the social: discovery or invention?* / Ed. by J. D. Greenwood. Lanham, 1997. – *Примеч. пер.*

ные или непонятные. Наконец, в последнее десятилетие мы стали свидетелями стремительного увеличения числа междисциплинарных областей знания (исследования черных, женские исследования, исследования среды, исследования культуры, гомосексуальные исследования и др.). Всюду мы видим всеобщее недовольство традиционными дисциплинарными границами. Урбанистическая социология начинает сближаться с антропологией, социальная психология – с социальной лингвистикой, психология – с эволюционной биологией, культурная антропология – с литературным анализом, и т. д. Демаркация на основе феноменальных либо объяснительных критериев лишь препятствует такому взаимодействию. Гораздо выгоднее было бы, считают многие, «дать волю языку».

Но что еще важнее, различные интеллектуальные течения последних тридцати лет всерьез поставили под вопрос любые попытки разделения областей исследования. В своей книге «Слово и объект» Куайн [2] одним из первых выразил сомнение в возможности однозначной привязки дескриптивного языка к порядку наблюдаемых явлений, а сосюрровская семиотика продемонстрировала фундаментальную произвольность отношений между языком и референтом. Разработки в области истории науки и социологии знания поставили под угрозу любые демаркации, основанные на свойствах «самих феноменов». Как было показано, онтологические предпочтения и способы их реализации являются продуктами коммунального взаимообмена; мир как он есть не предъявляет никаких явных требований к нашим формам теоретизирования. Когда референциально базирующее значение заменяется коммунальным (культурным, историческим) описанием, тогда в фокус внимания попадают политические и идеологические компоненты демаркации. Требование определенным образом упорядочить дискурс и связанное с ним пространство практик может быть рассмотрено как авторитарное, корыстное и репрессивное в отношении тех, кто отказывается соглашаться с этим порядком (что подтверждают находки в области литературной теории деконструкции). Деррида [1] и другие анализируют значение любого высказывания не как нечто самостоятельное, а как зависящее от длительной истории употребления языка, в который оно включено. Рассматривать значение слова как прозрачное и трансконтекстуальное – значит отрицать его историю, вытеснять всю его обширную сеть взаимозависимостей и препятствовать возможности его творческого и разностороннего применения.

На этом фоне мне хочется двигаться дальше более диалогично. Я не выступаю против различий вообще, скорее, против различий, оторванных от исторического и культурного контекстов. Из представленного выше анализа ясно, что устранение различий угрожает деструкцией сообщества, поэтому задача состоит в том, чтобы поместить их в контекст текущего взаимообмена. Вместо того чтобы заранее абстракт-

но определять, что составляет «признак социального», я попытаюсь включиться в важный и давно ведущийся диалог, представив определенную концепцию социального, которая может направить обсуждение по интересному и потенциально значимому пути. При этом моя цель – не аполлоническая чистота, не приносящая удовлетворение временная передышка, а дионисический беспорядок, при котором каталитическое столкновение дискурсов может вызвать неожиданное смещение смысла. Эксперимент будет заключаться в том, что я присоединюсь к давнему диалогу, введу первичную и неизбежно непроясненную концепцию социального и, в целях дальнейшего развития диалога, разверну обсуждение в сторону более многогранной и прагматически ориентированной концепции. Такой более сложный взгляд получит значение в рамках и по причине своего местоположения в этом специфическом контексте.

СОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ В ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Появление экзистенциалистской мысли во Франции вызвало в среде французских гуманистов заметное беспокойство. Экзистенциалистская теория, на первый взгляд, воплощала многое из того, что было существенным для гуманизма. Главной ценностью, провозглашаемой ею, была индивидуальная независимость; кроме того, эта теория ставила превыше всего человеческую субъективность и свободу. В то же время экзистенциалистской мысли не хватало одного очень специфического элемента: нравственной или этической направленности. Слишком часто экзистенциалисты, казалось, жертвовали этической чувствительностью ради «беспричинных поступков» – спонтанных вспышек нестесненной активности. При этом экзистенциальный герой отрицал значимость истории, культуры и сообщества, т. е. какой бы то ни было заботы о благе других. Небольшая книга Сартра «Экзистенциализм – это гуманизм» [3] стала его ответом критикам; в ней он попытался показать, что в действительности экзистенциалистской теории моральная забота не чужда.

Аргументы Сартра оказались мало убедительными. Он полагал, что мы, в сущности, ответственны за свои действия. Но, выбирая себя, мы «выбираем всех людей» [3, 324]. Мы поступаем так, потому что всегда считаем, что то, что мы чувствуем, ценно, достойно или хорошо, а «ничто не может быть благом для нас, не являясь благом для всех» [3, 324]. Почему то, что является благом для одного человека, должно быть таковым для всех; как мы должны поступить с конкурирующими представлениями о благе; что, исходя из такой позиции, можно сказать об извечных бедах общества – эти вопросы остались без ответа.

Невзирая на нерешенность указанных проблем, настоящий текст, как и текст Сартра, строится в логике примирения тезиса, бросающего вызов гуманистическим ценностям, с определенными целями гуманистической традиции. В частности, я покажу, что если мы приходим к такому теоретическому образу, в котором социальное предшествует личному, то это подрывает базовые догматы гуманистического подхода. Но в силу того, что многие гуманистические идеалы тесно сплетены с западной традицией и их разрушение было бы величайшей потерей, о «переходе к социальному» следует размышлять с большой осторожностью.

Я буду осуществлять свой анализ с точки зрения того, что можно было бы назвать радикальным социальным конструкционизмом. К конструкционистским текстам я причисляю все современные источники, в которых исследуются способы использования людьми языка в целях достижения понятности, а также влияние этих способов на человеческое существование, т. е. множество работ по социологии знания, истории науки, дискурсивному анализу, критической теории, феминистской теории, семиотике, литературной теории, риторическому анализу, теории коммуникации, герменевтической теории и постмодернистской политической теории и философии.

Из этих подходов вряд ли можно вывести однозначное описание социального конструирования; между их базовыми допущениями есть множество нестыковок. Некоторые исследователи продолжают изучать разные формы психологического функционирования (например, намерения, мышление, переживания), другие отстаивают материалистическую метафизику, третьи же убеждены в существовании макросоциальных институтов. Радикальный социальный конструкционизм помещает все эти допущения в скобки. Если не обращать внимание на объективацию, лежащую в основе всех этих описаний, то психологические, материалистические и макросоциологические понятия (среди прочих) предстают единицами дискурсивных практик. Они обязаны своей понятностью относительным процессам, т. е. формам координации между двумя или более людьми. Лингвистическое значение рождается не в сознании отдельного индивида, а в скоординированной деятельности или «совместном действии», как говорит Шоттер [5]. Что бы не было произнесено, высказывание остается лишенным значения, пока не будет наделено им (на время) модальностью отношения другого человека к нему, значение которого в свою очередь открыто для дальнейшего дополнения первым говорящим, и т. д. Фактически в процессе координации действий производится весь ряд осмысленных высказываний, включая конструкционистские описания. Поэтому точное значение отношений остается недетерминированным и зависит от дальнейших социальных координаций. Мы не можем локализовать отношения в языке, но можем сделать их ощутимыми в продолжающемся диалоге.

После того как конструкционистские идеи зазвучали, окрепли и образовали единое поле в гуманитарных и социальных науках, неко-

торое время считалось, что им близки гуманистические ценности. Благодаря своей критике бихевиоральной науки, желающей свести человеческую деятельность к шкальным оценкам, биологическим побуждениям, потенциалам реагирования, психическим механизмам и множеству других безжизненных метафор, с помощью которых психология попыталась покорить человечество, конструкционистские тексты оказались новым мощным орудием борьбы. В этом смысле конструкционистская мысль сыграла роль, подобную роли экзистенциализма в первые десятилетия своего существования, значительно усилив гуманистический голос в социальных науках. Но по мере обсуждения гуманистические мыслители стали находить все больше негативного в экспансии конструкционизма. При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что многие центральные для гуманистической традиции концепции и ценности отвергаются или разрушаются конструкционистским мышлением. Стали говорить, что конструкционистская теория, проповедуя безграничный релятивизм, не берет на себя никаких моральных или этических обязательств, что она не дает оснований для отказа от самых низких и бесчеловечных действий. Ее ментальность, базирующаяся на принципе «все сойдет», свидетельствует о чудовищном моральном банкротстве.

Ниже я попытаюсь, во-первых, исследовать ключевые эффекты влияния полностью реализованного конструкционизма на гуманистическую традицию, и во-вторых, изучить, как данный способ мышления может порождать гуманные формы культурной жизни. Решение обеих задач должно расширить значение и следствия специфического способа описания и объяснения социального. Относительно первого случая я покажу, что гуманисты в общем недооценили глубину критического воздействия конструкционизма на свой проект. «Безграничный релятивизм» – это лишь первый симптом массовой утраты веры в гуманизм. Затем я постараюсь показать, что в лоне конструкционистского письма можно локализовать альтернативный горизонт понимания, и если мы выявим потенциал этой концепции социального, перед нами откроется возможность построения гуманизма с новым лицом. Мы обнаруживаем в специфически относительном гуманизме новые значимые средства реализации традиционных представлений о человеческом существовании. Кроме того, в рамках этого подхода мы получаем более сложную разработку собственно социального взгляда на человеческую деятельность.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКЦИОНИЗМ: ДОКЛАД ОБ УГРОЗЕ ГУМАНИЗМУ

Я предполагаю, что те формы аргументации, которые следуют из доведенных до конца конструкционистских постановок, могут быть

абсолютно убийственными. Они способны подрывать, уничтожать или делать подозрительной – даже бессмысленной – любую форму пропаганды, декларации, авторитета или протеста, включая свою собственную. Формы аргументации, разработанные в конструкционистских кругах, недалеко от того, чтобы стать «оружием всеобщего уничтожения» в эволюционирующем производстве человеческого смысла. После полного их выражения говорить или делать больше нечего. Здесь я хотел бы обозначить лишь отдельные перспективы этих постановок, в данном случае связанные с ключевыми допущениями гуманистической традиции. Я не буду приписывать ответственность за критику кому-либо конкретно (что само по себе было бы проблематичным в свете конструкционистских аргументов), а просто представлю ее в естественном виде, соответствующем некоторым ключевым предположениям гуманистической традиции.

Субъективный опыт. В гуманистическом взгляде на человека субъективный опыт является наивысшей ценностью. Сознательный опыт считается неотделимым от человеческой идентичности. (Жертва несчастного случая, которая никогда не придет в сознание, но чью жизнь могут поддерживать машины, сразу оказывается маргинальной.) Ставить превыше всего субъективность отдельного индивида – значит обеспечивать будущее проекту человечества. «Но, – спрашивает конструкционистский критик, – на каком основании мы отдаем предпочтение внутреннему личному опыту, а не внешней реальности; психологической, а не материальной действительности?» Оппозицию субъекта – объекта нельзя обосновать чем-либо «существующим»; для подобного разделения нет никаких приемлемых философских оправданий. Не является ли в таком случае это предпочтение продуктом уникальной ситуации культурной истории? Нет ли множества иных способов концептуализации человеческого сознания? Не известны ли нам различные описания человеческой деятельности в мире, которые обходятся без упоминания человеческого сознания? И если понятие человеческой субъективности является необязательным, т. е. представляет собой нашу собственную культурную конструкцию, то что можно сказать в пользу ее коллективной объективации? Не является ли это понятие средством оправдания традиции самодостаточного индивидуализма, в которой наибольшим значением наделяется мое субъективное состояние, а нарциссизм становится культурным хобби?

Человеческая независимость. Понятие «человеческая независимость» тесно связано с понятием «индивидуальная субъективность». Ответственное рассуждение и выбор совершаются именно в области индивидуального сознания. Выбор, основанный на рассуждении, представляет собой отличительный признак сознания. Однако презумпция человеческой независимости демонстрирует еще одно важное измерение традиционного гуманистического проекта, так как видит истоки деятельности и справедливого общества в индивиде. Поскольку

ку наши поступки независимы, мы можем выбирать то, что будет лучше для других, и отказываться от моделей поведения, наносящих им вред. Но здесь на сцене снова возникает отверженная конструкционистская критика. В отношении данного случая большая часть работы была проведена раньше в других интеллектуальных кругах. Презумпцию независимости в значительной мере поколебала в XX в. наука, показавшая, что индивидуальную деятельность лучше всего анализировать с опорой на предшествующие ей условия и что понятие «независимость» – неудачный и мистифицирующий пережиток туманной средневековой метафизики.

К этому конструкционизм добавляет ряд других аргументов. Понятие «независимость» потеряло часть своей силы в результате нашей предшествующей деконструкции сознания. Понятия «сознание» и «независимость» переплетены настолько тесно, что отказ от одного фактически означает отказ от другого. (Утверждение о том, например, что я не способен сознательно распоряжаться личной независимостью, едва ли может быть признано осмысленным.) Кроме того, спрашивается, почему мы должны предполагать существование некоего изначального источника (чревовещателя или двойника), находящегося где-то внутри нас и дергающего за нити публичных действий? Мало того что не существует никаких убедительных доказательств такого предположения, выдвижение подобных аргументов проблематично как в отношении объяснения публичных действий, так и в отношении того, что может вероятнее всего стоять за ними. Эта ситуация сходна с допущением о существовании Бога, который управляет движением облаков или извержениями вулканов. Такое допущение требует внимания к двум вещам: естественным погодным условиям и настроениям сверхъестественного существа. Чтобы предсказывать погоду, нам надо угадывать эти экзотические настроения.

В каком смысле, сомневается дальше критик, вообще возможно свободное и беспрепятственное рассуждение? Способен ли я принять нравственное решение действительно самостоятельно, без влияния других? Если я целиком отбрасываю культурный язык – язык справедливости, моральной ценности, равенства и т. п., – то на каких основаниях я способен выносить суждение? Освободив индивида от культуры и оставив за ним право абсолютно свободного выбора, не обнаружим ли мы себя с пустым сосудом, лишенным возможности концептуализировать даже то, что значит иметь выбор?

Индивидуальная свобода. Многие гуманисты считают понятие «свобода» ключевым компонентом своей традиции. Мы должны, говорят они, ценить свободу каждого человека, наделенного, подобно нам, неповторимой субъективностью и способностью к добровольному и ответственному действию. Угнетение в любой форме означает отрицание индивидуального способа выражения данным человеком его

фундаментальной человеческой сути. Именно эта мысль лежит в основе представления о неотчуждаемых правах человека, универсальных правах свободного индивидуального действия без вмешательства или контроля со стороны других. Но когда сегодня субъективный опыт, а также связанное с ним понятие «индивидуальная независимость» оспариваются в конструкционистском подходе, как мы должны рационализировать понятие «свобода»? Если сознательное рассуждение оказывается культурной конструкцией, как и презумпция человеческой независимости, не подрывает ли это понятие «свобода» и вытекающую из него веру в фундаментальные права человека? При этом, добавляют многие феминистские исследователи, нужно внимательно присмотреться к самой привычной фразе «права человека». Не имеет ли ценность свободы андроцентрического происхождения? Не оправдывает ли она мужскую свободу, в частности, свободу от обязательств, семьи, сообщества, т. е. всех форм взаимозависимости?

Конечно же, можно возразить, что вовсе не обязательно рассматривать понятие «свобода» в качестве основополагающего; мы можем избрать более инструментальный подход, в рамках которого этот термин и родственные ему понятия («права», «самобытность», «справедливость») используются для осуждения репрессивных условий в обществе. Свобода в этом случае служит как категорией моральной оценки, так и лозунгом эмансипации. Это действительно резонное возражение, в подтверждение которого можно привести достижения различных активистских групп (например, женщин, черных, геев). Однако такой взгляд вряд ли можно считать удовлетворительным, потому что в мире плюралистической морали об угнетении можно заявлять с разных позиций, так что эмансипация для одной группы означает порабощение для другой. Не случайно в последние десятилетия наблюдается рост «требований прав». Этот жанр столь популярен и назойлив, что опытные и скептические обозреватели прозвали его «правотрепом». Так что свободы как формы риторики недостаточно.

Моральная ответственность. Как было упомянуто выше, понятия «субъективность» и «независимость» тесно связаны с презумпцией моральной ответственности. Если индивид всецело свободен в своем выборе, то этот выбор сопровождается ответственностью за поступок, который не нанесет вреда другим и неоправданно их не стеснит. Каждый несет ответственность за свои действия, а значит, может быть наказан или вознагражден за свое поведение в отношении других. Поэтому в основе нравственного или гуманного общества лежит моральная ответственность составляющих его индивидов. Но точно так же, как была обнаружена проблематичность сознания, индивидуальной независимости и свободы, мы находим, что моральная ответственность не имеет никаких оправданий. Действительно, как человек может отвечать за себя, если не существует частного, внекультурного Я,

руководящего всем? Откуда может морально продвинутый индивид взять набор личных нравственных принципов, как не из хранилища культурных смыслов, находящегося в его распоряжении? И если при моральном рассуждении человек прислушивается к культурной машине внутри себя, то какой голос следует ему предпочесть? Не напоминаем ли мы полифонические романы, в бахтинском смысле, говорящие различными голосами и отражающие различные традиции? Если мы наследуем плюрализм моральных способов понимания, то на каких основаниях можно совершать между ними выбор, как не с позиции еще одного унаследованного способа понимания? Наконец, если моральное рассуждение по сути своей культурно обусловлено, то в каком смысле мы оправданно считаем индивидов ответственными за гуманное общество? Разве индивидуальная вина не является мистификацией нашей взаимозависимости? Я вскоре вернусь к этому вопросу.

ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГУМАНИЗМА К ОТНОСИТЕЛЬНОМУ

Собранные выше аргументы – общие для конструкционистских дискуссий, если брать в целом, – подрывают самые основы традиционного гуманизма, базовые допущения, с которыми были связаны надежды на более нравственное, гуманное и солидарное общество. Этим аргументам сложно что-либо противопоставить – кроме самоуспокоительной антипатии, – поскольку любые возражения опровергаются указанием на идеологический, риторический и конструктивный характер этих возражений. Если же мы не устоим перед силой деконструктивных аргументов и обернем их рефлексивно на самих себя – по сути, деконструируя деконструкцию, – нам больше нечего будет обсуждать. Любой диалог прекратится. Но не стоит делать столь прискорбный вывод из настоящей дискуссии. В действительности видеть тут нигилизм можно только изнутри гуманистической традиции. Если мы временно возьмем гуманистическую перспективу в скобки, т. е. рассмотрим ее как одно из многих описаний, то раскроем 1) возможный вклад гуманистической мысли в построение гуманного и солидарного общества и 2) позитивный потенциал радикального конструкционизма.

Что касается первого пункта, то очень проблематично, что на наследие гуманизма вообще можно возлагать надежды. Существует очень мало свидетельств того, что вера в индивидуальную независимость, свободу и моральное рассуждение – играющая ключевую роль в западной традиции, начиная, по крайней мере, с Просвещения и вплоть до нашего времени, – способствовала гуманному обращению с человеческими существами. Массовые уничтожения людей в западных обществах не прекратились после XVII в. – эпохи, которой часто приписывается роль ис-

тока гуманистической мысли. Кроме того, сегодня, когда мы быстро идем к состоянию глобальной деревни, непонятно, как гуманистические допущения могут помочь нам при столкновении с чужим – с другими людьми, чьи ценности и верования непохожи на наши. Гуманизм не только игнорирует противостоящие ему метафизики (например, материализм, конструкционизм), но и придерживается концепции индивида как, в сущности, изолированного в собственном субъективном опыте и принимающего решения в идеальном пространстве, свободном от навязчивого влияния общественного мнения. Лучшее, на что можно надеяться в такой перспективе, – то, что будущая ситуация в мире позволит мирно сосуществовать, независимо друг от друга, любым индивидам и любым культурным анклавам, самостоятельно определившим свой путь. Но условия в мире больше не позволяют нам жить в подобной независимости; сегодня мы осознаем, что все находимся на корабле, готовом в любой момент пойти ко дну. В таких обстоятельствах ставить во главу всего индивида – значит разжигать всепоглощающую вражду между людьми, стремящимися спасти лишь собственную шкуру.

В этом месте я хочу повернуть дискуссию в более позитивном направлении. Вместо того чтобы рушить и кромсать, рассмотрим еще раз конструкционистские аргументы и, в частности, имплицативную сеть присущих им допущений в целях выявления более обещающего потенциала. Есть ли в них что-нибудь, что может способствовать построению гуманного общества? Конечно, в конструкционистской аргументации много линий, значительно различающихся своим содержанием. Но есть одна область дискурса, которая, на мой взгляд, таит в себе обещание гуманных отношений во все более тесном мире. Рассмотрим подробно сеть взаимодополняющих аргументов, касающихся языка. Конструкционистские мыслители в целом отказываются от представления о том, что наш язык описания мира (или себя) функционирует наподобие зеркала или карты или что он имеет прозрачную и обязательную связь с порядком существующих вовне экзистентов. В большинстве своем они придерживаются некоторой разновидности витгенштейновского или базирующегося на употреблении (неопрагматического) подхода к языку, в котором основной акцент делается на понимании значения как вытекающего из употребления языка. Слова получают значение благодаря попыткам членов разных сообществ согласовать свои действия, поэтому значение языка вырастает из текущих отношений между людьми. Индивидуальное сознание перестает быть источником смысла и заменяется отношениями. То есть, если идти дальше, отношения определяют нашу способность означать (мыслить, быть понятными, в принципе считать себя индивидуальными агентами). Отношения предшествуют индивидуальному существованию, а не наоборот.

Если мы соглашаемся с первичной ролью отношений в достижении осмысленности, то появляется основание для пересмотра базовых до-

пущений гуманистической традиции. Мы можем, в частности, переопределить семейство гуманистических понятий в категориях человеческих отношений, понять их как укорененные в отношениях. Чтобы реконцептуализировать эти понятия в терминах относительной онтологии, рассмотрим их место в человеческом существовании.

Опыт как основывающийся на отношениях. Выше мы проблематизировали оппозицию субъекта – объекта, стоящую за понятием «личный» или «субъективный опыт». Выясним теперь, как преодолеть эту оппозицию и реконцептуализировать опыт в категориях отношений. Опыт можно рассматривать не как внутреннее зеркало внешней реальности, а как форму относительной деятельности. В этом случае он – не специфическая форма действия, отличная по типу от других, а деятельность, обозначаемая в терминах отношений, т. е. связывающая то, что в западной культуре принято считать индивидуальным существом, с другими «объектами» конвенциональной онтологии. Отсюда следует, что «иметь опыт» – значит вступать в отношение или общность, бытие-с. Такого рода реконцептуализация во многом опирается на феноменологическую традицию, идущую от Гуссерля и Мерло-Понти. Однако в отличие от феноменологии единство субъекта и объекта не признается здесь фундаментальным. Наоборот, сама идея опыта как относительной деятельности есть конструкция, вытекающая в данном случае из конкретной диалогической традиции.

В то же время мы должны значительно расширить эту концепцию. В частности, надо определить зависимость протекающего «опыта» от более широкого порядка отношений, в которые он включен. Деятельность переживания обретает свой смысл в процессах отношений. С этой точки зрения переживание счастья или печали отражает погруженность в специфическую культурную традицию. Предпосылкой моего ощущения реальности в каждую секунду является моя история в культуре; по сути, переживание «счастья» возможно только благодаря наличию в культуре определенного порядка согласованных практик. (Например, мы соглашаемся с тем, что счастье существует в рамках определенных отношений, выступающих условиями его ощущения.) Таким образом, феноменальное единство опыта (которое мы обычно обозначаем как «восприятие» или «переживание мира») представляет собой надстройку над отношениями. Иначе говоря, «сознательный опыт» – это отношения, говорящие через нас. Отношения создают предструктуру для непосредственного погружения в поток жизни.

Придавая «субъективному опыту» форму относительного процесса, мы не обязаны больше рассматривать свои субъективности как изолированные, отрезанные или отчужденные от других, непостижимые для них. Наоборот, каждый ощущает себя конституированным другими и конституирующим их. В некотором смысле мы являемся друг другом, наш сознательный опыт порождается друг другом. Для меня

иметь смысл здесь и сейчас – это, по существу, удваивать вас, действовать в качестве частичной реплики на вас. Если это удвоение мне не удастся, я не могу выстраивать осмысленные действия. В широком смысле я обязан всем, что ценю, отношениям, и все, что мне кажется недопустимым, я могу изменить через отношения. Индивидуальная субъективность есть признак не дифференцированности, а относительности. Поиск лучшего жизненного устройства является не нарциссическим, а коммунальным делом.

Независимость как вовлеченность в отношения. Вместо того чтобы рассматривать индивидов в качестве изначальных источников собственных действий (такое допущение делает индивида подобным Богу), вообще откажемся от оппозиции волюнтаризма – детерминизма. Альтернатива между этими символическими языками мнима, мы не должны ни избрать один из них, ни отстаивать один ценой другого. Лучше рассмотрим индивидуальные действия как всегда уже включенные в паттерны отношений. Мы получаем внутренний импульс (обозначаемый как мотив, сознание ценности или желание) в силу того, что опутаны определенными отношениями. Например, почему мы боремся за высокую самооценку, если не из-за того, что живем в западной культуре в определенный момент ее истории? У нас есть цель или жизненный курс не потому, что мы имеем внутренние мотивы, потребности либо биологическую предрасположенность, а благодаря формам отношений, частью которых мы являемся. Поэтому независимость можно с большей пользой концептуализировать как форму относительной вовлеченности. («Желать» – значит желать вместе, «выбирать» – значит отражать состояние своей погруженности в отношения.)

Если мы пересматриваем импульс к действию как продукт относительной вовлеченности, то можно также по-другому представить институты вины и ответственности. Считая отдельных индивидов ответственными за свои действия, мы символически занимаем позицию Бога, т. е. высшего судьи добра и зла, и в своей богоподобной форме успешно отказываемся от участия в культуре, принимая себя за всевидящее око, стоящее выше забот смертных. Напротив, если мы рассматриваем действие как результат отношений, наша чувствительность устремляется в горизонтальном направлении, способствуя осознанию относительной ответственности, исходя из которой мы подходим к отвратительным и жестоким поступкам с позиции любопытства к контексту. То есть мы расширяем сеть участия, рассматривая, как отношения (личные, опосредованные или со средой), в которые был вовлечен оступившийся индивид, привели к такому исходу. Поскольку мы расширяем относительный контекст, включая в него множество других людей, то следует также рассмотреть еще и их отношения и реакции на изучаемые действия. Если наш интерес достаточно велик, в конце концов может наступить момент, когда мы осознаем собствен-

ную причастность к данному поступку. Иными словами, вина и ответственность распределены в сообществе и, безусловно, в культуре. Это значит, что все мы имеем равный шанс присоединиться к построению более обещающего будущего. (К примеру, мы могли бы задуматься о своем участии в решении проблем наркомании, изнасилований, убийств и безработицы.)

Свобода как полифоническое выражение. С традиционной гуманистической точки зрения свобода является условием беспрепятственной реализации индивидуальности, выражением чистой и ничем не отягощенной независимости. Индивид способен совершать выбор без оглядки на культуру и даже с некоторым подозрением к ней. Когда ситуация видится им как репрессивная, она дистанцируется от Я, а вина за нее обычно приписывается другим. Если брак, дружба, сообщество или политические условия становятся раздражающе требовательными, то мы, исходя из гуманистического дискурса, должны «сбросить оковы», избавиться от социальных ограничений и вернуться к состоянию чистой свободы или независимости. Как показали Беллах и его коллеги [4], подобный стиль мышления часто ведет к распаду семей и уклонению от социального и политического участия. «Если отношения не приносят мне пользы, если они препятствуют моему развитию, то я выбираю свободу».

В противоположность этому относительный подход утверждает, что мы не можем избежать требований отношений и достичь состояния абсолютной независимости. Мы не свободны от отношений. Даже ощущение себя как неповторимой индивидуальности и переживания удовольствия и страдания рождаются в повседневном взаимообмене, поэтому мотив стремления к свободе тоже зависит от истории отношений. Осознание этого факта способствует, во-первых, ослаблению тенденции к обвинению других или обстоятельств, и во-вторых, усилению интереса к тому, с какой стороны мы причастны к обстоятельствам, считающимся репрессивными. Кроме того, наше внимание направляется на более широкие паттерны отношений, которые определяют форму или поддерживают существование настоящего (например, экономических отношений, отношений «человек – машина»). Наконец, надо начинать обсуждение альтернативных форм отношений, в которые должны вступать люди, чтобы обрести «свободу». Состояние свободной и автономной деятельности – никак не связанной с окружающим социальным миром и поддерживающейся лишь за счет остатков прошлых отношений – в конечном итоге ведет к утрате способности полноценно участвовать в разворачивающейся вокруг культурной жизни. Мы переходим не от давящего груза вовлеченности к свободе, а от одного порядка относительных требований к другому.

Нравственность как бесконечный разговор. Выше я высказал сомнение по поводу того, что несколько веков приверженности идее моральных принципов действительно принесли пользу человеческому существ-

вованию. Хотя в этом вопросе сложно дать окончательный ответ, мы могли бы очень грубо представить моральное рассуждение как имеющее большее влияние на человечество, чем сила оружия. Использование морального дискурса при решении сложных проблем конфликтов и страданий является в этом смысле позитивным шагом в культурной эволюции. Но при этом моральные принципы также часто служат оправданием самых жестоких поступков – начиная с крестовых походов и Великой инквизиции и заканчивая убийствами врачей противниками абортот. По мере того как мы приходим к такому миру, в котором каждый день сталкиваемся с субкультурами или цивилизациями, чьи моральные принципы отличаются от наших, апелляция к универсальной морали утрачивает свою эффективность. При встрече несоизмеримых практик моральные оправдания обычно лишь усиливают конфликт. «Глобальная деревня» требует нового шага в эволюции культурных ресурсов.

Очертим контуры относительной альтернативы. Как мы видели, акцент на отношениях, который делается в большинстве конструкционистских работ, ослабляет тенденцию морального осуждения другого (или себя). Вместо этого предметом интереса становится сеть отношений, толкающих к конфликтам или ошибочным поступкам. Но как, исходя из этого, мы должны поступить в ситуации несовместимости моральных традиций, когда группы нетерпимы к обычаям друг друга? В данном случае, опираясь на представление о коммунальном конструировании реального и правильного, относительный подход предложил бы изменить дискурсивные формы. Надо не «решить вопрос» морального превосходства или разумно разделить территории, а найти способ перемешать дискурсы, который позволил бы вступать в свободную игру с чужими означающими, т. е. формировать новые комбинации, новые метафоры и в конечном счете новые формы взаимозависимости.

Здесь важно отметить, что относительная ориентация не отвергает моральные рассуждения и заботу о нравственных принципах. Поступить так – значило бы разрушить традицию, а без традиции нет понимания. Скорее, это попытка начать реагировать на ситуации, традиционно ведущие к вынесению морального суждения, приглашением к разговору – к определенной форме отношений. Моральные принципы ограничивают диалог. В конечном итоге любая рациональность сводится к произвольной декларации: «Такова моя позиция», «Дальше я не пойду», «Это верно, потому что это верно», и в результате – разрыв. Относительный взгляд, наоборот, вынуждает нас, теоретиков, гуманистов и практиков, искать пути – разные пути – налаживания интегративного диалога. Если мы не можем не участвовать в конструировании культурных ресурсов, у нас есть шанс сделать вклад в выражение и мирную интерполяцию множества голосов – как внутри одной культуры, так и во всем мире. На мой взгляд, этот образ соответствует глубочайшим чаяниям гуманистической традиции.

ЭКСПЛИЦИРУЯ СОЦИАЛЬНОЕ

Я попытался поместить некоторую рудиментарную концепцию «социального» в контекст специфической дискурсивной традиции и затем на основе матрицы возникших напряжений эту концепцию точнее артикулировать. Благодаря такому ходу мы избегаем привнесения априорных и бесконтекстных убеждений и получаем возможность вырабатывать значение «социального» в диалогическом пространстве. В диалоге открываются новые перспективы понимания. Мы начали с имплицитного для многих социально-конструкционистских работ представления о социальном: представления о том, что значение – продукт коммунальной координации. Это ориентировочное допущение было после перенесено в контекст либеральной гуманистической традиции, которая выводит основания морального действия из концепции индивидуальной независимости. В этом контексте конструкционистские взгляды кажутся морально пустыми, поэтому, чтобы изучить слабые места либеральной традиции и парировать ее критические выпады, на сцену был выведен конструкционистский реляционизм.

Как мы вначале обнаружили, конструкционистские аргументы могут успешно ставить под сомнение как легитимность, так и осмысленность моральных принципов, основанных на гуманистическом индивидуализме. Проведенная критика фактически закрыла некоторые описательные и объяснительные возможности для формулирования альтернативного взгляда на социальное. В частности, этот взгляд не может строиться на традиционных допущениях о человеческом взаимодействии (например, о том, что социальный мир образуется в результате совместных усилий индивидуальных, сознательных, самостоятельных агентов). Заклучив такой способ понимания в скобки, мы попытались первично артикулировать относительного преемника индивидуального гуманизма. Так возник определенный взгляд на социальное, показывающий, что:

1) необходимость обращения к индивидуальным существам диктуется традицией, рассматривающей отношения как составленные из не связанных друг с другом частей. В таком случае встает вопрос, как одновременно остаться в этой традиции и отбросить ее семантический багаж. Это было проделано посредством употребления понятия «индивидуальная личность» для разговорного обозначения физических тел, участвующих в отношениях. Но при этом подразумевается, что единичные тела являются, согласно нашему пониманию человеческой деятельности (как противоположной физическому поведению), манифестациями отношений. По традиции люди представляют собой независимые сущности, но как раз эта традиция и ставится под вопрос. Индивидуальный актер, скорее, видится относительной единицей, поскольку получает значение как актер в ходе отношений;

2) необходимо переопределить язык «опыта», а значит, весь набор ключевых для гуманистической традиции психических предикатов. Для этого мы попытались придать новое значение опыту и его составляющим через деобъективацию, прагматизацию и индексикализацию. Сначала психические термины были отделены от своих предполагаемых объектов (или референтов в специфическом ментальном космосе), после чего им была дана форма единиц процессов относительной прагматики. Это значит, что данные термины не указывают на процессы, лежащие в основе отношений, а сами включены в относительные паттерны. Наконец, эти категории играют индексную роль в отношениях (например, в текущем разговоре), обозначая условия отношений («я»/«мое окружение»).

В широком смысле, мы начали с концепции социального, материалом для которой послужила традиционная оппозиция индивидуального – социального. То есть индивидуалистская концепция помогла придать значение абсолютно противоположному подходу – радикальному реляционизму. Но по мере развития относительной теории эта концепция социального начала перерабатывать язык индивидуального и переопределять индивидуальные атрибуты и процессы в рамках относительной онтологии. Постепенно указанная оппозиция была отброшена. В то же самое время мы видим, что относительную онтологию невозможно подвергнуть критике и привести к законченной форме. Для этой онтологии любая критика есть продукт отношений, и используемые ею понятия обретают значение в отношениях. Критика не может представить ни оснований, ни трансцендентальной рациональности, ни «веских аргументов» без договорного согласия. Отрицать процесс договора – это уничтожать возможность значения. С другой стороны, онтология радикальной относительности остается всегда неполной. Состояние полиморфной случайности сущностно необходимо, поскольку объективация и канонизация определенных положений вытесняет язык за границы диалогической сферы, в которой его значения рождаются и перерождаются по мере протекания разговора. Претендовать на неподвластность трансформациям – бессмертность эманаций индивидуальной психики (духа/разума) – значит становиться пустым местом.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Деррида Ж.* О грамματοлогии / Пер. с фр. Н. Автономовой. М., 2000.
2. *Куйин У. В. О.* Слово и объект / Пер. с англ. А. З. Черняка и Т. А. Дмитриева. М., 2000.
3. *Сартр Ж.-П.* Экзистенциализм – это гуманизм / Пер. с фр. А. А. Санина // Семерки богов. М., 1990.
4. *Bellah R. et al.* Habits of the heart: individualism and commitment in American life. Berkeley, 1985.
5. *Shotter J.* Cultural politics of everyday life. Toronto, 1993.

ОБЫДЕННОЕ, ОРИГИНАЛЬНОЕ И ПРИНИМАЕМОЕ НА ВЕРУ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ¹

Субъект психологии является исключительно текстуальным существом, родившимся в результате слияния определенных дискурсивных практик. Осмысляя субъект, исследователь едва ли способен выйти за рамки традиции, иначе он перестал бы быть понятным. Однако отливка того или иного характера в доступные дискурсивные формы – рискованное дело. Описания характера – того, что значит быть последовательной и идентифицируемой личностью, – выступают прерогативой в первую очередь масс. Они представляют собой центральные составляющие элементы конвенций обыденного языка и потому неразрывно вплетены в повседневные паттерны человеческих отношений. Например, когда люди говорят о своих стремлениях, верованиях, желаниях, надеждах, страхах и т. п., они не только вырабатывают и закрепляют соглашения, касающиеся онтологии личностного способа бытия, но и осуществляют паттерны отношений, базовыми единицами которых выступают подобные категории. (Высказывание «Я обожаю вас» не только утверждает, что состояние обожания присуще человеческим существам, но и одновременно включается в форму отношений, которые в равной степени определяют, что значит быть человеком.) Поэтому позиция психолога сомнительна в двух смыслах: во-первых, в связи с его/ее симбиотической зависимостью от существующих языковых сообществ, и во-вторых, в связи с формами жизни, которые его/ее письмо способно исказить либо разрушить².

В центре внимания предлагаемой работы находится вопрос достижения понятности. Текстуальное конструирование личности имеет ключевое значение не только для романистов, биографов или автобиографов; оно также жизненно важно для историков, политологов, теоретиков юриспруденции, философов знания, психологов и многих других. Перед ними стоит непростая задача: при помощи слов вызвать ощущение узнавания, ощущение того, что «я знаю и понимаю того, о ком они говорят». В то же самое время любой автор сталкивается с ма-

¹ Ориг. опубли. в сб.: *Reconstructing the psychological subject: bodies, practices and technologies* / Ed. by B. M. Bayer and J. Shotter. London, 1998.

² Для критической оценки эффектов психологического дискурса в социальной жизни см., например, работы Эдварда Сэмпсона [20], Хендерикуса Стема [23] и Хулиана Энрикеса и его коллег [14].

лозаметной, но важной проблемой: он должен опираться на дискурсивную предструктуру, предоставляемую культурой, но растворяющуюся при попытке ее повторения. Писатель должен полагаться на существующие аргументы понимания, иначе его самого перестанут понимать. Писать о том, что кто-то «чувствует впрок» или «хочет по горизонтали», – значит потерпеть неудачу в кооперативном достижении осмысленности. С другой стороны, воспроизводить существующую предструктуру – значит потерпеть неудачу в установлении различий: создании ощущения того, что данный субъект важен, что его следует выделить в текущей суматохе повседневной деятельности. Если писатель не предлагает аудитории ничего, кроме общих мест, он теряет свой голос, а его произведение становится еще одним скучным чтивом.

Каким образом профессиональный психолог как писатель маневрирует между опасностями банальности и абсурдности, одновременно заявляя о человеческой природе нечто отличающееся от общих мест? Эта проблема интересна с нескольких точек зрения. Традиционно риторический анализ концентрировался на художественной литературе, а литературный автор играл очень специализированную роль в культуре. Несмотря на то, что эта роль претерпевает исторические изменения, она долгое время определялась в терминах свободы писателя. Это означает, что нарушение правил привычной понятности ожидаемо или даже желательно для тех форм развлечения, просвещения или спасения, которые благодаря этому нарушению существуют. Поэтому анализ способов разработки характера в литературном письме, наравне с другими риторическими процессами, может ввести в заблуждение, если распространить его на иные формы литературного конструирования. С ростом риторического сознания в последние годы аналитики стали больше интересоваться литературным измерением гуманитарных наук. Наиболее заметные работы этого жанра – «Тропики дискурса» Хейдена Уайта [25], «Экономическая риторика» Дональда Макклоски [18], «Наука в действии» Бруно Латура [15], «Письменная культура» Джеймса Клиффорда и Джорджа Маркуса [27], социологические работы Брайана Грина («Литературные методы и социологическая теория» [11]) и Ричарда Брауна («Общество как текст» [5]), а также психиатрически ориентированные труды Дональда Спенса («Нарративная истина и историческая истина» [22]) и Патрика Махоуни («Фрейд как писатель» [17]). Предлагаемый анализ продолжает эту линию исследований. Его предмет – механизмы конструирования характера учеными-психологами¹.

В свете той роли, которую играет научная психология в современной культуре, подобный экскурс приобретает особое значение. Традиционно

¹ Настоящая работа продолжает мои предшествующие разработки по теме использования нарратива и метафоры при конструировании личностной идентичности [9].

считается, что строгое и объективное исследование психических процессов должно в конечном итоге вызвать улучшение качества культурной жизни. Чем больше мы будем знать об эмоциях, мыслительных процессах, памяти, мотивации, личностных диспозициях и т. п., тем более обоснованные решения мы сможем принимать в отношении образовательных практик, детского воспитания, выбора карьеры и множества других вопросов, включая лечение и профилактику психических заболеваний. В результате научные описания психических процессов начинают претендовать на истинность, обретение которой требует завоевания превосходства над конкурирующими формами дискурса (и тем самым их маргинализации). И все же, независимо от размаха и строгости исследовательских практик, результирующие описания представляют собой текстуальные образования. Психолог должен не меньше романиста использовать техники литературного конструирования, чтобы сделать научные данные доступными, и чем большей властью над научными описаниями обладают эти техники, тем меньше следов в изображаемом оставляют практики наблюдения, насколько бы строги они не были. Экспериментальные методы, систематическое измерение и изощренные статистические инструменты теряют как свою силу над текстом, так и способность обосновывать его истинность. Они больше не могут ни контролировать способы дискурсивного изображения «субъекта», ни оправдывать их. Поэтому проникновение в область текстуальных механизмов создания субъекта в психологической литературе подрывает объективность подобных описаний и способствует освобождению маргинализированных дискурсов.

В задачу данной работы не входит анализ всего диапазона используемых сегодня риторических техник. Моя цель скромнее – обрисовать три источника ограничений письма в профессиональной психологии, а также способ, которым эти ограничения влияют на форму представления личности. Сначала я направлю внимание на те вопросы, которые поднимает принадлежность психолога к культуре в целом, затем – на проблемы, возникающие в научной субкультуре, и в конце – на текстуальный характер лабораторной практики. Повторюсь: меня интересует только то, как психолог в роли ученого пытается балансировать между одинаково обязательными и противоположными требованиями конвенциональности и оригинальности.

СОЗДАНИЕ СУБЪЕКТА В КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ

Конечная задача психолога – нарисовать убедительную картину человеческого функционирования для аудитории, которая в течение всей жизни пыталась функционировать по-человечески. Большинство могут похвастаться тем, что относительно неплохо «знают людей», и

при этом склонны рассматривать свою повседневную адекватность в качестве доказательства способности разбираться в происходящем. Профессиональные психологи являются, конечно, точно такими же членами культуры и по этой причине разделяют принятые концепции личности. Этот фон и позволяет им в конце концов справиться с задачей достижения понятности. Подобно Роберту Бертону [6], который в XVII в. сумел превратить повседневные познания о меланхолии в пятисотстраничный трактат о причинах и способах исцеления этого недуга, психологи сегодня входят в стены лаборатории уже веря в то, что у людей есть рациональное мышление, эмоции, память и т. п. Культурная онтология личностного способа бытия редко ставится под вопрос, поэтому описания психологов обычно согласуются с окружающим этосом¹.

В этом контексте становятся ощутимы те едва заметные перемены в профессиональном конструировании личности, которые произошли в XX в. Как я попытался показать в другой работе, романтизм XIX в. вдохнул жизнь в обновленную форму средневековой «реальности глубокой внутренней сущности» [7]. Литературные, музыкальные, архитектурные и художественные практики того времени благоприятствовали определению личности в категориях глубокой энергетической силы, часто приравненной к душе и укорененной как в духовном, так и в природном мире. Именно проявление глубокой внутренней сущности в верности, вдохновении, горе либо моральных обетах придавало значимость личному существованию. Эти предположения, конечно, нашли отражение в характере главных героев романтических романов. В психологии данный культурный контекст стимулировал и сделал понятной фрейдовскую теорию бессознательного. Если бы не предструктура романтического дискурса (см. «Бессознательное до Фрейда» Ланцелота Уайта [26]), то психоаналитическая теория никогда бы не была сочинена и размножена².

Однако в XX в., когда романтизм был потеснен *Zeitgeist*³ модернизма, глубокая внутренняя сущность отошла на второй план. В современных учебных планах по психологии фрейдовской теории уделяется лишь самое ничтожное внимание (часто как историческому реликту или подходу, пригодному лишь для решения ограниченного круга проблем психического здоровья). В научных лабораториях теории Фрейда вообще не нашлось места. В модернистской культуре пре-

¹ Более полное описание современных допущений о личностном способе существования и их истоков см. в работе Амели Рорти «Разум в действии» [19].

² В этом смысле можно было бы рассмотреть недавние попытки проинтерпретировать литературу или иные культурные символы в терминах бессознательных процессов (см., например, «Предмет семиотики» Кайи Сильверман [21]) как возрождение в наше время концепции личности, созданной в XIX в.

³ Дух времени (нем.). – *Примеч. пер.*

обладает тенденция возврата к просвещенческим представлениям о человеческом функционировании. В XX в. ядром, вокруг которого конструируется характер, вместо глубокой внутренней сущности стали более доступные, по общему мнению, процессы наблюдения и рассуждения. Теперь люди оказываются понятны в основном в силу их переживаний и мыслей. Именно рассуждение и наблюдение, утверждает модернизм, ведут к знанию сути или пониманию, причем не только в науке, но и в визуальных искусствах, архитектуре, музыке, танце и т. д. И именно на способности рассуждения и наблюдения мы должны опираться, чтобы достичь прогресса и процветания (см., например, описание модернистских нарративов прогресса в «Состоянии постмодерна» Лиотара [2]).

Психологические науки в XX в., определяя форму своего существования, обращались к этому же запасу культурных верований. Две наиболее важные линии исследований в рамках основного потока были направлены на изучение 1) процесса научения (посредством наблюдения) и 2) процесса обработки информации (характера мышления). Каноническими работами в первой области стали труды Дж. Б. Уотсона, Ивана Павлова (в том виде, в каком они популяризируются в Соединенных Штатах), Б. Ф. Skinner и Кларка Халла, в которых описывались механизмы получения индивидуальными знаниями о мире или научения адаптироваться к миру, каков он есть. Все убеждало читателя в том, что индивид определяется в категориях его умения знать (из опыта) и приспосабливаться. В последние годы акцент сместился с научения на информационные процессы («когнитивная революция» в психологии). Многочисленная литература по аспектам внимания, понимания, когнитивных эвристик, сохранения информации и систем памяти обозначает для культуры, что главными составляющими человеческого характера являются процессы мышления.

Признание истинности обыденных предположений о природе человека свидетельствовало бы о том, что психологические описания были соответствующим образом поглощены доминирующей этнопсихологией. В этом случае психолог всего лишь выразил бы согласие с тем, что известно любому, и тем самым потерпел бы неудачу в производстве «инсайта». Вопрос о трансцендировании остается открытым: каким путем профессия сохраняет свой голос, выходя за рамки общих мест? На мой взгляд, успешное достижение данной цели происходит за счет привлечения метонимии, когда элементы обыденного диалекта используются в качестве знаков более общих, но неартикулированных целостностей. Развивая или дополняя образы, содержащиеся в этих фрагментах, ученый-психолог придерживается конвенций здравого смысла, но предлагает подлинно свежие идеи. Так, к примеру, характеризовать людей привычными словами как «умеющих находить дорогу» и обладающих «хорошим чувством ориентировки» – значит кос-

венно вводить более общий образ индивида как владельца своеобразной карты. Сопоставив его с широким акцентом на процессах рассуждения в модернистской культуре, результирующая теория легко приходит к терминам «когнитивного картографирования». Так, исследователи, начиная с Чарльза Толмена в 1930-х гг. и заканчивая экологическими психологами в 1980-х гг., выдвигают на рассмотрение культуры корпус теории (и подкрепляющих ее исследований) природы когнитивных карт (см., например, книгу Найссера «Познание и реальность» [3]). Подобное теоретизирование понятно главным образом потому, что оно строится на базе конвенций здравого смысла. Но глубже разрабатывая образ, содержащийся в этих конвенциях, оно вызывает ощущение оригинального научного вклада.

Две особенности этого процесса достойны особого внимания: первая заключается в экспансии культурного концепта личности в психологии, вторая – в его сужении. После того, как теоретик разработал общий образ, содержащийся в различных фрагментах осадочного дискурса, он может подвергаться процессу пропозиционной распаковки. То есть, локализовав руководящий образ или метафору человеческого бытия, психолог может дедуктивно вывести из него цепочку последовательных пропозиций. Распаковывая скрытую сеть значений, теоретик открывает новый порядок пропозиций в отношении природы человека, которых нет напрямую в обыденном языке. Например, один из наиболее риторически мощных образов в современной психологической литературе – образ сознания как вычислительного устройства или разновидности компьютера. На эту метафору наталкивают многочисленные знакомые описания людей, которые «вычисляют», «держат сведения в голове», «хранят воспоминания» и т. д. Найдя эту метафору, теоретик может сделать картину человеческого существа более живой с помощью терминов, заимствованных из сферы компьютерных технологий. В текущих теориях рассматриваются, например, такие темы, как распознавание свойств, хранение информации, вместилищная способность, рабочая память, воспроизведение информации, семантические коды, сенсорное сохранение и процессы раскодирования, которые не были изначально частью идиом здравого смысла, но которые могут ими стать, если созданная психологом конструкция личности получит статус «принятого знания».

Одновременно с разработкой доминантных образов, приводящей к неожиданным концептуализациям личности, психология также ограничивает культурное конструирование характера. В своей естественной среде, т. е. в неформальной коммуналной жизни, означающие персонального бытия подвергаются непрерывной катахрезе. Фрагменты описания личности попадают в многочисленные существующие и только возникающие контексты без риска социальных санкций. Иными словами, согласно Деррида, означающие имеют относительно

высокую степень свободы и потому их история и сложность пройденных путей все время увеличиваются. Но после того, как ученый-психолог присвоил культурный арго, заключил его в границы определенного образа и распространил соответствующий язык в культуре в форме «научного знания», культурные означающие начинают сдерживаться. Они игнорируются или порочатся как «простонародная речь». Например, по мере того как профессия все чаще определяет характер человека в компьютерных терминах, такие обыденные понятия, как «вычислять», «планировать» и «думать», теряют свое коннотативное богатство. «Думать об этом» означает теперь не «следовать внутреннему вдохновению» (один из коннотативных путей этой фразы), а «включать программы пропозиционной логики», как правильно запрограммированный компьютер. При такой дефинитивной фиксации не только пропадает лингвистическая гибкость; нормализация компьютерной метафоры приводит к отмиранию таких категорий, как «дух», «страсть», «душа», «творчество», «настроение» и «вожделение». Они идут вразрез с доминирующим образом разума как компьютера и поэтому не подходят для понимания человеческого характера.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В НАУЧНОЙ КУЛЬТУРЕ

Представители социальных наук – члены не только культуры в целом, но и определенных гильдий или «интерпретативных сообществ», существующих внутри академического пространства. Эти сообщества имеют свои истории текстуального формулирования и внутреннее понимание природы человеческого характера. В той степени, в какой ученый стремится быть понятным, он или она должен конструировать личность в границах конкретных традиций. Можно долго рассказывать многочисленные истории об этих границах и их нарушениях. Однако есть среди них одна, особенно уместная в качестве иллюстрации того, что многие называют крушением эмпирической традиции в последние десятилетия, а также связанного с ним снятия разграничений между наукой и искусством (фактом и вымыслом, реальностью и мифом, буквальным и метафорическим). И это снова история о балансировании между конвенцией и контрконвенцией при конструировании личности. Но особенно интересен ее иронический финал. В попытке преодолеть диктуемые консенсусом представления психологи успешно ниспровергли главные допущения, лежащие в основе эмпирической науки. Стремясь доставить «наслаждение текстом», они лишили научный текст объективной базы.

Когда-то ученые-психологи разделяли с научным сообществом определенный взгляд на ученого. Этот взгляд, в основном сконструиро-

ванный в рамках философии логического эмпиризма, рисует ученого героем. Ученый предстает человеком (феминистские критики утверждают, что это традиционно гендерная роль), которому его навыки наблюдения и рассуждения позволяют преодолевать обыденные мнения и политические предрассудки, раздвигать границы известного и добывать истину у природы. (Сходство подобного портрета ученого-героя с описанным Джозефом Кэмпбеллом героическим мономифом вряд ли случайно.) Поэтому получившие научную подготовку профессиональные психологи выходят на исследовательскую арену с уже готовым представлением об идеальной личности, понятность которого налагает серьезные ограничения на те образы человеческого бытия, которые могут быть получены в ситуациях исследования¹.

В свете тесной связи между эмпиристской конструкцией ученого и модернизмом в XX в. уместно вспомнить о предыдущих замечаниях по поводу центрального положения научения и познания в психологии. Научная психология никогда не смогла бы реабилитировать романтический взгляд на человеческое функционирование, поскольку он противоречит образу героического ученого. Для героя-ученого доказать с помощью рассуждения и наблюдения, что рациональность и восприятия людей управляются бессознательными, иррациональными силами, – значит разрушить сам образ, лежащий в основе науки. Ученых-психологов фактически обязали нарисовать такую картину человеческого функционирования, которая бы прославляла способности рассуждения и наблюдения. Работы Джорджа Келли по психологии личности прекрасно иллюстрируют желание согласовать представление ученого о себе с его описанием человеческого характера в общем. На первых страницах «Теории личности» Келли пытается вместо романтического представления о движимом глубинными силами существе кратко изложить свою теорию личностного познания: «Давайте посмотрим на „человека-ученого“... Когда мы говорим о „человеке-ученом“, то имеем в виду всех людей, а не только их особый класс, представители которого достигли положения „ученых“... Обычно говорят так: *конечная цель ученого – предсказание и управление*. Это краткое утверждение часто любят цитировать психологи, характеризуя свои собственные устремления. Однако, как ни странно, психологи редко приписывают аналогичные устремления людям, занятым в их экспериментах в качестве испытуемых. Получается так, как если бы психолог говорил себе: „Я, будучи психологом и, следовательно, *ученым*, провожу этот эксперимент для того, чтобы улучшить предсказание определенного феномена и управление им; тогда как мой испытуемый, будучи всего лишь человеческим организмом, явно

¹ Как указывают Уэстон и Кнапп [24], этот взгляд оказал также влияние на то, как литературная критика представляет ученого и тем самым ограничивает способ, которым научное мышление находит отражение в художественных текстах.

движим бьющими внутри его ключом неодолимыми влечениями“... Итак, что можно было бы ожидать, если бы заново поставили вопрос о человеческой мотивации и воспользовались взглядами на человека в долговременной перспективе, чтобы сделать вывод о том, чем именно задается направление его устремлений? Увидели ли бы мы его вековой прогресс в качестве функции от инстинктивных потребностей, биологических нужд или сексуальных побуждений? Или, быть может, в этой перспективе он обнаружит массовую тенденцию совершенно иного рода? Не окажется ли, что отдельная личность, каждая по-своему, присваивает себе скорее положение ученого, всегда стремящегося предсказывать ход событий, в которые она вовлечена, и управлять им? Не будет ли каждый человек иметь свои теории, проверять свои гипотезы и оценивать свои экспериментальные доказательства?» [1, 12–14]. На основе последнего предположения Келли выстраивает дальше свою теорию человеческого функционирования.

Однако если бы социальный ученый демонстрировал научному обществу лишь вариации своего образа, его/ее никто бы не заметил. Теоретические характеристики личности были бы простым повторением того, «что всем нормальным ученым давно известно». Поэтому главная проблема теоретика – превзойти границы привычной для научного сообщества понятности, одновременно сохранив ее. Эта проблема решается главным образом через процедуру пропозиционной распаковки, описанную выше. Ученый сосредоточивается на прояснении одной или нескольких подчиненных пропозиций, выводимых из доминирующей метафоры, но не копирующих ее. Так, например, все упомянутые выше центральные темы исследований когнитивных психологов выводятся из более общего мифа рационального ученого. Они достаточно необычны, чтобы создать впечатление появления нового знания, но в их основе все же лежит миф героического ученого.

Именно в этом месте была подготовлена почва для названного ниже опровержения. С расширением значений и артикуляцией новых форм дискурса границы доминантной метафоры размываются. Ее изначальный смысл искажается, рассеивается и в конце концов подвергается угрозе со стороны конкурирующих образов. Или, в смысле Деррида, по мере того как пути исходного означаемого удлиняются, наступает момент, когда оно подвергается деконструкции. Как раз такое распутывание господствующей метафоры помогло подорвать эмпиристскую концепцию ученого (и, следовательно, привилегию научного дискурса).

В частности, в результате прогрессирующей распаковки метафоры индивида как вычислительного устройства в различных исследовательских ситуациях индивиду начал приписываться все более широкий набор проактивных атрибутов. Индивид стал активно искать решения, просматривать память, составлять и осуществлять планы, обрабатывать информацию и т. д. в соответствии с внутренним замыслом.

Обычно считается, что человеческими существами двигают процессы, направленные «сверху вниз» (рациональность, воздействующая на мир), которым противоположны процессы, идущие «снизу вверх» (мир, определяющий, что рационально). Однако если индивид в образе компьютера становится все более похожим на автомат, работающий «сверху вниз», импульсы из среды пресекаются, т. е. становится сложно говорить об индивиде как о реагирующем на стимулы реального мира, потому что характер объективного окружения определяется внутренними операциями компьютероподобного индивида. Реальность внутри машины предусмотрена или задана только самой ее конфигурацией. Именно по этой причине Гринвальд охарактеризовал когнитивную систему как «тоталитарную» [12, 63]: она закрыта для внешнего влияния и стремится лишь к самосохранению.

Но в той степени, в какой люди изображаются в виде автоматов или компьютеров, в которых процесс определения того, «что происходит», направлен «сверху вниз», традиционный образ ученого-героя становится невозможным. В этой новой истории ученые больше не находят и не раскрывают природу неизвестного; в своих работах они способны обнаруживать лишь характер собственных машинных операций. Они регистрируют и отражают мир не таким, каков он есть, а таким, каким требуют их собственные системные процессы. То есть сама попытка утвердить и развить образ человеческого существа как рационального агента подчеркивает традиционное понятие рациональности, ядром которого выступает успешная адаптация к существующим обстоятельствам. Абсолютно рациональный индивид становится иррациональным.

ЛИЧНОСТЬ В ЛАБОРАТОРНОМ КОНТЕКСТЕ

Третья точка напряжения между банальным и экзотическим возникает в контексте эмпирического исследования в психологии. Традиционные ученые в подтверждение своих слов чаще всего ссылаются на методологические процедуры. В частности, считается, что контролируемый эксперимент позволяет объективно и строго отследить каузальные источники «поведения организмов» (от одноклеточных до целых обществ). Обычно предполагается, что, наблюдая поведение в систематически меняющихся условиях, ученый может проследить каузальные связи между причинами и следствиями точным и воспроизводимым путем. Каким бы образом не конструировался человеческий характер в научной психологии, его контуры должны быть близки (в целях логической последовательности) к этому центральному оправдательному тексту.

Можно указать множество способов взаимодействия предструктуры методологической понятности с психологическим рисунком чело-

веческой природы. Так, например, концепция эксперимента предполагает, что «испытуемым» предъявляются «стимулы», которые оперируют как «каузальные условия». Действия испытуемого в экспериментальных условиях рассматриваются как «реакции», вызванные стимулами. Многим исследователям вытекающая отсюда характеристика человека кажется морально проблематичной, поскольку такой взгляд на методологию фактически вычеркивает дискурс произвольности. Так как «стимульные условия вызывают реакции», ученому нельзя сделать вывод, что испытуемые произвольно выбирают последующие действия. Произвольный импульс, по сути, был бы чем-то вроде беспричинной причины, и поэтому он выпадает за рамки онтологических опор метода. Хемпден-Тернер писал: «Глаза исследователей лишены... первобытной чистоты; их орудиям предсказания и контроля нужен предсказуемый и контролируемый человек, чтобы провести Настоящий Эксперимент. Вот какой загадкой оборачивается человек. Уважаемый Доктор Джекилл открывает Мистера Хайда, зверь в человеке раскрывается бесчеловечными инструментами» [13, 4]. Похожим образом рассуждают Гигеренцер и Мюррей, которые в своей книге «Познание как интуитивная статистика» [10] показывают, что доминирующие понятия статистической логики, неотъемлемые от экспериментальной процедуры, служат базой для теорий человеческого познания. Как они считают, статистические орудия ученых, которые «считаются обязательными и престижными, ведут к трансформации метафор сознания» [10, 3]. Методология вписывается в изображаемый человеческий характер.

На мой взгляд, роль методологии гораздо шире, чем только влияние на психологическую концепцию личности. В значительной степени формы методологического письма требуют ответа на следующий вопрос: если цель научной деятельности – внести оригинальный вклад, который заключается в новой конструкции личности, то как ее можно надежно выразить в обыденных идиомах, посредством которых понимается мир? Выше я частично ответил на этот вопрос и сейчас попытаюсь расширить горизонт, сфокусировавшись на методологических процедурах. Эти процедуры обеспечивают психологу голос, но не на основе базовой рациональности, утверждающей превосходство миметических способностей данного научного описания, а, скорее, на основе риторической власти¹. Именно риторика экспериментальной процедуры оживляет или делает реалистичным закрытый аргумент. При помощи методологических процедур абсурдный язык преобразуется в правдоподобные объяснения человеческой природы.

¹ Упомянутые выше работы Уайта, Макклоски, Клиффорда и Маркуса и Латура соответствуют этой точке зрения. Однако, как ясно показано в «Литературном знании» Пейзли Ливингстона [16], это соответствие противоречиво.

Проиллюстрировать процесс осуществления подобной онтологической трансформации удобно было бы текстом, вошедшим в научные анналы. В данном случае это стандартный исследовательский отчет [4], появившийся в очень известном «Журнале социальной психологии и психологии личности». Исследование проводилось в одной из самых выдающихся психологических лабораторий страны (Стэнфордский университет) и финансировалось Национальным институтом психического здоровья и Национальным научным фондом. Уже само название отчета – «Воспринимаемая самоэффективность при совладании с когнитивными стрессорами и опиоидной активацией» – сообщает читателю, что в его содержании откроются тайны загадочного или неизвестного мира. Используемые термины, лишь отдаленно связанные с повседневным языком, своей непроницаемостью дают понять, что только серьезный ученый сможет оценить их значимость.

В нашей перспективе главной задачей авторов видится придание чужеродному теоретическому дискурсу осязаемости, т. е. получение от читателя согласия с тем, что «да, этот язык описывает события в настоящем и всем известном мире». В нашем случае это не так уж просто, поскольку в своей абстрактной и деконтекстуализированной форме такие теоретические понятия, как «воспринимаемая самоэффективность» и «когнитивные стрессоры», безнадежно двусмысленны. «Воспринимаемая» кем: мной, друзьями, знакомыми, психологом? Надо ли понимать «восприятие» в смысле непосредственного чувствования, дедуктивной категоризации, интерпретации, интуиции или как-либо еще? Полагается ли под «воспринимаемым» достоверно неизвестное, как в случае противопоставления «воспринимаемого мира» и «действительного мира»? А что означает понятие «самоэффективность»? Речь идет о телесном Я, духовном Я, бессознательном Я, свободном Я или чем-нибудь еще? Следует ли читать «эффективность» как «достижение», «воздействие», «силу», «результативность» или как-то по-другому? Термин «когнитивный» также отсылает к мышлению, восприятию, воспоминанию, измерению, планированию и множеству других возможностей. Они все подразумеваются? Какое из них нам надо избрать? Эти когнитивные способности сознательны или бессознательны, мотивированы или немотивированы, желательны или нежелательны? Снова язык обнаруживает свою туманность. Термин «стрессор» тоже интерпретируется разными способами (вызывающий физическое напряжение, направляющий, формирующий, делающий более гибким и т. д.). В каждом из этих переводов встречаются следы других означающих из постоянно расширяющегося порядка незаконченного означения.

Вводная часть отчета обеспечивает исходную уверенность в том, что теоретические категории указывают на объективные данные (означаемое). За это отвечают два риторических процесса: во-первых, со-

циальное подтверждение, и во-вторых, концептуальный сдвиг. Подтверждающая функция реализуется главным образом через цитирование других научных отчетов с близким предметом изучения. Лучшие всего подходят исследования, проводившиеся в той же самой лаборатории, поскольку, вероятно, только она предоставляет привилегированный доступ к рассматриваемому феномену. Но цитировать работы только одной лаборатории – значит дать повод усомниться в существовании явления, поэтому множество дополнительных метафор служит цели снятия остающихся сомнений. Читателю говорится, например, что «результаты различных исследований подтверждают важную роль воспринимаемого контроля при стрессовых реакциях». Из отчета создается впечатление настолько безусловного существования феномена, что другие исследователи уже начали успешно квалифицировать и углублять знание о его функционировании. Нас ставят в известность, к примеру, что «в некоторых исследованиях способности контроля было показано, что простое установление личного контроля над появлением неприятных событий, даже без снижения их интенсивности, уменьшает стрессовые реакции». Однако в конце концов эти многочисленные подтверждающие документы оказываются неадекватными, поскольку, по словам авторов, «предыдущие исследования полагались на вероятное допустимое посредничество манипуляций, а не прямой оценки». Или, если применять метафору ученого-героя, другие ученые на самом деле не наблюдали таинственного явления, а просто спекулировали на своих результатах¹.

Для придания дополнительной достоверности экзотическому языку помимо социального подтверждения через цитаты (техника, которая для тех же целей служила самим цитируемым авторам) применяется концептуальный сдвиг. Под ним я понимаю процесс, посредством которого двусмысленный термин наделяется значением через парадокс или сдвиг к другим концептам. Иногда происходит сдвиг к общеданному языку. Читатель узнает, например, что «воспринимаемая самоэффективность связана с верой человека в свою способность мобилизовать мотивацию, когнитивные ресурсы и способы действия, необходимые, чтобы справиться с требованиями данной ситуации». То, что определение дано в более-менее понятных терминах, риторически подтверждает существование феномена. Если мы не уверены в том, что X существует, то наша вера окрепла бы, узнай мы, что на самом деле $X =$ предположительно существующему Y . При этом реальная идентичность Y , не совпадающая с эквивалентной идентичностью таинственного X , не уточняется, как будто это очевидно. Что означает, например, «мобилизовать мотивацию»? Тратить больше калорий,

¹ См. также работу Латура «Наука в действии» [15], где он обсуждает функцию цитат при создании смысла в научном тексте.

подбадривать себя, включаться в дающие больше адреналина ситуации или что-нибудь еще? В других местах вводной части концептуальный сдвиг сакральной терминологии направляется больше в сторону от повседневного языка. Например, лишь немногие, за исключением избранных членов священного сообщества знающих, поняли бы определение когнитивного стресса: «Психологический стресс – результат относительного состояния, в котором воспринимаемые запросы среды превосходят или подавляют воспринимаемые способности совладания в лично значимых областях». Все слова полны глубины (стресс, запросы, превосходят, подавляют, совладание), но мало чем способствуют уменьшению двусмысленности мнимого феномена.

Гораздо более существенна для достижения онтологической трансформации вторая часть отчета – «Метод». В ней ученые сообщают о процедурах, использованных ими для проведения своего исследования. Она написана тем простым или буквальным языком, который призван позволить другим ученым воспроизвести (и значит, объективно оценить) описанное исследование. Нам же важнее всего то, что исследователи сообщают о средствах выявления или установления теоретически специфицированного феномена повседневным языком. Такие определительные звенья («операциональные дефиниции») обеспечивают прямое уравнение, в котором X (в экзотическом языке) = Y (в повседневном диалекте). Читателя осведомляют о том, что мистифицирующий теоретический язык можно в действительности свести к известным всем, абсолютно осязаемым фактам. Например, из предлагаемой рукописи мы узнаем, что условия, необходимые для производства «воспринимаемой самоэффективности», создаются путем помещения студентов колледжа в ситуацию «решения математической задачи» за 18 минут. «Высокая воспринимаемая самоэффективность» достигается, когда студенты могут работать над арифметическими заданиями с собственной скоростью; «низкая воспринимаемая самоэффективность» имеет место, когда проблемы предъявляются студентам быстрее, чем обыкновенно требуется для решения. Состояние измеряется опросником, в котором студентов просят оценить свою уверенность в решении проблем. «Когнитивный стресс» также оценивается опросником, в котором у студентов спрашивают, какой силы «стресс» и «психическое напряжение от нехватки времени» они испытывали. В результате чуждый дискурс становится близким, превращаясь в часть комфортного обыденного окружения.

Но онтологическая трансформация еще не завершена, поскольку теоретический язык, останься он привязанным к обыденным операциям, можно было бы легко посчитать излишним. Почему, спрашивается, он настолько важен, если все можно описать и обыденным языком? Третья часть рукописи, заключающая результаты исследования, ограждает от таких вопросов. В ней операциональный или повседнев-

ный язык предшествующей части прогрессивно избегается или подавляется. Исследователи все больше возвращаются к непривычному или экзотическому жаргону. Мы узнаем, например, что «воспринимаемо самонеэффективные испытуемые обнаруживали повышенную частоту сердцебиения, в то время как воспринимаемо самоэффективные не показали значимых отклонений в сердечном ритме». Говоря простыми словами, у решавших задания в быстром темпе сердце билось чаще, чем у действовавших с собственной скоростью. Однако такая форма описания не вводится. Цель состоит в утверждении реальности экзотического языка, что достигается в значительной степени благодаря обращению к указанному выше уравниванию экзотического и само собой разумеющегося. Как только это уравнивание получено, вторая его часть может быть по умолчанию опущена.

Рассматриваемое исследование характеризуется исключительной объективацией ментальной терминологии, поскольку стремится показать каузальную связь психического и материального миров. Вследствие того, что материальный мир в культуре модерна обычно считается объективным, а онтологический статус психологических терминов – подозрительным, продемонстрировать влияние психологических состояний на физические – значит сделать существование этих психологических состояний более прочным. Предполагаемое субъективное (и поэтому дискредитируемое) становится объективным. Такая «каузальная связь» устанавливается в нашем примере путем демонстрации того, что в зависимости от своего восприятия самоэффективности (психологическое состояние) испытуемые оказываются больше или меньше восприимчивыми к химическому препарату, налоксону, который блокирует опиатные или болеутоляющие рецепторы (физическое состояние). В этом описании воспринимаемая самоэффективность рассматривается как независимая реальность, несводимая к решению математических задач.

В заключительной части статьи – «Дискуссии» – онтологическая трансформация полностью завершается, так как здесь исчезает привычная понятность. Читатель знает из предыдущего, что чуждый язык отсылает к конкретным осязаемым событиям, сводимым к общеизвестному. Теперь, когда названная связь установлена, можно говорить почти полностью в новой онтологии. Читателю уверенно сообщается, например, что «результаты нашего эксперимента свидетельствуют о том, что воспринимаемая самоэффективность при совладании с когнитивными стрессорами активизирует эндогенные опиоидные системы». Реальность новой онтологии расширяется в дальнейшем посредством связывания ее с другими экзотическими, но научно приемлемыми описаниями. Наконец, чтобы придать вновь созданной реальности повседневную значимость, подчеркивается ее важность для личного здоровья: «Все большее количество данных свидетельствует о том, что

стресс от неэффективного совладания... наносит вред клеточным компонентам иммунной системы». Новоиспеченная личность, наполненная восприятиями самоэффективности, подготовлена лабораторной литературой к тому, чтобы отважиться вступить в схватку с когнитивными стрессорами окружающего мира.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Психолог не меньше писателя вовлечен в литературный процесс изображения человеческого сознания увлекательным и понятным. Фокусирование на характере этих проблем и средствах их решения в гуманитарных науках ставит под угрозу традиционную привилегию объективности, закрепленную за ученым. Но это не означает конца психологического исследования. То, что психологические описания риторически структурированы и в сущности создают свой предмет, не является основанием для отказа от них. Как я показал в работе «Реальности и отношения» [8], психологические термины являются важными составляющими культурных практик. Без словаря намерений, эмоций, разума, надежды и т. д. культурная жизнь претерпела бы радикальные изменения; большая часть того, что дорого нам в наших традициях, было бы утрачено. Кроме того, психология – уникальная дисциплина, строящаяся вокруг обсуждения этого словаря. Расширяя набор культурных концепций сознания, мы, возможно, увеличиваем насыщенность и богатство культурной жизни. Но осуществлять такое обсуждение безотносительно к процессу реификации и не обращая пристального внимания на то, как психологический дискурс может быть использован в обществе, одновременно и близоруко, и опасно. Нам достаточно спросить себя, было ли изобретение нескольких сотен категорий словаря «психических болезней» в XX в. вкладом в культурную жизнь, чтобы увидеть это. Настоящий текст писался в надежде на усиление профессионального осознания существующих недостатков и будущего потенциала.

ЛИТЕРАТУРА

1. Келли Дж. Теория личности: психология личностных конструктов / Пер. с англ. А. А. Алексеева. СПб., 2000.
2. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с фр. Н. А. Шматко. СПб., 1998.
3. Найссер У. Познание и реальность / Пер. с англ. В. В. Лучкова. М., 1981.
4. Bandura A. et al. Perceived self-efficacy in coping with cognitive stressors and opioid activation // Journal of personality and social psychology. 1988. Vol. 55. № 3.
5. Brown R. H. Society as text: essays on rhetoric, reason and reality. Chicago, 1971.

6. *Burton R.* The anatomy of melancholy. New York, 1977.
7. *Gergen K. J.* Metaphors of the social world // Metaphors in the history of psychology / Ed. by D. E. Leary. Cambridge, 1990.
8. *Gergen K. J.* Realities and relationships: soundings in social construction. Cambridge, 1994.
9. *Gergen K. J., Gergen M. M.* Narrative form and the construction of psychological science // Narrative psychology: the storied nature of human conduct // Ed. by T. R. Sarbin. New York, 1986.
10. *Gigerenzer G., Murray D.* Cognition as intuitive statistics. Hillsdale, 1987.
11. *Green B.* Literary methods and sociological theory: case studies of Simmel and Weber. Chicago, 1988.
12. *Greenwald A. G.* The totalitarian Ego: fabrication and revision of personal history // American psychologist. 1980. Vol. 35. № 7.
13. *Hampden-Turner C.* Radical man: the process of psycho-social development. Cambridge, 1970.
14. *Henriques J. et al.* Changing the subject: psychology, social regulation and subjectivity. London, 1984.
15. *Latour B.* Science in action: how to follow scientists and engineers through society. Cambridge, 1987.
16. *Livingston P.* Literary knowledge: humanistic inquiry and the philosophy of science. Ithaca, 1988.
17. *Mahony P.* Freud as a writer. New Haven, 1987.
18. *McCloskey D. N.* The rhetoric of economics. Madison, 1985.
19. *Rorty A.* Mind in action: essays in the philosophy of mind. Boston, 1988.
20. *Sampson E. E.* Cognitive psychology as ideology // American psychologist. 1981. Vol. 36. № 7.
21. *Silverman K.* The subject of semiotics. Oxford, 1983.
22. *Spence D.* Narrative truth and historical truth: meaning and interpretation in psychoanalysis. New York, 1982.
23. *Stam H. J.* The psychology of control: a textual critique // The analysis of psychological theory: metapsychological perspectives / Ed. by H. J. Stam, T. B. Rogers, K. J. Gergen. Cambridge, 1987.
24. *Weston C., Knapp J. V.* Profiles of the scientific personality: John Steinbeck's «The Snake» // Mosaic. 1989. Vol. 22. № 1.
25. *White H.* Tropics of discourse: essays in cultural criticism. Baltimore, 1978.
26. *Whyte L. L.* The unconscious before Freud. New York, 1960.
27. Writing culture: the poetics and politics of ethnography / Ed. by J. Clifford and G. Marcus. Berkeley, 1986.

КТО ГОВОРIT И КТО ОТВЕЧАЕТ В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ?¹

Одно начало и одно окончание
для книги – я никогда
не соглашался с этим.

Флэн О'Брайен. Две-птицы-на-плаву

Как же мы начнем? Так:

Мы вступаем в крошечный сумрак пустого слова, всегда обещающую суверенность из суверенностей, отличие скрытое и поглощенное тем, что под рукой, чему нынешний анализ может служить лишь тусклым намеком...

Или:

Я часто недоумеваю, почему при близких темах меня так притягивают работы одних ученых и так отталкивают работы других, почему одни авторы кажутся родственными душами, а другие – словно хотят заманить меня в непроходимую чащу слов...

Или мы скажем:

После недавнего цунами критического анализа эссенциализированного Я становится все труднее говорить о том, что авторство берет начало в умах и сердцах отдельных ученых. Действительно опасно приписывать теоретическое прозрение, рациональный довод, точное наблюдение или идеологический импульс определенной личности. Но в то же время мы не можем спокойно говорить и о «воздействии идей» на читателей, как будто есть некие девственные сознания, пассивно ожидающие «оплодотворения» от тех, кто больше знает или больше пережил. Скорее, мы осознаем, что собственный «голос» в научных кругах существует благодаря сообществу, т. е. обсужденному между собеседниками пониманию того, какой дискурс считать творческим, рациональным, объективным или моральным и чей голос, соответственно, займет центральное место в практике этого сообщества. Сформулированный подобным образом вопрос «кто говорит?» в гуманитарных науках плодотворнее всего ставить в терминах традиций сообщес-

¹ Ориг. опубли. в журн.: History of the human sciences. 1997. Vol. 10. № 3. Автор выражает признательность за критическое прочтение первого варианта представленной статьи Мэри М. Джерджен. – *Примеч. пер.*

тва. Существуют ли специфические институционализированные роли или позиции, которым приписывается статус или значимость, и существуют ли характерные формы дискурса или риторики, связанные с (ожидаемые от, предназначенные для) теми, кто занимает эти позиции?

Такая постановка проблемы ведет нас также к изучению принятых стратегий ответа тем, кто наделен голосом. Если мы придаем значение словам людей, обладающих определенным рангом или статусом и говорящих соответствующим своему положению способом, то каковы конвенции ответа? Например, мы даем политическим кандидатам право голоса, и когда они говорят в подходящей для кандидатов манере, слушатели позиционируются, согласно демократической традиции, как оценщики или судьи. Дальше принято обсуждать позитивные и негативные аспекты взглядов кандидата. В идеальных условиях могли бы последовать затем соответствующие вопросы или диалог. Обратный пример: журналисты в современном обществе тоже имеют свой голос, но допустимые для них способы обращения заметно отличаются от таковых в политике, и при этом типичный ответ на эти обращения – не оценка мнения, а поиск информации. Было бы странно (благие намерения ни при чем) обсуждать с журналистом мудрость или идеологические основания его или ее общения.

На исторической сцене гуманитарные науки появились относительно недавно, осознав себя в качестве самостоятельных дисциплин главным образом в XIX в. Борясь за легитимность, они не могли претендовать на авторитет, используя речевые формы, которые совершенно противоречат культурной традиции. Абсолютно новый аргумент функционировал бы подобно витгенштейновскому «приватному языку»; никто не смог бы понять его значимость или оценить его иллюкативную силу. Спрашивая «кто говорит?» в гуманитарных науках, мы должны быть чувствительны к предыстории этих дисциплин и к риторикам, принятым и трансформированным внутри их дисциплинарных матриц. Иными словами, при описании современных голосов нам следует учитывать их длительные временные траектории. С другой стороны, мы можем также обратить внимание на принятые модели ответа. Каким образом эти риторические традиции позиционируют свою аудиторию и как это влияет на гуманитарные исследования и общество в целом?

В дальнейшем будет предпринята попытка идентифицировать главные формы дискурса, которые мы наделяем привилегированным статусом, а также традиции авторитетности, питающие их. Затем мы рассмотрим, как эти риторические формы позиционируют своих чита-

телей. Нас интересуют унаследованные от западной традиции формы авторитетного голоса и их противоречивые ожидания от своих аудиторий. Сначала будут рассмотрены четыре модальности традиционного голоса: *мистическая, пророческая, мифическая и цивилизованная*. Чтобы рефлексивно сузить анализ, я обсужу после современные разработки в области риторик гуманитарных наук. Сами эти интеллектуальные движения, пробуждая интерес к литературным и риторическим средствам обретения текстом авторитетности, также вызвали появление новых жанров голоса и новых способов позиционирования читателя. Особое внимание мы уделим потенциальным достоинствам и недостаткам двух альтернатив: *автобиографической и беллетристической*.

Однако следует сделать одно предостережение. Любая попытка охарактеризовать риторические формы в гуманитарных науках сталкивается с обширным и постоянно меняющимся пространством. В нем нет никаких предписаний, регулирующих дискурсивные отношения, но есть много причин для смешения и интеринтерполяции дискурсов. Поэтому трудно выделить чистые риторические жанры. В одном произведении или даже в одном отрывке автор может использовать целый ряд тропов, взятых из различных традиций и предполагающих разные ответы. Кроме того, многие выражения двусмысленны и часто используются в разнообразных контекстах. Вдобавок границы гуманитарных наук совершенно проницаемы и допускают множество разнообразных влияний. Предлагаемый анализ отталкивается от ряда идеальных типов, с помощью которых мы можем упорядочить существующие тексты. Этот анализ предлагает свой «способ вслушивания», который может помочь критически отнестись к нашему риторическому наследию и его эффектам, а также к возникающим альтернативам.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТРАДИЦИИ

Несмотря на то, что существует бесчисленное количество способов организации текстуальных традиций и осмысления их отношений с аудиторией, фокус внимания в данном тексте определяется в основном современным письмом в гуманитарных науках¹. Если взять широкий (но ни в коем случае не исчерпывающий) набор дискурсивных практик, то какие традиции, темы или образы доминируют в них? Давайте рассмотрим четыре базовых регистра.

¹ Есть и альтернативные описания риторик науки (см., например, работы Пепера [43] и ван Маннена [40]). Поскольку они преследуют собственные цели, их уместность в нашем исследовании ограничена.

Мистическая традиция: священники и ученики

Но почему «существуют три святыни»,
а не четыре?

Потому что небесная святость
всегда принимает вид троек.

Бахир

И Он, возведя очи Свои на учеников Своих,
говорил:

Блаженны нищие духом, ибо ваше есть
Царствие Божие.

Лука, 6:20

Хотя гуманитарные науки обычно связываются с профанным или светским, а не сакральным миром, мы можем найти во многих текстах остатки традиции, которая зародилась в раннем мистицизме и развивалась далее как в иудаизме, так и в христианстве (в первом случае ключевую роль играет Каббала, а в последнем – неоплатонизм). В мистической традиции право передавать людям знания о глубинах сверхъестественного мира чаще всего предоставлялось тем, кто занимал высшие места в религиозных иерархиях. Исполнители этих «священнических» ролей пользовались огромным уважением в течение многих столетий, поэтому гуманитарные науки могли (и могут) обрести текстуальную власть, овладев мистической риторикой.

На мой взгляд, главными компонентами мистического письма в гуманитарных науках являются опора на метафору (и избегание буквальности), лингвистическое конструирование недоступных наблюдению реальностей и сильно оценочная терминология. Использование метафоры и вытеснение буквального позволяют оратору выводить реалии текста за границы пространства логики и предположений здравого смысла; благодаря метафоре вещи оказываются не такими, какие они есть. Это вызывает любопытство и удивление. Отрывая читателя от повседневной действительности, текст закладывает основания для создания мира второго порядка, мира по ту сторону ощущений, по ту сторону рациональности, и, что важнее всего, мира, в который посвящен только мистик. Часто ощущение неизведанного вызывается темными тропами, лингвистическими маневрами, разрывающими с привычным, приводящими в замешательство и дающими общее чувство мира, находящегося за рамками повседневного понимания. Наконец, использование оценочного языка делает этот мир осязаемым: не наблюдаемым непосредственно и не подвластным рациональному анализу, а, скорее, доступным в более интуитивном эмоциональном регист-

ре. Можно буквально *почувствовать* присутствие непостижимого. Кроме того, оценочный язык нужен для обоснования значимости дискурса. Часто он предостерегает тех, кто глух к новой реальности, о неминуемом наказании и обещает значительное вознаграждение тем, кто ее принимает. Поэтому риторика мистицизма в гуманитарных науках несет с собой предвестия ужаса и счастья.

Мистические дискурсы были частью гуманитарных наук с момента появления последних. Хорошо известна связь Фрейда с еврейской мистической традицией [11]¹. Труды Карла Юнга, обязанные своим содержанием частично его психоаналитической подготовке, а частично духовному сану его отца, также отличаются своими мистическими манифестациями. Рассмотрим фрагмент из Юнга: «В действительности же прафеномен духа овладевает человеком и, представляясь в качестве добровольного объекта человеческих намерений, он сковывает его свободу тысячами цепей точно так же, как это делает физический мир, становясь навязчивой идеей» [9, 295]. Фактически посредством метафоры вторгающейся чуждой силы творится новая реальность, «прафеномен духа», и без признания ее власти человеческая свобода сковывается «тысячами цепей». Подобный же откровенный мистицизм проявляется часто в психиатрических произведениях. Р. Д. Лэйнг пишет: «Истинное здоровье... – это появление „внутренних“ архетипичных посредников божественной силы, а через эту смерть – перерождение и окончательное установление нового вида функционирования эго; эго ныне – слуга божественного, а не его предатель» [4, 319].

Работы Жака Лакана интересны тем, что еще больше усиливают мистические свойства психоаналитического дискурса. Они многое берут в традиции, но имеют дело с культурой, в которой значительная часть психоаналитической реальности перешла в область буквально. С помощью новаторской и очень сложной, иносказательной речи Лакан снова открывает возможности непостижимого. Рассмотрим, как ощущение сверхъестественного создается в следующем отрывке: «Принимать за исходную абсолютную позицию... „Вначале было Слово“... значит непосредственно выходить за рамки феноменологии *alter ego*² в плоскость отчуждения Воображаемого, к проблеме посредничества Другого, который не является вторым, так как еще нет Единственного» [34, 203]. Лакан пишет непонятно, но с уверенностью, которая основывается на не совсем ясном читателю непосредственном зна-

¹ Общий обзор мистической традиции дан в работах Баумгардта [13], Джонстона [31] и Гранта [27]. См. также работу Киришнера [32] для более подробного анализа манифестаций в современной теории развития неоплатонических мистических текстов. Попытки введения спиритуалистических элементов в естественнонаучные сочинения описаны в работе Гарру [21].

² Второе Я (лат.). – *Примеч. пер.*

нии тайн. Он устанавливает прямую связь с библейской традицией и дает читателю понять, что здесь мы сталкиваемся с безусловно значимыми вопросами отчуждения и несовершенства.

В этом месте необходимо ввести различие дискурса священника и дискурса ученика. Священник говорит *ex cathedra*¹, со знанием и уверенностью передавая ощущение провидческой связи с таинственными реальностями. Ученик, напротив, является не столько официальным носителем тайн, сколько личным посланником – он покорно и с благоговением осуществляет личное свидетельство жизни «таинственного» индивида. Ученик будет говорить о себе скорее как о смертном существе, чем как о прямом носителе тайн. В дополнение к многочисленным тропам мистического письма важной особенностью письма ученика являются его частые ссылки на «святого», т. е. на индивида, *являющегося* носителем мистических сил или познаний. Именно его слова поясняет, защищает и превозносит апостол. Фрагмент работы Джона Шоттера прекрасно это иллюстрирует: «Но как способны мы постичь природу того, у чего нет специфики... Именно здесь выходит на сцену витгенштейновское понятие „наглядных действий“... Все используемые Витгенштейном метафоры... указывают нам на те аспекты языка и нашего знания языка, которые до этого были рационально невидимы для нас» [49, 58–59].

Хотя работа Шоттера демонстрирует множество признаков мистического письма, она не окрашена моральным суждением. Гораздо более целенаправленно ориентирующимся на суждение является недавно появившийся жанр культурных исследований, жанр, который часто строится на обожествлении некоторых персонажей (в пантеон которых часто входят такие фигуры, как Альгюссер, Беньямин, Арендт и Рей Уильямс) и использует их авторитет для порицания различных обычаев современного общества. Рассмотрим, как Хебдидж пользуется (Святым) Жене: «Итак, Жене замыкает цикл... назад к образу граффити, к группе черных, запертых в языке, бросающихся на выбеленные стены двух типов тюрьмы – реальной и символической... он возвращает нас также к значению стиля в субкультуре и к посланиям, лежащим за разоформлением... Как и у Барта, у него есть тайные прозрения, он вовлечен в работу разоблачения» [28, 136–137].

Давайте обратимся к вопросу интерпелляции: как читатель традиционно определяется различными формами мистического дискурса? Во-первых, эти дискурсы устанавливают иерархию между автором и аудиторией. Автор владеет словом, имеющим глубочайшее значение, аудитория же, напротив, полагается несведущей или неосознающей. Оратор-мистик никогда не обращается к равно просвещенному коллеге. Форма его обращения – откровение, поэтому читатель – тот, кто

¹ С кафедры; непрекаемо, авторитетно (лат.). – *Примеч. пер.*

«еще должен прозреть». Но хотя аудитория и считается незнающей, это никоим образом не ведет к ее обесцениванию. Скорее, это милостивая иерархия: откровение гуманно, оно приносит просящему искупление, освобождение или обновление. Фактически текст приглашает читателя занять покаянную позицию; читатель может спастись, если оставит прошлую действительность и связанные с ней обязательства. В то же время большинство работ данного жанра предполагает третьего персонажа, не автора и не читателя. Третий персонаж занимает самое низкое положение в иерархии, поскольку это тот, кто не захотел слушать, кто остался в неведении или грехе (например, неаутентичным, неэмансипированным, одномерным, ложно сознательным). Наконец, необходимо отметить, что письмо в мистической традиции, как правило, безлично и монологично. Оратор присутствует в тексте не как человек из плоти и крови, с обычными недостатками, но как проводник божественного. Голос читателя не включается в текст, кроме как, возможно, в форме воображаемого собеседника, придуманного автором (*à la* Фрейд), чтобы создать себе фон.

Слова пророка

И седьмой Ангел вострубил;
и раздался на небе
громкие голоса, говорящие:
Царство мира соделалось царством
Господа нашего и Христа Его,
и будет царствовать во веки веков.

Откровение, 11:15

Пророческая традиция тесно связана с мистической, так как в древней Греции пророки служили посланниками богов. Но пророческая роль обязана своим особым местом способности оракула предвещать будущее, т. е. предупреждать или возвещать грядущее. В позднем израильском обществе пророки составляли отдельный религиозный класс, во многих отношениях отличный от священничества. В христианстве апокалиптические писания (например, Книга Откровения), несмотря на то, что они исполняли (и продолжают исполнять) важную религиозную функцию, предназначались для иной роли, нежели вдохновение, которому служили книги апостолов¹. В силу своей близости мистической традиции пророческий голос разделяет многие

¹ Дальнейшее обсуждение пророческой традиции см. в работах Найта [33] и Брауна [18].

риторические модальности последней. Упор на метафоре усиливает способность пророка создавать зримый образ будущего, еще не доступного чувствам. Пророческое письмо делает также сильный акцент на моральном оценивании. Однако там, где мистический голос предлагает искупление тому, кто «поверит» («узрит свет»), апокалиптический голос стремится обрести моральное влияние через предостережение. Катастрофа близка, если люди не одумаются.

В борьбе за культурный авторитет пророческие формы стали ценным подспорьем для гуманитарной науки. Показательны в этом отношении вдохновленные Гегелем труды Маркса, которые стали пробным камнем большей части апокалиптического письма в гуманитарных науках. Пророческий голос, служащий моральным целям, наиболее отчетливо слышен в «Манифесте коммунистической партии»: «Буржуазия... неспособна господствовать, потому что неспособна обеспечить своему рабу даже рабского уровня существования, потому что вынуждена дать ему опуститься до такого положения, когда она сама должна его кормить, вместо того, чтобы кормиться за его счет. Общество не может более жить под ее властью, т. е. ее жизнь несовместима более с обществом» [5, 46].

Нравственная сила предостережения, пробуждаемая посредством вызывания к надвигающейся катастрофе, отражена также в работах многих теоретиков критической школы, в частности Хоркхаймера [30] и Маркузе (особенно в «Одномерном человеке» [6]). В последние годы пророческие мотивы успешно развиваются авторами, которые сами, не будучи марксистами, присоединяются к марксистской критике современной ситуации. Книги Кристофера Лэша «Культура нарциссизма» [36] и «Истинный и единственный рай» [37] предвещают упадок культурной жизни (рост самоозабоченности в первом случае и безжизненное стремление к прогрессу во втором) и используют иеремиаду, чтобы стимулировать социальные преобразования. Работа Беллаха и его коллег «Привычки сердца» [14] тоже говорит об угрозе, нависшей над дружбой и общностью, и перед лицом близящейся катастрофы призывает к возврату к ранним, забытым сегодня моральным традициям. Вот одна иллюстрация: «Обещание современной эры ускользает от нас. Движение просвещения и освобождения, которое должно было избавить нас от суеверия и тирании, в двадцатом столетии привело к установлению мира, в котором идеологический фанатизм и политическое угнетение достигли небывалого еще в истории размаха» [14, 277].

Еще более интересны риторические модальности современных пророческих произведений, созданных во французском контексте. Они привлекательны в первую очередь тем, что обильно используют мистическую риторику, с которой пророческая традиция тесно пере-

плетена. Континентальные культурные традиции гораздо легче освоили мистическую риторику, чем англо-американские. Кроме того, эти работы, неся в себе мощное моральное послание, не оставляют практически никакой возможности искупления. Наоборот, появляется ощущение, что страшный суд неизбежен. Вот, например, фрагмент насыщенной мистикой работы Делеза и Гваттари: «Шизофреник стоит на пределе капитализма; он представляет собой его развитую тенденцию, прибавочный продукт, пролетария и ангела-истребителя» [2, 21].

Жан Бодрийяр предлагает интересный вариант апокалиптической темы. Увлечшись поначалу неомарксистскими идеями, Бодрийяр затем обратился к массовой циркуляции означающих в культуре, что существенно подорвало структуралистские основы марксистской теории. Но, несмотря на свое отступничество, Бодрийяр остался в пророческой традиции. Это можно проиллюстрировать следующим пассажем: «За кулисами обостренной мезансцены коммуникации, масс-медиа и давление информации продолжают непреодолимую деструктуриацию социального» [12, 81].

В пророческом жанре читатель позиционируется почти так же, как в мистическом. Здесь тоже устанавливается иерархия, в которой оратор претендует на высшую моральную и онтологическую позицию. Читатель вновь рассматривается как непросвещенный, и, за редкими исключениями, его покаяние представляется как способ избежать грозящей опасности. Однако в пророческом жанре мы редко встречаемся с расширенной иерархией, в которой читатель находится в привилегированном положении по сравнению со второстепенной массой нераскаившихся. Апокалиптическое послание адресовано всем; ни у кого нет особых прав на его получение. Наконец, пророческое письмо столь же безлично и монологично.

Мифическая традиция

Так вопиал он, моляся; и внял Аполлон сребролукий.
Быстро с Олимпа вершин устремился пышущий гневом,
лук за плечами неся и колчан.

Гомер. Илиада

Третий голос в гуманитарных науках также уходит корнями в раннюю религиозную практику. Ведя начало приблизительно с IX в. до н. э., истории о божественных существах заняли важное место в культурной жизни. Мифы, по существу, описывали священную историю, возвращаясь к событиям, случившимся в изначальные времена, чтобы разъ-

яснить происхождение вещей сегодняшних. Мифы играли важную роль в появлении религий, поскольку они, как правило, демонстрировали, каким образом сверхъестественные силы вмешиваются в область естественного, и делали понятным, почему значимые структуры видимого мира являются результатом божественных деяний. Если пророческий голос связывал естественное настоящее с богооткровенным будущим, то мифический голос размещал настоящее внутри истории божественно упорядоченного прошлого. Кроме того, подобно пророческому голосу, мифическое повествование часто несет в себе нравственные послания, осуждающие одни поступки и прощающие другие. В течение ряда столетий к мифической традиции принадлежали многие формы письма, включая Евангелия в христианстве, а также народные предания, сказки, аллегории и басни в нецерковном мире.

Помимо многочисленных риторических штампов мистической и пророческой традиций мифическое письмо опирается на общие правила изложения историй или нарратива. В западной нарративной традиции подчеркивается необходимость выстраивания друг за другом начала истории, последовательности взаимосвязанных действий или событий (фабула) и заключения. При этом, как правило, ставится некая морально нагруженная конечная цель, к которой ведут все события или действия (телос) и благодаря которой история способна превращаться в драму (ощущение «наивысшей точки» или кульминации)¹. Исходя из этого, мы можем видеть, что значительная часть исследований в гуманитарных науках находит поддержку в мифической традиции. Описания непознаваемых, но предполагаемых истоков особенно популярны (или были особенно популярны) в антропологии, археологии, истории, психологии и социологии. Здесь можно сослаться на проведенный Ландау [35] анализ выдающихся теорий эволюции человека на основе критерия их соответствия нарративной конвенции и зависимости конкурирующих теорий от предполагаемых нарративной предструктурой возможностей выбора. Джерджены [24] сопоставили теории человеческого развития Фрейда и Пиаже в отношении их нарративных свойств и, в частности, того, как драматическое воздействие этих теорий определяется нарративной структурой. Сходному анализу можно было бы подвергнуть близкие к мифической традиции работы «Протестантская этика и дух капитализма» Вебера [1], «О процессе цивилизации» Элиаса [8], «Устное и письменное» Онга [42], «Любовь как страсть» Лумана [39] и «История сексуальности» Фуко [7].

Вслед за мистической традицией мифическая риторика устанавливает иерархические отношения с читателем. Оратор вновь формули-

¹ Более детальное обсуждение нарративной формы содержится в моей книге «Реальности и отношения» [23].

рует безличные, монологические высказывания, желая просветить и научить несведущую аудиторию. Хотя основной акцент делается на прояснении известного путем метафорического конструирования неизвестного, нарративы часто нагружаются моральным смыслом. Критика вигской истории прекрасно показала, что исторические описания могут оправдывать существующие практики и конвенции. Более тонко поступает Пиаже при описании эпигенетического когнитивного развития, в котором большой ценностью наделяется конечное обретение собственно человеческой вершины развития, а именно абстрактного мышления. Фрейдовская теория психосексуального развития, наоборот, изображает взрослого обязательно как «невротика», несущего бремя многочисленных слоев вытеснения. Жизненная траектория человека в этом смысле представляет собой нисходящую спираль, в которую встраивается психоаналитический процесс, чтобы возвести на трон разум. В общем, пророческий голос в гуманитарных науках обычно служит неким моральным убеждениям.

Цивилизованный голос

Разум есть естественное достоинство,
знание же – прерогатива, которая
может даровать сан без помазания
или наложения рук.

Роберт Бойль. Аретология

Хотя все вышеупомянутые традиции существенно укрепляют риторическую власть гуманитарных наук, их следует рассматривать как маргинальные по отношению к центральному дисциплинарному течению последних 50 лет. В обширном штате наук не осталось даже намёка на нравственную и эмоциональную выразительность, центральную для предшествующих традиций; мистические метафоры в основном заменяются буквальным языком; «откровенный разговор» предпочитается туманности. Божественные существа теперь появляются в земном облике «плодотворных» мыслителей; драма пророчества отвергается ради экспериментального предсказания и статистического прогнозирования. Господствующий «научный стиль» не только стремится к беспристрастности и обыденной ясности, но и демонстрирует неистощимую заботу о данных и служит образцом строгой выдержки.

Несмотря на то, что о риторике доминирующего дискурса в гуманитарных науках написано очень много, гораздо меньше внимания уделяется ее социальным и политическим истокам. Возможно, наиболее

лее полное описание такого рода дается Стивеном Шепином в работе «Социальная история истины» [48], блестящем исследовании становления научного стиля в «раннемодернистской» культуре Англии в XVII в. В частности, Шепин полагает, что именно английский «благородный класс» – выделяющийся богатством, происхождением и полученным образованием – стал источником основных моделей дискурсивного взаимообмена в зарождающихся естественнонаучных практиках. Когда элита обратила свое внимание на естественную философию и естественную историю, а экспериментальные работы Роберта Бойля и других начали играть все более заметную роль, цивилизованная манера говорения стала научным аргументом. В списке исходных характеристик цивилизованного дискурса были уважение к другому (как равному по классу, достойному чести), избегание враждебности или прямого антагонизма (который нарушил бы единство класса), избегание эмоционального убеждения (уважение способности другого выносить верное суждение), безличность сообщения (уважение личного опыта другого) и скромность (подчеркивание равного положения всех джентльменов). Наконец, доверие к автору было связано с важным предположением, что все джентльмены правдиво сообщают о своих индивидуальных переживаниях. Поэтому больше всего следовало полагаться на данные, полученные в результате непосредственного наблюдения.

Конечно, о трансформациях стиля и роли научного дискурса, начиная с XVII в., можно было бы сказать гораздо больше. Однако для наших целей важнее то, что описание Шепина является удобным средством не только для указания на преобладающую форму дискурса, но и для понимания истоков ее риторической эффективности. Примеры цивилизованной традиции можно отыскать повсюду, и даже предлагаемый текст во многом – ее локальная манифестация. Но остается еще один вопрос: вопрос авторско-читательских отношений. Безусловно, цивилизованная традиция относится к читателю с гораздо большим уважением, чем предыдущие жанры. Вместо того чтобы ставить читателя в позицию безнадежного невежды, она воспринимает его как потенциального комментатора. Читателя отсылают к его собственному опыту и разуму как к ресурсам для вынесения суждения. Кроме того, цивилизованный дискурс не оценивает читателя как недостаточно нравственного. Моральная чистота читателя никогда не подвергается сомнению.

Но было бы ошибкой сделать вывод, что цивилизованный дискурс не производит имплицитной иерархии. С размыванием понятия «благородный класс», с демократизацией науки и с переходом научной практики из локального межличностного в глобальный и технологически опосредованный контекст [26] вопрос доверия или достоверности встает вновь. С другой стороны, после того, как фундаментом объек-

тивности становятся не человеческие переживания, а измерительные инструменты, и борьба за научное финансирование различными фондами возрастает, самооправдание становится мощным подтекстом большинства научных работ [17]. Фактически, имея все признаки цивилизованного дискурса, доминирующий дискурс в гуманитарных науках, поскольку он претендует на превосходство, позиционирует читателя как конкурента в иерархии истина/престиж/власть.

ПОСЛЕ ДИСКУРСИВНОГО ПОВОРОТА

Все описанные голоса, возникшие в далеком прошлом, рассеяны в современных гуманитарно-научных текстах и определяют как предметы нашего рассмотрения, так и позиции тех, кто соглашается с их иллюкативными побуждениями. Однако в последние годы мы становимся свидетелями появления на научной арене новых типов риторик, форм голоса и способов авторско-читательского взаимодействия, заставляющих обратить на них серьезное внимание. В значительной мере эти новые формы письма отталкиваются от экстенсивной и интенсивной критики научного дискурса как носителя истины. Различные исследования доказывают, что представление о языке как о картине или карте «сырой» реальности или же сходное предположение о том, что научный дискурс вынуждается или направляется самой природой, ничем не оправданы. Скорее, указывают они, мы наследуем различные традиции научного письма и говорения, дискурсивные жанры, которые являются необходимыми условиями понимания и коммуникации. Это значит, что описания себя и общества, в сущности, определяются текстуальными традициями, риторическими требованиями и конвенциональными формами отношений между автором и читателем¹. Безусловно, именно такое изменение интеллектуального климата дало жизнь предлагаемому здесь анализу.

Но важнее всего для нас то, что дискурсивный поворот в гуманитарных науках имел два глубоких последствия для практики написания текстов. Во-первых, оказалась подорвана традиционная привилегия авторитетности автора. В контексте дискурсивной критики становится все сложнее соглашаться с претензиями автора на знание истин мистических миров, предвосхищение будущего, рассказывание заслуживающих доверия историй или обладание ниспосланными богами сведениями. Читатель, знакомый с соответствующими текстами, начинает сопротивляться тем позициям, в которые его/ее ставит традиционное письмо: позициям покаяния, благоговения или смирения. Точ-

¹ Для более широкого обсуждения этих течений в социальных науках см. работы Розено [47], Холлинджера [29] и Дикенса и Фонтана [45].

нее говоря, читатель подходит к тексту с двойственным сознанием: с одной стороны, он подготовлен традицией к доверительной связи с автором, с другой стороны, он знает, что счастье веры куплено ценой подавления.

Поставив под сомнение традиционные риторики и их иллюкативную силу, движения, способствующие дискурсивному повороту, предлагают гуманитарному ученому подойти также творчески к репрезентации. Вопрос состоит в следующем: можно ли указать пути выхода за рамки удобных, но нерелексивных традиций, развития новых форм письма и изменения отношений между автором и читателем? По мере того как ученые стали относиться с большей чувствительностью к герменевтической политике и интересоваться потенциалом тоталитаризма, угнетения и несправедливости, скрытым внутри того или иного способа выражения, начали проводиться многочисленные эксперименты с письмом. Но следует признать, что эти становящиеся формы не являются и не могут быть абсолютно новыми. Любая попытка добиться понятности, отвергнув традицию, обязательно потерпит крах в силу той же самой логики, что позволила ей осуществиться. То есть коммуникация всегда требует подтверждения некоторой повторяющейся последовательности координации и зависит от существующей предструктуры. Мы считаем появляющиеся формы голоса «новыми» в первую очередь потому, что они продолжают традиции, отличные от доминировавших до этого. Давайте рассмотрим две довольно популярные фигуры: автобиографа и беллетриста.

Автобиограф

Первое ощущение насилия и несправедливости
так глубоко запечатлелось в моей душе,
что все мысли, связанные с ним,
будят во мне и прежнее волнение.

Жан-Жак Руссо. Исповедь

Хотя термин «автобиография» появился только в конце XVIII в., я буду использовать его здесь в широком смысле, для обозначения жанра письма, главным предметом интереса в котором служит автор — как уникальная личность и как опытная линза, через которую постигается мир. Мы можем отнести сюда не только автобиографические произведения как таковые, но и личные дневники, мемуары и путевые заметки. Эта форма письма завоевывает авторитет несколькими способами. Во-первых, она позволяет читателю познакомиться с любопыт-

ным «где-то», с исторической эпохой, культурой или определенной личностью, обычно имеющими важное значение. Во-вторых, она зачастую несет в себе воспитательную функцию. Например, «Исповедь» Святого Августина повествует о муках обретения духовной чистоты; автобиографии Бенджамина Франклина и Уильяма Карлоса Уильямса раскрывают тайны творческого процесса; Дональд Трамп рассказывает читателю о том, как добиться экономического успеха. Наконец, автобиография опирается как на мифическую, так и на беллетристическую традиции, в первом случае описывая прошлые времена, а во втором – развлекая¹.

Что касается риторических приемов, то мы не найдем здесь попытки создания таинственных миров, как в мистическом письме. Автобиограф, как правило, старается представить полноту жизненного опыта. При этом автобиографическое письмо напоминает мистическое и пророческое тем, что изобилует выражениями ценностей. Однако эти выражения служат обычно не для осуждения читателя за его/ее недостатки, а для оправдания предпринимаемых действий. Читатель должен сам извлечь объективные уроки из предлагаемых описаний. Автобиография имеет много общего с мифом в том, что касается установки на нарративную последовательность. Но этой установкой часто жертвуют ради стремления поделиться «прожитым опытом» с читателем. Хотя автобиография иногда и используется в целях поддержания цивилизованного общества, к ней чаще всего обращаются те, кто в том или ином отношении необычен либо не или антинормативен. Автобиограф может «показать грязь», которую цивилизованный рассказчик постарался бы скрыть. Возможно, наиболее значимой характеристикой этого жанра является попытка разделить субъективность с читателем, позволить ему войти в положение автора. Часто это означает употребление крайне аффектированного языка (например, языка чувств или духа), обширное использование повседневного дискурса (всеми разделяемой реальности) и существенный упор на метафору (позволяющую читателю ощутить особенности уникального опыта).

С моей точки зрения, именно за счет автобиографического голоса существуют центральные научные движения после дискурсивного поворота. Этот жанр оказал влияние уже на первые исследования по антропологии и интроспективной психологии и затем был поддержан психотерапевтическим письмом. Сегодня мы наблюдаем подлинный расцвет автобиографического жанра в качественных исследованиях, нарративных исследованиях, этнографии, отчетах о случае, феминист-

¹ Для дальнейшего обсуждения автобиографической традиции см. работы Элбаца [20], Шумакера [50] и Икина [10], а специфического ее применения в гуманитарно-научном письме – работы Клиффорда и Маркуса [52].

ских исследованиях и т. д. Такое письмо отмечено двумя специфическими особенностями: присутствием автора как конкретного агента и отражением субъективности другого (изучаемой личности или личностей) в опыте автора. Первый момент выражается в том, что ученый появляется исключительно как индивидуальное Я, например, как священник, предсказатель или обычный человек, и пытается сделать свой внутренний мир доступным читателю. Вторая сторона отражается в постижении субъективности другого и попытке ясного ее изображения путем выражения своих переживаний. В качестве примера возьмем проведенный Лесли Блум анализ «расщепленной субъективности в нарративной репрезентации» [15]. Она начинает свое этнографическое исследование, делая собственный опыт линзой, через которую будет преломляться все последующее: «Когда я повстречала Оливию в 1991 г...» [15, 179]. Вскоре, однако, она замещает свой голос дословной речью Оливии, ее информанта: «Я только что отделалась от одного из величайших сексуальных извращенцев... работавшего в нашей организации. Он был старшим администратором. А я формально подчинялась ему. И он положил на меня глаз...» [15, 180].

Амия Либлих начинает обсуждение иммиграции и самости похожим образом: «Когда я переживаю потерю ориентации в незнакомом месте, например, не могу вспомнить, на каком повороте (забытом!) нужно свернуть... меня бросает в дрожь мысль о масштабах потери моих юных русских учеников – недавних иммигрантов» [38, 93]. Скоро, однако, непосредственное сочувствие, которое мы испытываем к Либлих, переносится и на Наташу – предмет ее опеки. Наташа говорит: «Знаете, вы первый взрослый не из моей семьи, с кем у меня была возможность подробно поговорить с момента приезда...» [38, 105].

Письмо автобиографического типа приглашает читателя занять позицию, совершенно непохожую на рассмотренные выше. Если мистическая, пророческая, мифическая и цивилизованная формы стремятся установить дистанцию между автором и читателем, то автобиографическая риторика ведет к обратному эффекту: читателю предлагается идентифицироваться или стать одним целым с автором. Поскольку автор опирается на тропы быденного языка, и в особенности на те из них, которые предназначены для более интимных или свободных ситуаций, читателю легче резонировать с письмом, т. е. обнаруживать те личные переживания, с которыми резонирует письмо. Читатель переживает содержание как «свое собственное». Когда автор вводит нарративное описание другого, оно представляет собой тройной сплав: рассказчик, автор и читатель мысленно объединяются (и ограничиваются) общей субъективностью.

Беллетрист

И узрели они Его, даже и самого Его,
бен Блума Илию, посреди сонмов ангельских
возносящегося к сиянию славы
под углом сорок пять градусов
над пивной Доноху на Малой Грин-стрит,
как ком навоза с лопаты.

Джеймс Джойс. Улисс

Рассмотрим теперь последнюю форму выражения, жанр, вошедший в обыденное сознание в основном в позапрошлом столетии. Мифы, легенды, сказки и эпические поэмы долго составляли часть западной традиции. Однако, когда цивилизованный дискурс, язык беспристрастной объективности, стал претендовать на все большую значимость, обязательным стало разграничение между фактуальным и беллетристическим письмом. Первый дискурс следовало принимать всерьез, от него зависели вопросы жизни и смерти; второй же обычно рассматривался в качестве признака культурной изысканности или просто как забавное развлечение. В прошлом столетии термин «беллетристика» стал больше идентифицироваться с прозой и, в частности, романом; тем не менее это понятие можно употреблять гораздо шире и включать в него все виды экспериментального письма. Такое категориальное расширение оказалось совершенно необходимым после того, как «литературный модернизм» в XX в. побудил авторов к отказу от традиционных моделей мимесиса и исследованию потенциала письма самого по себе и для себя [46].

Гуманитарный ученый, выходящий за границы традиционных моделей письма, становится в доступную, а значит, понятную авторскую позицию, имеющую максимально широкие границы. Эта позиция уважается за ее вклад в культурную жизнь (например, за то, что она несет мудрость, прозрение, вдохновение и одновременно увлекает, стимулирует и пробуждает любопытство). Наконец, жанр беллетристики по своей сути противоположен доминирующему дискурсу «фактов», при этом стирая и разрушая саму оппозицию факта/выдумки в гуманитарных науках. Поэтому охарактеризовать риторическую специфику «беллетристического жанра» оказывается сложно. Скорее, для гуманитарного ученого, решившего порвать с привычными традициями и вдохновленного беллетристическим жанром, доступными становятся практически все формы письма (включая домодернистскую и модернистскую). Но и в отношении того, какое их сочетание приемлемо, тоже не существует общих соглашений. В контексте риторической формы фактически «все сойдет», за одним исключением: поскольку беллетристически ориентированный ученый не связан с какой-либо конк-

ретной риторической конвенцией, совершенно новый вид письма рискует остаться непонятым. Если читатель не может установить, о чем говорит письмо и как его надо читать, то оно может быть отброшено как нечто бессмысленное. В таком случае ученый-беллетрист обязан полагать, что читатели знакомы с интеллектуальным контекстом, вызвавшим данный эксперимент. (Если такое допущение невозможно, то для рационального обоснования могут понадобиться вводные «откровенные» пояснения.)

Хотя область экспериментального письма в гуманитарных науках продолжает расширяться, я хотел бы сейчас сосредоточиться лишь на одной риторической позиции. На мой взгляд, наиболее значительным вкладом указанного жанра является расширение диапазона голосовых регистров. Самыми разными путями авторы увеличивают количество реальностей, рациональностей или ценностей, заключенных в отдельной работе. Все жанры, рассматриваемые до этого, зависят от и исходят из предположения, что автор – единичная субъективность. Они предполагают и выражают представление об авторе как целостном существе, обладающем одним разумом, одним сознанием, последовательной рациональностью и моральной непогрешимостью. Быть не целостным – значит провоцировать применение к себе эпитетов непоследовательности, внутренней противоречивости или безнравственности. Однако беллетристический импульс дал право на дисперсию авторской позиции.

Одна из первых и наиболее провокационных иллюстраций – книга Майкла Малкея «Слово и мир: размышления о форме социологического анализа», вышедшая в 1985 г. [41]. Это экстраординарная по размаху своего полифонического эксперимента книга. В вводной главе повсюду возникает голос ворчливого собеседника. Рассказчик Малкей говорит о «таком расширении диапазона аналитического дискурса, чтобы в него вошли формы, ранее рассматривавшиеся как неуместные» [41, 10]. Собеседник отвечает: «Это, в принципе, звучит очень привлекательно, но здесь игнорируется важное различие между фактом и фикцией...» [41, 10]. Малкей объясняет, что даже в науке «то, что является фактом для одного [ученого], не больше чем фикция для другого» [41, 11]. Собеседник опровергает: «Не рискуем ли мы смешать два разных значения слова „фикция“?» [41, 11]. Дальнейшие главы содержат обмен корреспонденцией между «вымышленными» фигурами Маркса и Спенсера, их письма самому Малкею, одноактную пьесу, многолюдную дискуссию, некоторые из «вымышленных» персонажей которой являются моделями живущих и легко идентифицируемых ученых, и дискуссию между выпившими участниками нобелевской церемонии.

Интеллектуально близка работе Малкея книга Стивена Тайлера «Невыразимое», вышедшая в 1987 г. [51], которая предлагает новый ряд формативов. Например, пытаясь опровергнуть научное представ-

ление о языке как носителе специфического значения (поэтому ясно раскрывающем истину), Тайлер шутя деконструирует фразу из семиотики («движение вдоль синтагматической оси...»), демонстрируя, что если до конца проследить значение каждого из образующих ее слов, то оказывается, что эта фраза на самом деле означает «вторая мировая война столкнула анально фиксированных немцев и орально фиксированных британцев» [51]. В игровом порыве Тайлер безостановочно нагромождает одну дискурсивную традицию на другую, чтобы дать жизнь следующему аргументу: «Симультанность парадигмальной импликации останавливает стремительный поток означающих в сингулярности времени. Не следуй развилками! Не разветвляйся! Держись меня, Борхес! Время идет!» [51, 6]. Однако риторическое богатство этого произведения, возможно, лучше всего иллюстрирует лирическое окончание этой же главы: «Под мерцающим арктическим сиянием, отражающем скрипы и стоны полярного льда, чуть вспыхивает и гаснет пламя жертвенного очага, в самом его сердце, среди дышащей ветхостью тьмы антиподной ночи» [51, 59].

Последняя иллюстрация многоголосого беллетристического эксперимента – работа Стивена Фоля «Смерть в кафе „Паразит“» [44]. Книга начинается с пяти различных «(пред)писанных предисловий»: от редактора, переводчика, автора, художника-графика и владеющего издательскими правами (пред)писателя, каждое из которых представляет различную авторскую позицию. Остальные главы являются коллажами из совершенно разных форм письма, в том числе мистического: «Это история... одного [который у(з)ел Одного] человека, который должен пройти через УЖАСЫ сиротства. Без превосходства или величественной уверенности гения. Без геройства или призыва к войне...» [44, 264]; пророческого: «Это кафе „Паразит“, темное, сверкающее огнями пространство постсовременности, где транснациональный хозяин корпоративных инФОРМАционных служащих пожирает оцифрованную плоть других» [44, 8]; автобиографического: «У меня есть для вас кое-какая инФОРМАция: мои воспоминания об этом полевом исследовании во Флориде являются „истоками“ слов, которые вы читаете» [44, 54]; цивилизованного: «Принимать всерьез ситуативный характер любого знания – значит не отрицать объективность истин социальных наук, но требовать той объективности, которая рефлексивно выявляет (всегда лишь) временную адекватность своих частичных ориентаций в отношении изучаемого мира» [44, 79]; и беллетристического: «Не могу поверить, что я здесь. Никогда бы не подумал, что буду писать эти слова в тюрьме и с таким страхом» [44, 59]; и все это вперемешку с фотографиями, газетными заголовками и визитами различных «вымышленных» персонажей типа Черной Мадонны Дюркгейма, Рада Рада и Джека О. Лантерна.

Что касается позиционирования читателя, то было бы интересно сравнить беллетристические и автобиографические приемы. В обоих

случаях предпринимается попытка разрушить традиционные иерархические отношения между автором и аудиторией. Обе формы избегают авторитетных, четко выстроенных монологов. Однако если автобиограф часто подрывает автор/итет, вводя в текст чужие дословные голоса, то беллетрист больше полагается на представление нескольких традиций в одном тексте. В бахтинском понимании беллетрист активно «чревоушает» в различных жанрах (или в пределах разных речевых сообществ), частью которых он/она является. Как автобиограф, так и беллетрист предпочитают диалог монологу, но диалог в первом случае возникает в результате установления отношений между автобиографом и собеседником/исследуемым, тогда как во втором случае диалог рождается при сопоставлении и сочетании автором различных голосов. Кроме того, обе эти фигуры порывают с цивилизованной традицией, поскольку часто выражают свои политические и моральные взгляды. Однако такое выражение ценностей отличается от выражения ценностей мистическим и пророческим писателем, так как при этом отсутствует единственная точка зрения; вместо того чтобы указывать на высшее основание, ставя читателя в невыгодную позицию, это выражение распадается на многочисленные и фрагментированные голоса, часто допуская моральную релятивность.

Наконец, мы должны рассмотреть, насколько уникален беллетристический голос в описанной выше семье традиций. Для этого удобно упорядочить различные жанры вдоль континуума дистанции между автором и читателем. Мистический, пророческий и мифический голоса четко отграничивают автора от читателя. Автор для них – независимое существо, тот, кто знает и сообщает о своем знании читателю. Цивилизованный голос размещает читателя ближе, обращаясь к общему (хотя способному на конкуренцию) «братству» целенаправленных и рациональных искателей истины. Автобиограф располагает читателя еще ближе к автору. Опыт автора (душа) изображается прозрачным и доступным. Однако в беллетристическом письме мы открываем новую область *иронической дистанции*. С одной стороны, этот жанр требует наибольшей близости автора/читателя. Автор не приписывает себе божественного зрения, последовательного, безличного и невозмутимого. Наоборот, он или она позволяет читателю ощутить всю сложность бытия, страстного, веселого, непростого, жестокого и т. д. Кроме того, беря многое из традиции развлекательной литературы, этот жанр предлагает читателю насладиться опытом, получить удовольствие от текста. Тем не менее именно контекст развлечения вызывает ироническую дистанцию. Любое свидетельство рукотворности текста – «писательскости» – одновременно и свидетельство того, что автор устранен из текста, что он действует не аутентично, а как «волшебник за занавесом». Признаки беллетристичности демонстрируют, что сотворенный мир не надо принимать всерьез; это мир, в который лишь иногда навдывается автономный автор, чтобы поддержать интерес аудитории.

ПИСЬМО ПОД ВОПРОСОМ

Выше я попытался выявить в гуманитарно-научных жанрах письма ряд исторических резонансов, имплицитных претензий на достойную внимания позицию, риторических средств, при помощи которых они становятся эффективными, и отношений, которые они устанавливают с читателями. Благодаря такой исторической чувствительности мы обнаруживаем в современных гуманитарных науках игру голосов мистиков, пророков, создателей мифов, цивилизованных граждан, автобиографов и беллетристов. Безусловно, лишь немногие работы соответствуют «чистой форме» этих жанров. Дело не только в том, что указанные жанры, обладая семейным сходством, никогда не подвергались исторической реконструкции, но и в том, что внимательный анализ обычно выявляет множество голосов внутри любого в меру сложного текста. Кроме того, следовало бы рассмотреть и другие жанры, возникающие, например, в таких авторитетных областях, как юридическая, правительственная и военная (стратегическая). Наш анализ не является ни иллюстративным, ни исчерпывающим; это, скорее, материал для дальнейшей рефлексии.

Я не думаю, что обсуждение лучше всего было бы строить на основе деконструктивного применения анализа. Множество исследований по риторике гуманитарных наук уже породило широкое осознание конструктивного характера любой попытки сообщения истины. Кроме того, выявление наших риторических моделей и традиций, которыми они поддерживаются, не означает окончательной эмансипации. Понимание роли традиции, литературной конвенции и риторических правил не позволяет освободиться от них, потому что это понимание опирается на те же ресурсы, которые оно может дискредитировать. В этом смысле предложенный анализ полностью зависит от тех риторических форм (в особенности от цивилизованной и мифической), которые он пытается осветить. Поэтому мне кажется наиболее плодотворной рефлексия, отталкивающаяся, во-первых, от вопросов сравнительной ценности, и во-вторых, от задачи умножения способов выражения. Несколько замечаний могут быть полезны для начала такого диалога.

В отношении сравнительного достоинства можно отметить, что существуют, по крайней мере, три основных (и взаимосвязанных) критерия рассмотрения: функция, аудитория и политика. Из предыдущего анализа должно быть понятно, что гуманитарные науки едва ли имеют единую концепцию своей функции. В некоторых кругах целью являются предсказание и контроль, другие же ориентируются на такие функции, как открытие знания, эмансипация читателя, нравственное совершенствование, предоставление разговорных ресурсов и конструирование культурного будущего. В той мере, в какой мы признаем эти несовпадающие цели легитимными, мы должны придерживаться разнообразия традиций голоса. Мистическое письмо может быть прак-

тически бесполезным для предупреждения наркомании или самоубийств, в то время как цивилизованный дискурс нравственно мертв, и т. д. Фактически мы способны оценить все разнообразие доступных риторик и использовать их относительные достоинства в зависимости от своих потенциальных научных и исследовательских целей.

Что касается аудитории, то здесь мы обнаруживаем стойкую тенденцию к сплочению исследовательских анклавов вокруг определенных жанров письма с соответствующим подавлением альтернатив (определяемых, например, как «мистификация», «банальность», «нечто непрактичное», «безвкусица», «просто развлечение» и т. д.). Тот, кто не владеет жанром, не готов к установлению авторско-читательских отношений, имеющих непривычные для него особенности. Например, подход к мистическому письму с позиции цивилизованного дискурса запутан и бесперспективен; автобиограф же, скорее всего, найдет цивилизованный дискурс мучительно безжизненным и техничным. Проблема утяжеляется, если рассмотреть способность гуманитарных наук взаимодействовать с аудиториями за пределами академической сферы. Хотя указанные жанры многое заимствуют в обыденных культурных традициях, в силу того, что они продолжают циркулировать в академическом пространстве, а ученые продолжают искать все более сложные формы изложения (более мистифицирующие, вызывающие, точные, изобретательные и т. д.), их понятность как авторитетных жанров в обществе снижается. Большинство академических производных от конвенциональной культуры становятся нечитабельными там, где они появились. Мы видим, что при выборе среди существующих жанров исследователь не задумывается о потенциальной аудитории его/ее работ. Мы вскоре возвратимся к этой проблеме.

В связи с политическими следствиями в предыдущем анализе было подчеркнуто, что разные типы голосов поддерживают или задают разные формы отношений. В сущности, любой жанр связан с определенной формой культурной жизни; жанры письма функционируют как механизмы социального производства. В этом смысле важно подвергнуть оценке не только содержание различных произведений, но и сами формы письма. Каким формам общества хочет оказать поддержку ученый, тем или иным образом позиционируя себя и другого? Подобные вопросы уместны относительно многих вещей, начиная с проблем образовательной политики и педагогической практики и заканчивая семейной и социальной организацией. Однако в той мере, в которой мы предпочитаем культурную демократизацию, диалогическое производство истины и морали и снятие дистанции знания между людьми, обнаруживается узость нашего нынешнего письменного наследия.

Но нам и не нужно ограничивать себя только этим конкретным письменным наследием. Мы видим, что некоторые гуманитарные ученые стремятся расширить способы легитимного выражения. Например, бла-

годаря «Узелкам» Р. Д. Лэйнга [3] в гуманитарные науки вошел поэтический голос, голос, который звучит сегодня все громче. Обращает также на себя внимание применение перформанса – использование действия, танца, публичной акции, музыки – в качестве средства осуществления профессиональной работы [16; 19; 22]. Если раньше только визуальные художники использовали свои инструменты для осмысления человеческого существования, то теперь и гуманитарные исследователи обращаются к искусству как орудию коммуникации [25]. Кроме того, гуманитарные ученые все больше внимания уделяют возможностям кино и видео как формам профессионального выражения. Такие фильмы, как «Париж горит», «Мечты о баскетболе» и «Внутренний голод», переходят границу между визуальной этнографией и развлечением. Но что важнее всего, обращение к перформансу, поэзии, искусству и визуальным модальностям угрожает оппозиции ученого/неученого. Идентичность ученого как авторитета подрывается, но при этом у науки появляются более разнообразные возможности выражения. К тому же эти экспрессивные жанры меньше традиционных аргументов опираются на иерархические структуры. В случае кино и видео, в частности, можно говорить о том, что их риторический успех зависит в основном от степени соответствия произведения изначально существующей ориентации аудитории. От аудитории ожидается не то, что она будет «стараться понять», а то, что она будет с удовольствием наблюдать, как «автор» понимает ее. Наконец, ряд новых жанров открывает перед гуманитарными исследователями беспрецедентную возможность взаимодействия с аудиториями не из академической сферы. Если успех существующих жанров зависит главным образом от искусственного круга избранных, то искусство, театр, поэзия, кино и т. п. больше доступны обычным людям. В особенности это касается кино и видео, аудитория которых уже вполне сложилась и достаточно широка.

У хорошей книги могут быть
три совершенно непохожих начала
и... в сотню раз больше окончаний.

Флэн О'Брайен. Две-птицы-на-плаву

ЛИТЕРАТУРА

1. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / Пер. с нем. М. И. Левиной // Вебер М. Избр. произв. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова. М., 1990.
2. Делез Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип / Сокр. пер.-реферат М. К. Рыклина. М., 1990.
3. Лэйнг Р. Узелки // Лэйнг Р. Я и другие / Пер. с англ. М. Будыниной. М., 2002.

4. Лэнг Р. Политика переживания // Лэнг Р. Расколотое «Я». СПб., 1995.
5. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. М., 1965.
6. Маркузе Г. Одномерный человек / Пер. с англ. А. А. Юдина. М., 1994.
7. Фуко М. Воля к знанию // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / Пер. с фр. С. Табачниковой. М., 1996.
8. Элиас Н. О процессе цивилизации: В 2 т. Т. 1, 2 / Пер. с нем. А. М. Руткевича. М.; СПб., 2001.
9. Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов / Пер. с англ. А. А. Юдина. М.; Киев, 1997.
10. American autobiography: retrospect and prospect / Ed. by P. Eakin. Madison, 1991.
11. Bakan D. Sigmund Freud and the Jewish mystical tradition. London, 1990.
12. Baudrillard J. Simulacre and simulation / Tr. by S. F. Glaser. Ann Arbor, 1994.
13. Baumgardt D. Great western mystics: their lasting significance. New York, 1961.
14. Bellah R. N. et al. Habits of the heart: individualism and commitment in American life. Berkeley, 1985.
15. Bloom L. R. Stories of one's own: nonunitary subjectivity in narrative representation // Qualitative inquiry. 1996. Vol. 2. № 1.
16. Blumenfeld-Jones D. S. Dance as a mode of research representation // Qualitative inquiry. 1995. Vol. 1. № 4.
17. Bourdieu P. Outline of a theory of practice / Tr. by R. Nice. Cambridge, 1977.
18. Brown N. O. Apocalypse and/or metamorphosis. Berkeley, 1991.
19. Cruising the performative: interventions into the representation of ethnicity, nationality and sexuality / Ed. by S. Case, P. Brett, S. L. Foster. Bloomington, 1995.
20. Elbaz K. The changing nature of self: a critical study of autobiographical discourse. Iowa City, 1987.
21. Garroute E. M. When scientists saw ghosts and why they stopped: American spiritualism in history // Vocabularies of public life: empirical essays in symbolic structure / Ed. by T. Wuthnow. London, 1992.
22. Gergen K. J. Performative psychology: the play begins // Psychology and the arts. 1995. Fall.
23. Gergen K. J. Realities and relationships: soundings in social construction. Cambridge, 1994.
24. Gergen K. J., Gergen M. M. Narrative form and the construction of psychological science // Narrative psychology: the storied nature of human conduct / Ed. by T. R. Sarbin. New York, 1986.
25. Gergen K. J., Walter R. Real/izing the relational // Journal of social and personal relationships. 1998. Vol. 15. № 1.
26. Giddens A. Consequences of modernity. Stanford, 1990.
27. Grant P. Literature of mysticism in western tradition. New York, 1983.
28. Hebdige D. Subculture: the meaning of style. London, 1987.
29. Hollinger R. Postmodernism and the social sciences: a thematic approach. Thousand Oaks, 1994.
30. Horkheimer M. Eclipse of reason. New York, 1974.
31. Johnston W. The inner eye of love: mysticism and religion. San Francisco, 1978.
32. Kirschner S. R. The religious and romantic origins of psychoanalysis: individuation and integration in post-Freudian theory. New York, 1996.
33. Knight H. The Hebrew prophetic consciousness. London, 1947.
34. Lacan J. Actes du congres de Rome // La psychanalyse. 1956. № 1.
35. Landau M. Narratives of human evolution. New Haven, 1991.
36. Lasch C. The culture of narcissism: American life in an age of diminishing expectation. New York, 1979.

37. *Lasch C.* The true and only heaven: progress and its critics. New York, 1991.
38. *Lieblich A.* Looking at change // The narrative study of lives / Ed. by R. Josselson and A. Lieblich. Newbury Park, 1993.
39. *Luhmann N.* Love as passion: the codification of intimacy / Tr. by J. Gaines and D. L. Jones. Cambridge, 1986.
40. *Mannen J. van.* Tales of the field: on writing ethnography. Chicago, 1988.
41. *Mulkay M.* The word and the world: explorations in the form of sociological analysis. London, 1985.
42. *Ong W.* Orality and literacy: the technologizing of the word. New York, 1982.
43. *Pepper S. C.* World hypotheses: a study in evidence. Berkeley, 1972.
44. *Pfohl S.* Death at the Parasite Cafe: social science (fictions) and the postmodern. New York, 1992.
45. Postmodernism and social inquiry / Ed. by D. R. Dickens and A. Fontana. New York, 1994.
46. *Quinones R. J.* Mapping literary modernism: time and development. Princeton, 1985.
47. *Rosenau P. M.* Post-modernism and the social sciences: insights, inroads and intrusions. Princeton, 1992.
48. *Shapin S.* A social history of truth: civility and science in seventeenth-century england. Chicago, 1994.
49. *Shotter J.* Conversational realities: constructing life through language. London, 1993.
50. *Shumaker W.* English autobiography: its emergence, materials and form. Berkeley, 1954.
51. *Tyler S.* The unspeakable: discourse, dialogue and rhetoric in the postmodern world. Madison, 1987.
52. Writing culture: the poetics and politics of ethnography / Ed. by J. Clifford and C. Marcus. Berkeley, 1986.

ПИСЬМО КАК ОТНОШЕНИЕ¹

Умение танцевать ногами, понятиями,
словами: нужно ли мне еще говорить,
что это надо уметь делать также *пером*?

Фридрих Ницше. Сумерки идолов

Основные слова обозначают
не вещи, а близкие отношения.

Мартин Бубер. Я и Ты

Множество различных диалогов наделяют реальностью коммуналное измерение дискурса, в противоположность когнитивному и экспрессивному. Философия обыденного языка и речевых актов, прагматический поворот в семиотической теории, этнометодология и лингвистическая социология, возрождение риторического анализа, современный дискурсный анализ, а также критические исследования господствующих идеологий и отношений власти/знания позволяют нам полнее оценить функции лингвистической формы в определении контуров культурной жизни. Традиционный интерес к синтаксису и семантике уступает место интересу к тому, что совершается совместно с другими и для других в процессе сообщения содержания. Ниже я попытаюсь распространить данный подход на область письма и, в частности, исследовать относительное значение различных жанров академических текстов. Как я покажу, письмо является по своей сути действием внутри отношений; именно в отношениях письмо обретает смысл и значение, и наоборот, наша манера письма допускает одни формы отношений, игнорируя или подавляя другие.

Если письмо составляет часть отношений, то нам надлежит спросить, какие формы отношений поддерживаются существующими традициями научного письма. Как эти формы письма влияют на отношения между коллегами, между представителями принципиально разных академических сообществ, а также между преподавателями и студентами? Каким образом эти текстуальные традиции способствуют установлению дисциплинарности; есть ли в них потенциал для преодо-

¹ Ориг. опубли. в сб.: Social structures and aging / Ed. by K. W. Schaie. New York, 2000. – *Примеч. пер.*

ления тех границ, которые сегодня разделяют дисциплины? И, если брать шире, как существующие формы письма влияют на общество в целом? Чтобы оценить, что поставлено на карту, приведем замечание Джона Шоттера относительно современного академического обмена: «Не осуществляется ли своеобразное насилие в интеллектуальных дебатах и дискуссиях; на университетском коллоквиуме, семинаре или в аудитории; в академических текстах? Не присутствует ли что-то неявное в тех способах, которыми мы вступаем сегодня в отношения друг с другом в академической жизни, что заставляет нас бояться друг друга? Не существует ли в наших нынешних обстоятельствах чего-то, что обязывает нас (или, по крайней мере, некоторых из нас) беспокоиться об убедительности своих слов или наличии собственной позиции? Исходя из своего собственного опыта, я могу сказать: есть» [16, 17–18].

Если формы письма вносят свой вклад в обжитые нами социальные миры, то как происходит этот процесс? В данном случае меня будут особенно интересовать онтологические и ценностные предположения – наряду с формами социальной организации, – на которых строятся эти жанры письма. Я покажу, что наши стили написания текстов заключают в себе не только концепции человека, но также и образы идеального характера, к которым нам следует подobaющим образом стремиться. Там, где содержание или темы могут радикально меняться с течением времени, формы написания зачастую остаются стабильными. Например, в то время как в последние десятилетия научная психология сместила фокус своего внимания с поведенческих на когнитивные модели функционирования человека, формы научного письма остались прежними. И этот способ написания не только скрывает в себе концепцию идеального человека, но также устанавливает определенное состояние отношений – между авторами и читателями и, косвенно, между всеми нами.

Предлагаемый текст имеет форму нарратива, состоящего из трех частей. Сначала я постараюсь показать, что наши главные традиции письма в социальных науках были порождены специфическим историческим этосом и их социальные следствия сегодня глубоко проблематичны. Посеяв тем самым семена драмы, я исследую далее некоторые формы письма, которые начинают сегодня преодолевать влияние наших устоявшихся традиций. В заключительной части я коснусь тенденций в репрезентативных практиках, которые предлагают радикально пересмотреть как наши концепции идеальных человеческих субъектов, так и наши модальности взаимодействия.

Но прежде надо сделать три предостережения. Во-первых, в фокусе моего внимания находятся письменные традиции социальных наук. Хотя я верю, что все это имеет важное значение также для естественных и гуманитарных наук, однако в этих последних есть нечто, мешающее простой генерализации. Что касается педагогического значения

этих размышлений, я предполагаю наличие у учеников, по крайней мере, элементарных навыков письма. Мои замечания не следует толковать как исключющие развитие хотя бы минимальных умений в области грамматики, пунктуации, лексики и т. д. Наконец, хотя я и буду критиковать наши основные традиции письма, это не означает огульного их отвержения. Моя цель здесь состоит в том, чтобы доказать необходимость расширения наших возможностей репрезентации и результирующих отношений, а не их сокращения.

ИНКАПСУЛИРОВАННЫЕ Я: ПРИВИЛЕГИЯ И ПЕЙОРАЦИЯ

Социальные науки в значительной мере являются продуктом дискурса Просвещения, исходящего из определенных предположений о природе знания, космологическом порядке и возможности человеческого совершенствования посредством систематических изысканий. Для наших целей наибольшее значение имеет то, что существенные элементы просвещенческой концепции человеческого функционирования проникают в формы письма, доминирующие сегодня в социальных науках. Что касается образов человеческой жизнедеятельности, то здесь я имею в виду дуалистическую традицию, согласно которой мы допускаем существование индивидуальных сознаний, способных добывать знание об окружающем материальном мире¹. Ключевым компонентом психического мира, начиная с Декарта и заканчивая современной когнитивной психологией, выступает способность рационального мышления (теперь это способность «обрабатывать информацию»). В частности, благодаря тому, что разум связан с сенсорными способностями наблюдения, индивид может накапливать объективное знание о мире. Объективность снижается в той степени, в какой желания, мотивы или эмоции (являющиеся манифестациями материальной или животной сущности) искажают процессы рассуждения и наблюдения. Только на основе индивидуально-го знания обычный человек может подняться выше животного царства, отвергнуть авторитет королей и священников и выжить – или даже преуспеть – в физическом мире.

Это представление о функционировании индивида оказывает заметное влияние на наши формы научного письма. Как отмечали многие исследователи, просвещенческая концепция объективного, свободного от ценностей знания способствовала упадку риторических исследований. В мире, где знание является итогом тщательного наблю-

¹ Для более глубокого анализа отношений между просвещенческой концепцией индивидуального знания и риторикой объективности см. гл. 7 в моей работе «Реальности и отношения» [6].

дения и безупречного рассуждения, искусство убеждения делегитимировано (как «просто риторика»). Обольщение, будь то посредством слов или же тела, делает разум порочным. Для нас более важно то, что просвещенческая концепция разума отражается в исходных свойствах письма в социальных науках. В частности, стоит упомянуть желательность словесной экономии, логической стройности, ясности, беспристрастности, всесторонности и определенности. Боязнь скатиться к риторике и требование эффективности мышления ведет к принятию оккамова указания «отбрасывать ненужные слова». Поскольку логичный ум не содержит противоречий, важна последовательность в аргументации. Так как знающий разум проникает в суть вещей, требуется ясность изложения. В свете подозрительного отношения к желаниям и ценностям приветствуется прямой, ровный, лишенный эмоциональности стиль. В силу того, что знания представляются накапливаемыми, на первое место выдвигается всесторонность описания и определенность (или сужение области неясного). Направляющей метафорой письма в социальных науках служит не искусно сделанная урна, а нечто вроде идеально оборудованной канонерки – мощной, безупречной в действии, упорной в преследовании цели и непобедимой. Рассмотрим несколько образцов.

«Если единственное желание P в C в t – достичь G и если P полагает, что попытка сделать A в C в t альтернативна безусловной привлекательности продвижения к G , если P считает, что он или она может сделать A в C в t и если альтернативные действия, которые, как кажется P , он или она может осуществить, по мнению P , требуют не меньше усилий, чем A , тогда P попытается сделать A в C в t » [18, 74].

«Также предсказуемо, что когда (в коммуникации) наступает молчание, оно будет дифференцированно определяться на основании правил либо как (i) пауза перед последующим применением Правил 1(b) или 1(c), либо как (ii) промежуток неприменения Правил 1(a), (b) и (c), либо как (iii) избранное следующим говорящим знаковое (или могущее быть приписанным в качестве такового) молчание после применения Правила 1(a)» [11, 48].

«Люди, от которых требовали вспомнить примеры собственного поведения, иллюстрирующие черты их личности, при ответе на последующий вопрос относительно того, обладают ли они той или иной чертой, действовали не быстрее тех, кто просто определял слово... Если бы припоминание специфических поведенческих случаев было частью процесса самооценки, тогда на второй вопрос отвечали бы быстрее после автобиографических воспоминаний, чем после семантического задания» [17, 520].

Следует отметить, что вряд ли можно говорить о единогласии в отношении предпочитаемых форм изложения в социальных науках. Сохраняются самые разные традиции, с бесчисленными субдисципли-

нарными ответвлениями. Например, в некоторых областях социальных наук – прежде всего гуманистической, романтической и идеалистической – по-прежнему сильны элементы домодернистских жанров письма¹. Однако я полагаю, что какими бы они ни были – модернистскими или домодернистскими, – эти различные формы письма обладают значительным сходством на уровне их относительных эффектов. Во-первых, они поддерживают предположение о замкнутом сознании – вне зависимости от того, рационально оно или чувственно. Слова рождаются во внутреннем психологическом пространстве и служат каналами его выражения. В этом смысле формы письма создают и поддерживают раздробленный социальный мир. Письмо отражает содержание индивидуального сознания, отличного от сознания тех, кто предшествовал ему (поэтому в случае плагиата применяются суровые санкции), а также тех, кто может впоследствии прочесть его. Автор – это *Ursprung*², видящий и знающий.

Помимо имплицитного деления общества на автономные единицы в форму письма встроена структура привилегии. Письмо представляется как невиданный до сих пор «прорыв в познании», достигнутый благодаря более глубокой, чем у других, интуиции автора. Аудитория, напротив, позиционируется письмом как невежественная или незнающая. Оратор никогда не обращается к равно просвещенному коллеге. Форма обращения – форма откровения, форма истины, разума или вдохновенного прозрения, поэтому читатели нужны в качестве тех, кто «еще должен прозреть». (Иллюстрация – настоящий текст; мой способ артикуляции делает меня знающим источником, в отличие от читателя, к которому обращаются как к неосведомленному об обсуждаемых проблемах.) Иерархия привилегии является также, косвенно, порядком адекватности. Когда письмо представляется знанием, автор определяется как адекватный (рациональный, проницательный, продвинутый), а аудитория – как менее адекватная. Фактически мы наследуем и поддерживаем формы письма, которые способствуют отчужденным отношениям, неадекватности, а также атомистической и иерархической концепции общества.

Как тогда наши традиционные формы письма влияют на процесс структурирования академических дисциплин и на возможности пересечения их границ? В той степени, в какой наши формы письма конструируют мир замкнутого и отчужденного бытия, индивидуальный автор обнаруживает себя в положении потенциального солипсиста. Подтвердить верность или рациональность своей мозговой деятельности невозможно, ничто не гарантирует ценности ее вклада в знание. Иными словами, обо-

¹ С более широким обзором существующих жанров письма в социальных науках можно познакомиться в моей работе «Кто говорит и кто отвечает в гуманитарных науках?» [7].

² Источник, исток (нем.). – *Примеч. пер.*

собранный индивид не способен подтвердить свою подлинность. Для этого требуется отвечающая аудитория, но при этом такая, которая разыграет роль несведущей и которая во многом благодаря этому состоянию невежества будет понимающе реагировать. По большому счету, именно существование понимающей аудитории, реальной или воображаемой, позволяет ученому удостовериться в том, что он является нормальным человеческим существом. Конечно, на основании требований, предъявляемых в рамках учебных курсов, можно обеспечить себе некоторую степень одобрения со стороны студентов. Кроме того, коллеги, поскольку они ориентируются на культурные правила взаимности, могут оказывать ученому поддержку, но в основном при условии подтверждения того, что она будет взаимной. Таким образом, рационализируя некоторую форму учебного плана и выстраивая сеть профессиональной поддержки, изолированный индивид обретает ощущение своей ценности. То есть, говоря шире, чтобы утвердить концепцию себя как достойного существа (в рамках матрицы Просвещения), необходимо что-то, объединяющее академическую дисциплину.

Эта центристская тенденция обостряется другими факторами. Самоаутентификация, как мы видели, обычно (хотя и не обязательно) невозможна без аудитории, соглашающейся изображать покорность. Однако для ученого исполнять эту роль – значит одновременно определять себя как «пустой сосуд», неспособный на «самостоятельное решение». Поэтому научный ландшафт полон тех, кто настроен против автора (если только тот не умер или не изменил вере). Критика для зрелого ученого – главная форма возражения коллегам. Привычные нам формы академического обмена обладают довольно сильным потенциалом разрушения индивидуального достоинства. Ученый сталкивается с существенной самонеопределенностью: «Кто я, какова моя ценность, насколько я хорош?» Чтобы уменьшить неопределенность, надо повторить цикл: новое исследование, новый текст, но теперь в расширенной форме. Можно изобрести новые понятия, привлечь неизвестные работы, использовать более туманный словарь, изучить другие популяции, тем самым увеличив диапазон «известного». Такое наращивание усиливает индивидуальную позицию в иерархии и, в свою очередь, толкает других к замкнутому кругу опровержения и обновления. Концептуальный, терминологический и методологический миры быстро расширяются, и выйти из этого процесса, сохранив ощущение индивидуальной значимости, практически невозможно. Именно благодаря непрерывному чтению, критике и переформулировке поддерживается непрочное чувство осмысленности своего бытия. В то же время сообщество возводит вокруг себя непроницаемую стену слов. Когда незнакомец с трудом проникает в этот дом языка и неумело использует соответствующий дискурс, он или она рискует быть осмеянным. Наш способ письма включает в себя нашу форму академической жизни и стратегию дисциплинарного деления.

СВЯЗУЮЩЕЕ ПИСЬМО: ОТКРЫТИЕ ДРУГОМУ

Каким образом мы вписываем себя
в наши тексты во всей своей
интеллектуальной и духовной целостности?
Каким образом мы вводим
собственные голоса,
собственные индивидуальности,
в то же время претендуя на то,
чтобы что-то «знать»?

Лорель Ричардсон. Поля игры

За последние десять лет я стал гораздо более чувствительным к обозначенным проблемам и в своем собственном письме я начал искать пути преодоления традиции. Это был профессиональный риск, и я не всегда мог «найти свой голос» в процессе экспериментирования. Меня также восхищали смелые попытки других исследователей открыть новые модальности выражения в социальных науках и тем самым новые формы отношений. Особенно важны в свете обсуждаемой тематики те авторы, которые пытались установить более разнообразные отношения с читателем. Вместо того чтобы позиционировать себя в качестве полностью рациональных агентов, недоступных и превосходящих всех остальных, авторы этих работ предстают перед нами больше похожими на обычных людей, в отношениях с которыми читатель может переходить от оппозиции я/ты к позиции «мы вдвоем». Такие тексты подтверждают ценность маргинализированных в просвещенческой концепции человека областей психики: желаний, эмоций, телесных ощущений. Кэролин Бочнер ухватывает дух такого письма, когда говорит о том, что ее книга об отношениях между матерями и дочерьми «показывает, как связаны между собой периоды жизни женщины, и помогает читателю ощутить то, что я чувствую, и услышать то, что я думаю, а также выразить то, что они сами чувствуют и думают относительно собственного опыта» [2].

Еще один пример можно взять из работы, выполненной в завоевывающем сегодня все большую популярность жанре, автор которой, социолог Кэрл Ронай, раскрывает разные аспекты того, что значит быть ребенком умственно отсталого человека: «Меня возмущает обязанность делать вид, что в моей семье все в порядке, обязанность, подкрепляемая молчанием, секретностью и риторикой типа „ты не должна ни с кем говорить об этом“. Мы притворяемся, чтобы все шло гладко, но это не срабатывает. Все вокруг моей матери лгут и фальшивят, включая меня. Почему? Потому что никто не сказал ей в лицо, что она больна. Мы говорим, что не хотим расстраивать ее. Я не думаю,

что мы готовы встретиться с ее реакцией на правду... Из-за моей матери и из-за того, как семья, в качестве единого целого, решила справляться с этой проблемой, я утопила целый фрагмент своей жизни во лжи» [15, 115].

В одном из вариантов подобного аутоэтнографического отчета социолог Карен Фокс использовала два нарратива от первого лица, полученные в ходе интервью с сексуальным насильником (Беном) и его жертвой – падчерицей (Шерри) [5]. Автор также добавляет собственный голос, поскольку она имеет право говорить на равных, будучи сама в детстве жертвой сексуального насилия. Индивидуальные голоса выстраиваются в три параллельные колонки:

«Бен – сексуальный насильник:

Знаете, я люблю ее.
У нас действительно хорошие отношения.
Она любит меня, она сама сказала мне об этом.

Карен – исследователь:

Я хочу верить Бену. Мне так кажется.
Я всегда надеялась, что я значила что-то
для моего насильника;
что он действительно любил меня;
что он действительно чувствовал,
что я особенная.

Шерри – жертва:

Я никогда не питала
романтической любви к нему.
Это вызывает у меня отвращение...
Я любила его, как отца» [5, 339–341].

Триадическая форма письма Фокс не только вводит в описание ее личный (и одновременно «знающий») голос, но и вызывает определенную диффузию идентичности. Фокс поясняет в своей книге, что отобрала и переработала нарративы Бена и Шерри и этим тоже окрасила их голоса своим собственным. Тем самым автор становится частью нас, читателей; единая и последовательная индивидуальность, столь желанная в модернистской традиции, уступает место многогранному существу. Вдобавок эти грани содержат другие голоса, так что мы можем теперь поглотить голос автора.

Однако есть авторы, более откровенно демонстрирующие свой поливокальный характер. Одну из ранних и наиболее провокационных попыток такого рода можно найти в книге Майкла Малкея «Слово и мир» [12]. Эта работа особенно интересна, поскольку она показывает, как абстрактная теория – фактически закрытое хранилище модернистского формализма – может быть представлена в качестве персональ-

ной. Например, в вводной главе повсюду возникает голос ворчливого собеседника. Рассказчик Малкей говорит формальным тоном о «таком расширении диапазона аналитического дискурса, чтобы в него вошли формы, ранее рассматривавшиеся как неуместные» [12, 10]. Беспардонный собеседник Малкей отвечает: «Это, в принципе, звучит очень привлекательно, но здесь игнорируется важное различие между фактом и фикцией» [12, 10]. Малкей продолжает объяснять своему оппоненту, что даже в науке «то, что является фактом для одного [ученого], не больше чем фикция для другого» [12, 11]. Собеседник возражает: «Не рискуем ли мы спутать два различных значения слова „фикция“?» [12, 11]. Дальнейшие главы содержат обмен корреспонденцией между Марксом и Спенсером, их письма самому Малкею, а также дискуссию между выпившими участниками нобелевской церемонии.

Использование множества голосов – не единственный способ снятия ограничений единичности и приглашения читателя к более богатым отношениям. Нормальная, сложная жизнь также означает, что большинство из нас обладает потенциалом участия в различных жанрах. Впервые сила жанрового разнообразия раскрылась передо мной, когда я участвовал в презентации афро-американского теоретика Корнела Уэста, поразившего меня тем, насколько легко он совмещал риторику формальной теории, безукоризненную речь представителя среднего класса и жаргон черного проповедника. Не один, так другой голос достигал меня; их совокупной силе противиться было практически невозможно. Из письменных текстов на меня огромное впечатление произвела книга Стивена Тайлера «Невыразимое» [20]. Как и Малкей, Тайлер желает расширить диапазон теоретических идей, но творя свои слова/картины, он пользуется богатой палитрой жанров. Например, в одном эпизоде, пытаясь разрушить научное представление о языке как носителе специфического значения (поэтому ясно раскрывающем истину), Тайлер шутя деконструирует фразу из семиотики («движение вдоль синтагматической оси...»), демонстрируя, что если до конца проследить значение каждого из образующих ее слов, то оказывается, что эта фраза на самом деле означает «вторая мировая война столкнула анально фиксированных немцев и орально фиксированных британцев» [20]. В игровом порыве Тайлер безостановочно нагромождает одну дискурсивную традицию на другую, чтобы дать жизнь следующему аргументу: «Симультанность парадигмальной импликации останавливает стремительный поток означающих в сингулярности времени. Не следуй развилками! Не разветвляйся! Держись меня, Борхес! Время идет!» [20, 6]. И даже если бы этого оказалось недостаточно, заключительные строки той же главы покорили меня. Не были ли они эхом всего того, что я так любил в романтической поэзии

ХІХ в.? «Под мерцающим арктическим сиянием, отражающем скрипы и стоны полярного льда, чуть вспыхивает и гаснет пламя жертвенного очага, в самом его сердце, среди дышащей ветхостью тьмы антиподной ночи» [20, 59].

Что происходит при этом с традиционными критериями совершенства научного письма? Каким бы образом ни расширялось пространство личного присутствия автора, в любом случае эти критерии утрачивают свою важность. Например, в указанных работах практически не соблюдается требование словесной экономии; может ли строгое письмо вызывать ощущение растворения авторского присутствия? Эти тексты далеко не беспристрастны; не лучше ли это, чем скрывать свои намерения под обманчивым покровом нейтральности? Не ориентируются они и на требование логической последовательности; фактически поливокальное письмо разворачивается как критика самого этого критерия. В этих произведениях традиционные прозрачность и определенность уступают место двусмысленности и амбивалентности; для достижения полноты отношений в письме не требуется «всеохватывающее описание», поскольку всегда должно оставаться пространство для дополняющего голоса читателя.

Но гораздо важнее, какие эффекты вызывают эти эксперименты, чем то, чего в них нет. Я чувствую, что они кладут начало иной форме отношений, отличной от той, с которой я обычно сталкивался. Вместо холодной, сдержанной и навязчивой рациональности автономного другого я часто встречаюсь с теплотой, спонтанностью и признанием слабостей, т. е. всем тем, что привлекает меня в авторе. Мы обнаруживаем здесь не противопоставление его/ее позиции моему мнимому невежеству или той позиции, которую я должен отстаивать от своего лица, а скорее приглашение к чему-то наподобие разделенной субъективности. В письме, использующем всю полноту первого лица, я как читатель могу вообразить себя писателем, чувствовать и думать вместе с ним. Граница между автором и читателем стирается. Более того, благодаря аффективно нагруженному языку – дискурсу ценностей, желаний, эмоций и духа – я начинаю иначе переживать письмо; в отличие от моей реакции на традиционное письмо я могу испытывать чувство полного слияния всего своего тела со словами. При этом снижается также ощущение иерархии и соревнования, вызываемое традиционным письмом. Выдвижение обоснованного аргумента всегда предполагает применение критерия превосходства/неполноценности; однако если вы говорите исходя из опыта, мы можем участвовать на равных. Когда автор признает свои слабости (вроде личных пристрастий), я перестаю позиционироваться как занимающий более низкое положение; когда он проявляет свою многоликость, я перестаю бороться со своей непоследовательностью. Мы не конкуренты в мире письма, мы связаны общим исследовательским проектом.

Меня также привлекает то, как эти нетрадиционные практики влияют на мое ощущение дисциплинарных границ. В письме, в котором автор переживается мною в качестве полноценной личности, забота о дисциплинах теряет смысл. Автор здесь – это прежде всего человеческое существо, увлеченное исследованием; то, что он или она, так случилось, имеет степень доктора философии в данной области, вторично. Подобное же низложение дисциплинарности происходит, когда автор обращается к поливокальности и/или многообразию жанров. Если авторы представляют собой некие совокупности, то как я могу определить их «подлинную дисциплинарную принадлежность»? И если я резонирую с одним или несколькими из их голосов, зачем мне вообще беспокоиться о ней?

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ

Нам нужна не... «бесконечная безопасность»
идеологий, а поощрение «ненужного риска»
в действии и взаимодействии.

Виктор Тэрнер. От ритуала к театру

Конкретный язык театра может обострить
и усилить восприятие. Он живет в сфере чувств.
Он находит новую лирику жеста, стремительность
и размах которых позволяют ему выйти за пределы
лирики слова. Он окончательно
порывает с подчинением сознания языку...

Антонен Арто. Театр абсурда

Чьи слова печатают сейчас мои пальцы? Конечно, не мои. Если бы они были только моими, можно ли было их вообще назвать словами? Не стали бы они бессмыслицей? А может мои слова взяты у других, и тогда я лишь фальшивая индивидуальность? Как мог бы ответить Михаил Бахтин, любой разговор в каждый момент является разновидностью чревоуверования. Но этот ответ не может удовлетворить нас, поскольку мы вскоре обнаружим себя скатывающимися к бесконечному регрессу. Если мои слова являются словами других, то откуда те взяли их? У других? Но мы сами в их списке... Нет, эти слова – если им вообще надлежит иметь смысл – должны рождаться в отношениях. Не мои, не ваши, но наши... и не только наши... они участвуют в игре языка, в которой нет арбитра, творя бесконечные вариации на темы, которые сами представляют собой вариации. Я не имею смысла без вас, а вы – без

меня. А если так, то что делать с этими местоимениями – «я» и «вы»? Не вводят ли они в заблуждение, создавая искусственную дистанцию и разобщенность? Нет, мы не одно: говорить, что мы «одно», – значит возвращаться к старому. Но мы можем отдать должное тому первичному процессу отношений, которому обязаны самой возможностью вас, меня и нас и без которого не было бы никакого ощущения реального или правильного, вообще не было бы причины писать.

Каким образом наши способы репрезентации могут ввести идею относительности в повседневное сознание? Посредством разработки альтернативных форм письма, которые открывают возможности новых модальностей отношений. Поэтому, изобретая новые формы письма, мы можем создавать новые формы действия. Отдаленность, отчужденность, соревнование, иерархия... все это можно отбросить. Вместо этого мы могли бы сделать ставку на относительные игры, поддерживающие общность, приглашающие к бесстрашному поиску и позволяющие совместно конструировать лучшие миры. (Я боюсь, мои слова здесь становятся восторженными, наивно оптимистичными, бездумно идеалистичными... но опять же, если мы живем среди созданных нами самими значений, почему бы не выбрать энтузиазм?)

В качестве иллюстрации некоторых возможностей возьмем, например, диалогическое письмо. Вместо того чтобы писать как единственный агент, контролирующий значение и оберегающий свое священное Я, почему бы не писать вместе с другими, причем так, чтобы не было никакого единичного сообщения, а лишь переплетение отдельных нитей, образующих целостную, сложную ткань? Ниже приводится выдержка из одного такого исследования, триалога, где я (выступая в своей академической роли) совместно с двумя практикующими терапевтами (Линн и Харлин) обсуждаю новое движение в практиках лечения, в рамках которого терапевты диагностируют расстройства отношений. Большая часть нашей беседы разворачивалась вокруг критики диагностики. Теперь мы начинаем рефлексировать то, о чем говорили:

«**КДД:** Надежда, которую мы втроем разделяли в этом усилии, состояла в том, что триалог как форма письма мог бы сам по себе выступить наглядным примером некоторых преимуществ конструкционистского подхода к относительному диагнозу. Что происходит, когда мы отказываемся от монолога (соответствующего единичному голосу в практиках навешивания диагностических ярлыков) и вступаем в многоголосый разговор (которому отдают предпочтение конструкционисты)? В некоторой степени, как мне кажется, эта надежда оправдалась, поскольку каждый из нас принес свой уникальный голос, вобравший в себя различный опыт, отношения и литературу. Наш случай стал богаче в результате совместного участия. В то же время, поскольку мы во

многим согласны друг с другом, триалогическая форма не раскрылась в полной мере. Мы еще не воспользовались ее каталитическим потенциалом.

Развивая эту возможность, я хочу сосредоточиться на моменте несогласия. Можем ли мы использовать конфликт в рамках данного диалогического пространства не так, как он используется в монологической ориентации (где собеседник, как правило, скрывает внутренние конфликты ради достижения абсолютной непротиворечивости)? Что касается диагностики, то я действительно не согласен с предложением Линн включиться в то, „что уже имеет место“. Она указывает, что „процесс определения является первичным обрамляющим актом любого рода терапии или консультирования“, и под влиянием различных наших критических выпадов предлагает умножать количество определений, включая в их число даже те, которые даются самими клиентами...

Теперь я понимаю, что для меня, возможно, проще занять именно такую радикальную позицию, потому что я не терапевт, и от того, поддерживаю я или нет терапевтические традиции, не зависит наличие у меня средств к существованию...

ХА: Кен считает, что наш триалог не создал того каталитического потенциала, на который он надеялся. У меня же этот триалог вызвал гораздо больше мыслей, чем заметно по тому, что я написала. Я много обсуждаю проблему диагнозов сама с собой и часто затрагиваю вопросы диагностирования в своих беседах с коллегами и студентами. Это касается и терапии: всегда ли виден каталитический потенциал? Могут ли наши вынесенные на бумагу слова помочь другим в обсуждении диагностики? Надеюсь, да.

Я расскажу об одном случае, который великолепно иллюстрирует сложность человеческих проблем и то, как диагноз и основанное на нем лечение могут излишне упрощать и обострять их...

ЛХ: Кажется, наш разговор сейчас переходит в новую плоскость. Я хочу спросить, случилось бы это изменение, если бы я не „присоединилась к оппозиции“ или если бы Кен не решил „не согласиться“? Если бы мы с самого начала избрали формат дебатов, в которых каждый защищает свою позицию, достигли бы мы этой точки раньше? Кэтрин Бейтсон сказала недавно на одной конференции, что для того, чтобы возникла импровизированная беседа, которую она считает полезной, люди должны сначала установить, что у них есть общий код. Так что, может быть, это вопрос стадии. Что вы, оба, думаете?

В ответ на последние замечания Харлин скажу, что, как мне кажется, терапевты, стремящиеся найти свою нишу в области практик лечения, явно не видят иного пути, кроме как оставаться в определенных диагностических рамках. Хотя сама я отказалась от них, я почув-

ствовала, что должна вернуться обратно, чтобы представить их „сторону“. Но, я думаю, Харлин права, когда говорит, что обращение к медицинской метафоре не только отдаляет нас от наших клиентов, но и делает нас менее эффективными» [8].

Безусловно, у триалога есть свои недостатки. Но что вдохновило меня в этой попытке, так это тот факт, что я оказался способен работать вместе с профессиональными практиками, разрушая самоочевидную оппозицию «чистого» и «прикладного». Наложив наши голоса друг на друга, мы смогли создать гораздо более сильный прецедент, но в то же время такой, который отличался своей неспособностью охватить целое – во многом подобно тому, о чем мы говорили при обсуждении диагностики. Кроме того, я многому научился у такого письма; оно строилось не на артикуляции уже занимаемой позиции, а на усложнении моего понимания в ходе взаимообмена. Этот процесс помог нам также наладить связи, которые по-прежнему остаются питающими и продуктивными. Я начал применять проекты диалогического письма в некоторых своих студенческих группах, и иногда результаты были просто потрясающими. Письмо в контексте текущего разговора делает ощутимо значимыми прилагаемые усилия: студент пишет для других, которые, опираясь на него/нее, развивают дискуссию дальше. Кроме того, студенты свободны использовать любые жанры – не только академические формальности, но и уличный язык, интимную речь, иронию, юмор и т. д. Созданная композиция делает отношения живыми и вызывает чувство восхищения, т. к. процесс не был задан заранее.

Одной из интересных особенностей диалогического письма является его адресованность. В отличие от безличной формы обращения, столь характерной для традиционного письма в социальных науках (исходящего из предположения, что единственный знающий говорит вонне безликой общности незнания), диалогическое письмо направлено «к кому-то» конкретно, а именно к собеседнику. В этом смысле письмо обращает внимание на свой перформативный или иллокутивный характер; мы яснее видим, что оно является составляющим элементом текущей социальной практики. Эта перформативная характеристика может быть акцентирована в различных формах дискурса. Некоторые отважные социальные ученые экспериментируют, например, с поэтическими формами написания. Хотя поэтическое письмо адресно в меньшей степени, чем диалогическое, оно ориентируется на аудиторию и, как правило, таким образом, чтобы пригласить других к более богатым и полноценным отношениям. В качестве примера можно привести то, как феминистская исследовательница Лорель Ричардсон размышляет о природе своего научного письма:

Пока я писала книгу

мой сын, старший, сошел с ума
мой сын, младший, начал грустить
никсон ушел в отставку
саудовцам объявили эмбарго
родезии что-то там сделали
и моя посудомоечная машина сломалась

у моей сестры, старшей, открылось кровотечение
мой брат перестал разговаривать со мной
мой бывший стал гуру и умер от передозировки
хемлинсы пришли в упадок и стали популярны
техасцы победили эра
и мои сальники дали течь

у моего друга, нового, появилась опухоль
моего соседа справа застрелили
в цинциннати осудили грех
и моя драцена сгнила

а я трудилась [14, 203–204].

Данное стихотворение особенно привлекательно тем, что оно превращает академическое письмо в форму разрыва, выхода из потока частиц, составляющих нашу жизнь. В то же время, хотя поэзия ни к кому определенно не адресована, она обычно вовлекает читателей в более близкие отношения с автором. То, что, по нашему предположению, находится глубоко «внутри» автора, оборачивается вовне к читателю, чтобы тот мог это изучить и, быть может, принять. Поэтическое письмо требует признания того, что «я тоже». Некоторые инновационные этнографы сегодня схожим образом экспериментируют со способами представления слов тех, кого они исследуют, в поэтической форме. Они пытаются «описать суть» того, как люди оценивают свою жизнь, но так, чтобы одновременно выразить те чувства, которые «абориген» вызывает у этнографа [10]. Поэтика помогает этнографу вызвать у читателя близкое этому состояние. Говорящий-исследующий-читающий становятся единой субъективностью.

Если вы разберете пример диалогического письма, приведенный выше, то увидите, что он напоминает театральный сценарий. В некотором смысле мы вдвоем написали небольшую, местами скучную театральную пьесу. Выявление перформативной характеристики, как в случае поэзии, – это лишь маленький шаг к изучению возможностей организации научного исследования как театрального представления. Относительные перспективы такой организации захватывают. Достижение драматических эффектов обычно предполагает использование не только слов. Настоящий театр зачастую невозможен без полной согласо-

ванности движений, света, звука, объектов и декораций, а также сложных отношений между актерами и аудиторией. По сравнению с театром письмо открывает лишь минимальные возможности отношения. Наверное, ключевой фигурой, разработавшей основания для рассмотрения театра как орудия академического выражения, был Виктор Тэрнер. Он считал, что этнографические способы документирования (в том числе фильмы) «не позволяют показать многое из того, что предполагает жизнь члена общества, которое снимается на киноплёнку» [19]. Можно разработать более адекватный способ понимания, «составив из наиболее интересных фрагментов этнографических данных сценарии, затем разыграв их в аудитории и, наконец, снова придав им этнографическую форму, дополненную пониманием, которое появляется после того, как ты „побывал в шкуре“ представителей иных культур» [19, 90].

Педагогические формы использования театральной игры на сегодняшний день уже достаточно хорошо разработаны в рамках перформативных исследований [3]. Группы геев и лесбиянок, например, развили политический потенциал перформанса [4]. Социальные теоретики также обратились к театральным модальностям при изучении отчужденных аудиторий: абстракция конкретизируется. Вот короткая иллюстрация из работы философа/активиста Фреда Ньюмена, исследующего взаимосвязь и грани расизма и бедности:

«**Сэм:** Эй, Пирли. Как дела-то, детка?... О, эй, извини, малышка. Ты уж больше не Пирли, так? Что на этот раз, сестренка? Телума? Да? Телума. Мне нравится твое новое имя. Говоришь, африканское, ух-ты. Телума. Блин. Теперь у меня есть чертова сестричка по имени Телума. Как поживаешь, ТЕЛУМА (хочет поцеловать ее; она уворачивается).

Пирли: Ты воняешь как кусок дерьма. Когда ты последний раз душ принимал?

Сэм: Да не хочу я никакого душа, ТЕЛУМА.

Пирли: ТАКУМА.... тебе ж известно... ВОНЮЧКА. Пойди прими душ, братец.

Сэм: ТАКУМА! О да. Да, я забыл... серьезно, Пирли. Эти африканские имена такие трудные, знаешь же. Но звучат что надо. ТАКУМА. Мне нравится, сестренка. Клево, ТАКУМА. Знаешь, звучит, черт подери, по-настоящему» [13, 206–207].

Подобное драматическое письмо особенно значимо для становления относительного сознания. Его автор находится в инородном состоянии, являясь одновременно и собой, и другим. В сходном положении оказывается и аудитория, которая эмпатично слушает. Однако разработка драмы предвещает развитие еще более радикальных областей репрезентации. Мы должны спросить: если драматические искусства

легитимируются в качестве модальностей научного выражения, то почему бы не сделать то же самое в отношении всего диапазона коммуникативной деятельности? Если письмо не является чем-то священным – и тем самым закрытым, – то почему бы ученому не расширить репертуар репрезентации, включив в него визуальные искусства, танец, музыку, мультимедиа и др.? Постепенно эти возможности реализуются. Уже существует довольно развитая область визуальной социологии¹. Качественные исследователи также начинают обращаться к потенциалу танца [1]. В моих педагогических экспериментах многие студенты избирали для своих «семестровых работ» форму видео, веб-продукции и живописи. Один увлеченный студент представил «работу» по теме «Технология и Я» в виде танца. Я редко сталкивался с такими энтузиазмом, новизной и самоотдачей в отношении научной деятельности, которые встретил, знакомясь с различными презентациями, обычно исполняемыми перед одногруппниками и друзьями.

Наконец, я хотел бы привести как пример собственную работу, касающуюся аспектов относительного бытия. В течение ряда лет я пытался дать теоретическое описание относительного процесса, подзревая, что всеми, кроме членов узкой академической гильдии, моя работа будет восприниматься как скучная, непонятная и элитарная. Стремясь расширять ее относительные возможности, я пригласил к сотрудничеству цюрихского художника Регину Уолтер. На мой взгляд, произведения Регины бросили вызов традиции самодостаточного индивидуализма, искусно снимая различия между Я и другим. Наше сотрудничество должно было, таким образом, состоять в организации относительной динамики между рядом моих теоретических идей – представленных в более привычном и доступном языке – и серией ее рисунков. В каждом случае литературный образ должен был сопровождаться визуальным высказыванием; мы надеялись, что установленные таким способом отношения будут более живыми, чем сумма их частей².

Форма и содержание сливаются... автор сливается со словом... сотканным для читателя... созданным для мира... и письмо больше не служит каналом для устремляющихся сквозь время и пространство сознаний... а составляет сам мир... выявляя и творя отношения... в которых дисциплинирование письма лишь сужает поток... парализуя процесс... в результате которого значение отправляет себя в жизнь...

¹ Центральный печатный орган этого движения – журнал «Визуальная социология», выпускаемый Международной ассоциацией визуальной социологии.

² Для более полного описания см. работу Джерджена и Уолтер [9].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Blumenfeld-Jones D. S.* Dance as a mode of research representation // *Qualitative inquiry*. 1995. Vol. 1. № 4.
2. *Bochner A. P., Ellis C.* Talking over ethnography // *Composing ethnography: alternative forms of qualitative writing* / Ed. by C. Ellis and A. P. Bochner. Walnut Creek, 1996.
3. *Carlson M.* Performance: a critical introduction. London, 1996.
4. *Case S., Brett P., Foster S. L.* Cruising the performative: interventions into the representation of ethnicity, nationality and sexuality. Bloomington, 1995.
5. *Fox K. V.* Silent voices: a subversive reading of child sexual abuse // *Composing ethnography: alternative forms of qualitative writing* / Ed. by C. Ellis and A. P. Bochner. Walnut Creek, 1996.
6. *Gergen K. J.* Realities and relationships: soundings in social construction. Cambridge, 1994.
7. *Gergen K. J.* Who speaks and who replies in the human science scholarship? // *History of the human sciences*. 1997. Vol. 10. № 3.
8. *Gergen K. J., Anderson H., Hoffman L.* Is diagnosis a disaster? A constructionist trialogue // *Handbook of relational diagnosis and dysfunctional family patterns* / Ed. by F. W. Kaslow. New York, 1996.
9. *Gergen K. J., Walter R.* Real/izing the relational // *Journal of social and personal relationships*. 1998. Vol. 15. № 1.
10. *Glesne C.* That rare feeling: re-presenting research through poetic transcription // *Qualitative inquiry*. 1997. Vol. 3. № 2.
11. *Levinson S. L.* Pragmatics. Cambridge, 1983.
12. *Mulkay M.* The word and the world: explorations in the form of sociological analysis. London, 1985.
13. *Newman F.* What is to be dead? // *Performing psychology: a postmodern culture of the mind* / Ed. by L. Holzman. New York, 1999.
14. *Richardson L.* Fields of play: constructing an academic life. New Brunswick, 1997.
15. *Ronai C. R.* My mother is mentally retarded // *Composing ethnography: alternative forms of qualitative writing* / Ed. by C. Ellis and A. P. Bochner. Walnut Creek, 1996.
16. *Shotter J.* Textual violence in academe: on writing with respect for one's others // *Transgressing discourses: communication and the voice of other* / Ed. by M. Huspek and G. P. Radford. Albany, 1997.
17. *Sia T. L. et al.* Activation of exemplars in the process of assessing social category attitudes // *Journal of personality and social psychology*. 1999. Vol. 76. № 4.
18. *Smedslund J.* Psycho-logic. New York, 1988.
19. *Turner V.* From ritual to theatre: the human seriousness of play. New York, 1982.
20. *Tyler S.* The unspeakable: discourse, dialogue and rhetoric in the postmodern world. Madison, 1987.

ПОЭТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ: ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ¹

В разворачивающихся сегодня вокруг социального конструирования дискуссиях язык предстает формой человеческой координации. Можно было бы даже сказать, что устный и письменный язык представляет собой наиболее детальный, сложный и многообещающий способ координации, доступный для развития отношений, культуры и жизнеспособного общества. Язык также является одним из главных орудий обретения смысла и артикуляции и описания мира. Посредством языка мы конструируемся как неповторимые человеческие существа, обладающие специфическими качествами разума и сердца, и оцениваемся как хорошие или плохие. Или, говоря шире, все, что считается нами реальным, ценным, достойным будущего, укоренено в наших совместно созданных языковых формах [3]. Покинуть «дом бытия», говоря словами Хайдеггера, – значит выйти из отношений, культуры и смысла. Мышление снаружи этого дома невозможно, поскольку вне отношений, культуры и смысла нет ничего.

Как видно из этих предварительных замечаний, язык можно конструировать разными способами: как дом, как координацию, как смысл. Давая ту или иную характеристику, мы тем самым открываем новые горизонты понимания, и значит, новые возможности действия. Этот факт имеет особое значение для терапевтической практики, потому что терапия является прежде всего экскурсией в смысл, процессом человеческой координации, в котором конструируются и реконструируются прошлое, настоящее и будущее. Именно благодаря надежде и обещанию, приносимым этим процессом, из кругового сцепления значений специфическим образом возникают возможности новой жизни. Однако этот «специфический образ» никогда полностью не прояснен; мы никогда не знаем наверняка, где и как была открыта дверь – если она вообще была открыта – к иному (и с некоторой точки зрения «лучшему») способу существования. Поэтому то, во что мы превращаем терапевтический процесс, зависит от наших совместных усилий по созданию значения. Тем самым нам, вероятно, лучше всего было бы принять возможность множества способов описания терапевтического процесса, оптика которых ведет к новой чувствительности и новым способам действия.

¹ Ориг. опубли. на нем. яз. в сб.: *Phil und sophie auf der couch: die soziale poesie therapeutischer gesprache* / Ed. by K. Deissler and S. McNamee. Heidelberg, 2000. – *Примеч. пер.*

Данный текст посвящен тому, что можно назвать поэтическим измерением языка. Говоря о языке как поэзии, мы, как правило, хотим привлечь внимание к его утонченным и высоко ценным качествам. Я коснусь трех из них. Во-первых, когда мы говорим о поэтичности языка, мы часто указываем на его способность разрушать порядок – на то, что он нас волнует, захватывает или потрясает. Иногда слова и фразы выстраиваются в той редкой последовательности, когда они, кажется, срывают покров обыденности и открывают перед нами другие измерения понимания. Во-вторых, мы говорим о поэтичности языка, когда он заставляет нас поверить в вымысел – дает простор воображению или претворяет фантазию в жизнь. Поэтический язык имеет право покидать повседневность и уносить нас в пространство желаний и чудес. Наконец, мы говорим о поэтическом измерении, когда язык вызывает эстетические чувства – поглощает нас своими симметриями, гармониями и восхитительными ритмами. Благодаря поэтическому мы определенным образом преодолеваем отвратительные и зачастую жестокие стороны повседневной коммуникации и обретаем ощущение возвышенного.

Выделив три качества поэтического измерения – каталитическое, имажинативное и эстетическое, – мы можем указать на центральный вопрос работы. Если терапия – это экскурсия в смысл, то как мы можем оживить ее поэтические измерения? Не уповаем ли мы часто на то, что терапевтический опыт приведет клиента к отказу от шаблонов мышления и действия, с которыми он приходит к нам, разбудит воображение, что, возможно, откроет новые источники мотивации, а также позволит клиенту начать жить в большей гармонии с другими? Как тогда метафора поэзии может вывести на передний план те аспекты терапевтического процесса, которые иначе остались бы незамеченными? Что для нас, как терапевтов или участников нормального мира повседневных отношений, означает использовать поэтическое измерение в нашей коммуникации друг с другом?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы сначала рассмотрим некоторые привычные предположения о поэзии. Я покажу, что мы, как терапевты, только выиграем, если освободимся от некоторых традиционных представлений о поэтическом и обратимся к недавно появившимся концепциям. Подобным образом переосмыслив поэзию, мы сможем перейти к обсуждению того, как можно реализовать поэтическое измерение в терапевтической практике.

ПОЭЗИЯ В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ КЛЮЧЕ

Мы можем по-разному определять поэзию, и выбор того или иного определения ляжет в основу того, какие ресурсы мы будем использовать в терапевтической практике. На мой взгляд, унаследованная на-

ми от предыдущих поколений концепция поэзии этой практике препятствует. Традиционные допущения возникли в культурном контексте романтизма XIX в. и модернизма XX в. В данном случае требуется реконструкция этих допущений в терминах постмодернистских или социально-конструкционистских идей. Традиционные предположения, которые я буду рассматривать дальше, можно разделить на индивидуалистические, механистические и риторические.

Индивидуалистическая гипотеза состоит в том, что поэзия представляет собой излияние разума (эмоций, интеллекта, чувств, духа, души и т. д.) поэта. При этом мы полагаем, что поэт – это человек, особая чувствительность, обостренная восприимчивость или насыщенное воображение которого позволяют ему/ей создавать поэтические произведения. Короче говоря, поэт – подлинный источник стиха. Рассмотрим проблемы, которые порождает такое видение поэзии в терапевтических отношениях. Терапевт, в частности, в этом поэтическом измерении осмысливается как особая личность, отличающаяся, т. е. ценная, своей способностью искусно творить странные, фантастические или прекрасные слова. Именно глубина, страстность и чувствительность терапевта даруют свободу действий поэтическому. Клиент, напротив, должен исполнять роль льстивой и пассивной аудитории. Он или она может аплодировать, восхищаться, оценивать по достоинству или трепетать, однако в результате концептуализации терапевта как поэта, по существу, утверждается иерархия, в которой клиент занимает низшее положение.

Эта проблема еще более усугубляется, когда мы обращаемся к индивидуалистическому предложению рассматривать поэта/терапевта как независимого актора, родник вдохновения, выделяющийся из, стоящий выше и свободный от окружающей толпы. Поэт, этот одинокий провидец, говорит своим собственным творческим голосом. Клиент, соответственно, должен идентифицироваться с ним и подражать ему, чтобы «заработать право» приобщиться к поэтическому. Поэтому терапия начинает поддерживать мир изолированных, самодостаточных, возвеличивающих себя индивидов.

Постмодернистский/конструкционистский подход предлагает альтернативу такому представлению о поэте. Как убедительно показала современная теория литературы – от Барта до Деррида, – автор ни в коем случае не является независимым, оригинальным источником. Поэзия становится поэзией в силу своего положения в традиции поэтического письма. Она осмысленна как поэзия в той мере, в какой близка этой традиции и изнутри указывает на нее. Поэт никогда не выходит из отношений, он существует только благодаря своему участию в них.

Такая зависимость осмысленности от отношений является одновременно основным моментом социально-конструкционистской теории. Для конструкциониста язык обретает значение только в рамках относительной деятельности. Сам по себе он лишен способности означать; слова, известные исключительно кому-нибудь одному, ничего не зна-

чили бы для всех остальных, т. е. были бы бессмысленны. В этом контексте действия терапевта следует рассматривать как неразрывно связанные с традицией, традицией, которая дает большую часть основных ресурсов для участия в процессе создания значения в терапии. Язык терапевта не превосходит другие языки по причине того, что он укоренен в терапевтической традиции; этот язык приобретает способность означать только благодаря добровольному участию клиента. В то же время мы начинаем ценить не изолированность клиента от других (выдаваемую за «самостоятельность»), но его активное включение в процессы создания значения.

Рассмотрим теперь следующее – механистическое – допущение, определяющее наше сегодняшнее понимание поэзии. В данном случае предполагается, что произведение поэта оказывает влияние на аудиторию. Хороший стих овладевает аудиторией, заставляя людей по-другому видеть или чувствовать окружающее или раскрывая перед ними такие глубины, о которых они прежде и не догадывались. Стихотворение помещается в механистическую систему причины и следствия. По сути, подобное представление воспроизводит механистическую модель медицины, которая породила институт психотерапии. Терапевт – это врач, воздействующий на пациента с целью вылечить его. Соответственно, поэт/терапевт своими действиями вызывает изменения в клиенте. Между тем в последние десятилетия мы стали намного более чувствительными к проблематичным последствиям механистической ориентации. Дело не только в том, что в ней знание клиента чаще всего оказывается дискредитированным («недостаточно экспертным»), но и в том, что терапевту присваивается роль манипулятивного стратега, объективирующего и экспериментирующего с «объектом исследования» (клиентом). Хуже того, частные взгляды терапевта на «правильное» практически недоступны для рассмотрения, прячась за нейтральным, экспертным языком «исцеления». В руках экспертов, например, неудержимая любознательность ребенка может быть «поэтически» трансформирована в синдром дефицита внимания, и это не вызовет ни у кого вопросов.

Постмодернистская литературная теория ставит под сомнение механистические воззрения на поэзию и литературу, открывая новые перспективы понимания и действия. В частности, теоретики литературы обращают внимание на роль «активной аудитории» или «интерпретативного сообщества» в определении смысла произведения. Они доказывают, что не стихотворение или литературное произведение воздействует на аудиторию, а аудитория играет активную роль в определении того, как следует интерпретировать данное произведение. Так называемая «теория читательского ответа» показывает, что конкретному литературному или поэтическому произведению можно приписать бесконечное множество значений в зависимости от интересов, ценностей, идеологии и т. п. читателя. Нет «стихотворения самого по

себе». Эта же линия аргументации лежит в основе многих конструкционистских идей. Для конструкциониста значение не является собственностью единичных сознаний, эффективно (или нет) передающих его при помощи слов. Наоборот, значение всегда производится в отношениях, в процессе взаимной координации между людьми.

Наконец, мы унаследовали еще и риторическую концепцию поэзии. Начиная с Лонгина и до настоящего времени мы придерживались предположения о том, что способность стихотворения вызывать различного рода эффекты зависит от порядка слов в нем. Определенные слова или фразы – и никакие другие – могут рождать ощущение красоты, страсть, пафос, юмор и т. д. В итоге поэт становится оратором, чья власть над аудиторией зависит от его/ее умения владеть языком. Но когда риторическая метафора распространяется на область терапии, мы обнаруживаем, что ее следует отвергнуть. В этой метафоре терапевт вновь наделяется властью – посредством языка – менять клиента. Клиент – лишь объект, подлежащий трансформации терапевтом при помощи его риторических навыков. Большинство исследованных случаев в терапии строится на подобном анализе, особый акцент в котором делается на том, как терапевт искусно подбирает слова, чтобы добиться желаемых эффектов. В то же время мы редко видим, как (искусно?) слова клиентов дают терапевту возможность вносить свой вклад. Клиент, предполагается, не может быть эффективным оратором.

С постмодернистской/конструкционистской точки зрения слова сами по себе не имеют никакой силы. Это во многом должно было стать понятным из предшествующего анализа эффектов влияния на аудиторию. Для конструкциониста «власть слов» зависит от их функции в текущих отношениях. Рассмотрим случай «поддерживающего контакта глаз». Во многих ситуациях такое действие оказывается разрушительным. «Он постоянно пялится на меня», «У меня такое чувство, что я на перекрестном допросе», «Мне интересно, что, черт возьми, он себе думает» – возможна любая из этих реакций. Однако во время беседы при свечах, полной намеков любовного общения, «поддерживающий контакт глаз» становится «многозначительным взглядом», который действует сильнее любых слов. Поэзия, подобно контакту глаз, риторически эффективна не благодаря конкретному порядку слов и фраз, а благодаря своей включенности в относительное пространство.

ТЕРАПИЯ В ПОЭТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

При анализе поэтического измерения мы делали особый акцент на каталитическом разрушении порядка, воображении и эстетике. Как я показал, однако, если мы принимаем в качестве рабочего традиционное представление о поэзии – в его индивидуалистическом, механисти-

ческом и риторическом вариантах, – разработка поэтического измерения ведет к плачевным последствиям. Мы успешно воспроизводим традиции нарциссизма, власти, манипуляции и разобщения в терапевтических отношениях. Но если мы переопределяем концепцию поэзии на основе постмодернистских/конструкционистских идей, появляется возможность развивать поэтическое измерение иными способами и с иными последствиями. В этом случае мы располагаем поэтическое измерение внутри отношений, а не индивидов, и фокусируемся на значении и движении в скоординированной деятельности. Мы открываем возможности взаимного согласованного значения и значимости слов и действий в специфических относительных контекстах. Поэзия в таком случае не может создаваться вами или мной, она вырастает из того, что мы делаем вместе. Мы реализуем поэтическое измерение в актах коммуникации.

Однако данное описание пока слишком абстрактно. Как мы могли бы достичь поэтического измерения в терапии и, конечно, в любых наших отношениях? Рассмотрим сначала разупорядочивающие, экстраординарные и/или каталитические аспекты поэзии с конструкционистской точки зрения. Если наше ощущение реального и правильного – и тем самым ощущение радости, гнева, депрессии и т. п. – вырабатывается в отношениях, то мы можем рассматривать любую «проблему», с которой сталкиваемся как терапевты, в качестве некоторого застывшего осадка определенной конфигурации отношений. «Моя кошмарная жизнь» является результатом некоторой формы локального консенсуса. Поэтическая задача тогда состоит в том, чтобы вступить в отношения, которые разрушат существующее статическое равновесие и породят альтернативные реальности, т. е. пути понимания себя и других, заслоняемые от нас «неоспоримой очевидностью кошмарности». Решая эту задачу, терапевты, чувствительные к конструкционизму, разработали огромное количество практик. Например, существуют многочисленные подходы к реконструированию новых нарративов («перерассказу»), начиная со знаменитой работы по экстернализации Уайта и Эпстона [11] и заканчивая постмодернистской терапией Харлин Андерсон [1]. Но особенно полезным при поэтическом разрушении порядка я нахожу привнесение множества голосов. Когда новые голоса мирно вступают в разговор, его направление меняется. Дело не только в том, что новый голос преобразует состав значения, но и в том, что коммуникация всегда адресна. Поэтому содержание и форма индивидуальных реальностей изменяются с появлением нового реципиента. Новые голоса можно обнаружить в самом себе – это остатки отношений, исключенных из теперешней реальности. Так, например, исследование многочисленных «внутренних других», проведенное Карлом Томмом [10], а также исследование различных способов написания писем

Пенна и Франкфурта [6] открывают новые пространства для диалога. Другие голоса могут также включаться при помощи рефлектирующей команды [9] или коллективных форм обсуждения. Например, Сейкула [8] и его финские коллеги вводят поэтическое измерение, собирая психиатров, социальных работников, членов семьи, друзей и других представителей сообщества, чтобы совместно с пациентом определить наиболее перспективный план действий.

Давайте перейдем ко второму аспекту поэтического измерения, а именно стимулированию воображения. Как следует развивать воображаемое согласно конструкционистской концепции поэтического? В некоторой степени мы сталкиваемся с вызовом воображаемого при попытке трансформации осадочных реальностей, с которыми клиенты начинают терапию. Любой разговор, толкающий к новым пространствам значения, неизбежно будет стимулировать воображение. Однако проблема воображаемого имеет и другую сторону. Речь идет не просто об оживлении застывшего, а о выработке дискурса желания, т. е. дискурса, который создает образы будущего, возбуждающие, увлекающие и вселяющие надежду. Какого рода терапевтические отношения могут строиться вокруг столь привлекательных альтернатив? Опять же терапевты, движимые конструкционистскими идеями, продемонстрировали необычайный инновационный потенциал при поиске путей к воображаемому. Прекрасный пример – сфокусированная на решении проблем терапия [5], переходящая от ориентированного на проблемы дискурса к обсуждению решений. Функцией «волшебного вопроса» [2], при всей его неоднозначности, тоже является движение к воображаемому. Ресурсные терапевты вырабатывают позитивные концепции будущего, используя для этого повседневный язык. Мои коллеги по Таосскому институту Дэвид Куперрайдер и Диана Уитни активно используют практику, называемую оценочным исследованием. Суть ее состоит в том, что проблемы оставляются в стороне, а участники рассказывают о прошлых позитивных случаях (нарративах). Накопив такой ресурс, они начинают обсуждать, как им вместе строить будущее. Во всех упомянутых случаях мы имеем дело с поэтическими шагами навстречу воображаемому.

Наконец, как терапевтические отношения могут развивать эстетическое измерение поэтического? Как отношения могут способствовать ощущению красоты? На эти вопросы нельзя дать однозначный ответ, поскольку не существует единого стандарта или критерия эстетического. С конструкционистской позиции любая концепция эстетического должна быть продуктом отношений. Сама идея красоты является культурной конструкцией, и ее определения эволюционируют с течением времени и изменением обстоятельств, в том числе повседневных отношений. Мы выдвигаем критерии прекрасного, которые могут скло-

няться к гармонии или какофонии, простоте или сложности и т. д., но они неизбежно зависят от нашей позиции в отношениях. В то же время мы можем спросить, не существует ли особых отношений, в которых в первую очередь формируется представление об эстетическом, и если они есть, то нельзя ли сказать, что эти процессы конституируют форму генеративной красоты? Без этой первичной эстетики другие не смогли бы добиться успеха. Чтобы было понятнее, рассмотрим отношения, в которых доминирует взаимное отрицание: вы не можете сказать ничего, с чем бы я согласился, и все, что я заявляю, вы считаете полной чепухой. В таких отношениях нет практически ничего, что бы могло подвинуть нас на совместное создание реального и правильного; в наших отношениях негде возникнуть эстетическому. Поэтому нужны такие формы отношений, которые не подавляют и отрицают, а порождают смысл.

Можно было бы многое рассказать о генеративных условиях появления значения в отношениях [7]. Но для меня одним из главных кандидатов на первичную эстетику является так называемая метонимическая рефлексия [4]. Один из наиболее важных элементов процесса создания значения – соконституирование, когда движения одного человека в разговоре подтверждают, поддерживают или отражают движения другого. Действия или высказывания одного помогают конституироваться действиям другого в их собственных границах и при этом реконституировать себя. Это не означает повторения или полного согласия с тем, что другой сделал или сказал. Скорее, мои действия будут частичным, временным и двусмысленным отзвуком другого, его отражением во мне. Другой становится ближе ко мне. Возможно, наиболее общая форма соконститутивной координации имеет вид метонимической рефлексии. Метонимия означает использование фрагмента вместо целого, частью которого он является. Например, «золотые арки» символизируют рестораны «Макдональдс», а британский флаг – Великобританию. В нашем случае метонимическая рефлексия имеет место, когда действие одного человека включает фрагмент действия другого, его часть, представляющую целое. Если я высказываю вам свои сомнения в любви моих родителей ко мне, а вы отвечаете: «Какую погоду обещают завтра?», это означает, что вы не включили факт моего существования в свой ответ. Если ваша реакция демонстрирует, что вы осознали то, что я сказал, проявив, к примеру, внимание к моим сомнениям, тогда я нахожу себя в вас; я локализуя «себя» как того, кто только что говорил. В то же время, поскольку это вы позволили мне отыскать «себя», мое выражение не совсем мое. Вы делаете нас ближе и при этом приглашаете меня метонимически ответить вам. В ходе метонимической рефлексии мы выстраиваем общность, и именно в такой рефлексии реализуется поэтическое измерение.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Anderson H.* Conversation, language and possibilities: a postmodern approach to therapy. New York, 1997.
2. *DeShazer S.* Words were originally magic. New York, 1994.
3. *Gergen K. J.* Realities and relationships: soundings in social construction. Cambridge, 1994.
4. *Gergen K. J., McNamee S., Barrett F.* Toward transformative dialogue // International journal of public administration. 2001. Vol. 24. № 7–8.
5. *O'Hanlon W. H., Weiner-Davis M.* In search of solutions: a new direction in psychotherapy. New York, 1989.
6. *Penn P., Frankfurt M.* Creating a participant text: writing, multiple voices, narrative multiplicity // Family process. 1994. Vol. 33. № 3.
7. *Riikonen E., Smith G. M.* Re-imagining therapy. London, 1997.
8. *Seikkula J.* When the boundary opens: family and hospital in co-evolution // Journal of family therapy. 1994. Vol. 16. № 4.
9. The reflecting team: dialogues and dialogues about the dialogues / Ed. by T. Andersen. New York, 1991.
10. *Tomm K.* Co-constructing responsibility // Relational responsibility: resources for sustainable dialogue / Ed. by S. McNamee and K. J. Gergen. Thousand Oaks, 1999.
11. *White M., Epston D.* Narrative means to therapeutic ends. New York, 1990.

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ КЕННЕТА ДЖ. ДЖЕРДЖЕНА

An invitation to social construction. London, 1999.

Broken hearts or broken bonds: love and death in historical perspective // American psychologist. 1992. Vol. 47. № 10 (with M. Gergen, M. Stroebe, W. Stroebe).

Emerging challenges for theory and psychology // Theory and psychology. 1991. Vol. 1. № 1.

Exploring the postmodern: perils or potentials? // American psychologist. 1994. Vol. 49. № 5.

From mind to relationship: the emerging challenge // Education Canada. 2001. Vol. 41. № 1.

Is diagnosis a disaster? A dialogue // Handbook of relational diagnosis and dysfunctional family patterns / Ed. F. W. Kaslow. New York, 1996.

Metaphor and monophony in the twentieth century psychology of emotions // History of the human sciences. 1995. Vol. 8. № 2.

Mind, text and society: self memory in social context // The remembering self: construction and accuracy in the self-narrative / Ed. by U. Neisser and F. Fivush. New York, 1994.

Narrative form and the construction of psychological science // Narrative psychology: the storied nature of human conduct / Ed. by T. R. Sarbin. Westport, 1986 (with M. Gergen).

On the place of culture in psychological science // International journal of psychology. 1993. Vol. 28. № 2 (with G. Misra).

Psychological science in a postmodern context // American psychologist. 2001. Vol. 56. № 10.

Psychological science in cultural context // American psychologist. 1996. Vol. 51. № 5 (with A. Gulerse, A. Lock, G. Misra).

Qualitative inquiry: tensions and transformation // Handbook of qualitative research / Ed. by N. K. Denzin and Y. S. Lincoln. Thousand Oaks, 2000 (with M. Gergen).

Realizing the relational // Journal of social and personal relationships. 1998. Vol. 15. № 1 (with c R. Walter).

Realities and relationships: soundings in social construction. Cambridge, 1994.

Social construction and educational process // Constructivism in education / Ed. by L. P. Steffe and J. Gale. Hillsdale, 1995.

Social construction in context. London, 2002.

Social psychology and wrong revolution // European journal of social psychology. 1989. Vol. 19. № 5.

Social psychology as history // Journal of personality and social psychology. 1973. Vol. 26. № 2. [Рус. пер.: Социальная психология как история / Пер. с англ. Е. В. Якимовой // Социальная психология: саморефлексия маргинальности: Хрестоматия. М., 1995.]

Social psychology as social construction: the emerging vision // The message of social psychology: perspectives on mind in society / Ed. by C. McCarty and A. Haslam. Oxford, 1997.

Technology and the self: from the essential to the sublime // Constructing the self in a mediated world / Ed. by D. Grodin and T. R. Lindlof. Thousand Oaks, 1996.

The communal creation of meaning // The nature and ontogenesis of meaning / Ed. by W. F. Overton and D. S. Palermo. Hillsdale, 1994.

The place of the psyche in a constructed world // Theory and psychology. 1997. Vol. 7. № 6.

The saturated self: dilemmas of identity in contemporary life. New York, 1991.

The self in the age of information // Washington quarterly. 2000. Vol. 23. № 1.

The social constructionist movement in modern psychology // American psychologist. 1985. Vol. 40. № 3. [Рус. пер.: Движение социального конструкционизма в современной психологии / Пер. с англ. Е. В. Якимовой // Социальная психология: саморефлексия маргинальности: Хрестоматия. М., 1995.]

Therapeutic professions and the diffusion of deficit // Journal of mind and behavior. 1990. Vol. 11. № 3–4.

Toward a postmodern psychology // Psychology and postmodernism / Ed. by S. Kvale. London, 1992.

Toward transformation in social knowledge. New York, 1982.

Toward transformative dialogue // International journal of public administration. 2001. Vol. 24. № 7–8 (with F. J. Barrett, S. McNamee).

Who speaks and who replies in human science scholarship? // History of the human sciences. 1997. Vol. 10. № 3.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Корбут Андрей.</i> КЕННЕТ ДЖЕРДЖЕН: ЛОГИКА ВООБРАЖАЕМОГО.....	3
<i>Полонников Александр.</i> ТРУДНЫЙ ОПЫТ ЧТЕНИЯ.....	23
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ: СТАНОВЛЕНИЕ ВЗГЛЯДА	31
МЕСТО ПСИХИКИ В СКОНСТРУИРОВАННОМ МИРЕ	48
К КУЛЬТУРНО-КОНСТРУКЦИОНИСТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ.....	74
ТЕХНОЛОГИЯ И Я: ОТ СУЩНОСТНОГО К ВОЗВЫШЕННОМУ	90
УПАДОК И КРУШЕНИЕ ЛИЧНОСТИ	107
СОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА	116
СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ В КОНТЕКСТЕ: ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ГУМАНИЗМ	145
ОБЫДЕННОЕ, ОРИГИНАЛЬНОЕ И ПРИНИМАЕМОЕ НА ВЕРУ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ.....	161
КТО ГОВОРИТ И КТО ОТВЕЧАЕТ В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ?....	178
ПИСЬМО КАК ОТНОШЕНИЕ	203
ПОЭТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ: ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ...	221
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ КЕННЕТА ДЖ. ДЖЕРДЖЕНА.....	230